

Виктор С. Ткаченко

BREAD BRODSKY

или

КАК СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НА РОДИНЕ

Как стать знаменитым на родине
стр. 3

Притча о виолончелисте Хамовиче
стр. 58

Bread Brodsky
стр. 62

Генерал дядя Юра
стр. 66

Как стать знаменитым на родине.

1.

Это было в начале восьмидесятых годов двадцатого века. Малоизвестный в то время русский писатель Андрей Донатов дремал в ожидании звонка будильника в своей спальне в небольшой съемной квартире в Бронксе, в северо-восточной части города Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Дремал – то есть уже почти не спал, но ещё не бодрствовал. Он знал по опыту, что такое состояние шаткого равновесия чревато как мучительным просыпанием, так и приятным падением обратно в сон, и думал, что выбрать. В то же время осознавая, что выбора у него сегодня нет.

И это было замечательно! То есть отсутствие выбора – не вообще, а именно в этом случае, по утрам пяти рабочих дней недели, на втором году его американской жизни. Не лежать в кровати до девяти, дожидаясь ухода на работу и в школу жены и дочери, чтоб не болтаться у них под ногами и чтоб отодвинуть начало очередного пустого и стыдного безработного дня, а вставать вместе со всеми, а то и раньше, и идти НА РАБОТУ! «Разве это не прекрасно!» – подумал Донатов штампом из советской литературы, который тут же в мыслях перечеркнул и выбросил в корзину.

Он отключил не успевший зазвонить большой красный будильник, вывезенный из Ленинграда. («Кто их знает, почём там у них в Америке будильники!» – с опаской думалось тогда.) Прислушался к шуму воды в ванной, определил, что там находилась дочь. «Это надолго...» – констатировал не без досады. Туалет в их квартире был один, причем, как сказали бы на родине, совмещённый. «Ну, ничего не попишешь, семья... нужно терпеть. Семья – это умение терпеть». Показалось, такое определение вполне достойно его новой начатой в Америке писательской записной книжки. Но нет, где-то он уже слышал подобную сентенцию, насчет умения терпеть. Уж не у Чехова ли? Похоже, что да, только по другому поводу. Жаль...

Звонок будильника прервал литературные раздумья Андрея. «Опять не отключился, упрямая тварь!» – прошептал писатель, по отечественной привычке одушевляя предмет и срывая на нём раздражение. Широко размахнулся...

Но сообразил, что звонит не будильник, а телефон.

Было две причины не снимать трубку: раннее время звонка и нежелание разговаривать, не умыв лица и не почистив зубы. И две причины снимать. Первая: это мог быть приятель Миша Мунис. Он, как и Андрей, был жаворонок, и иногда звонил по утрам. Вторая причина: как ответственный секретарь их новой русской газеты, Мунис мог звонить по срочному делу. В этом случае Донатов, недавно избранный коллективом главный редактор, просто обязан был ответить на звонок.

Про Мишу в редакции придумали пошловатую шараду: «какая фамилия состоит из начала неприличного слова и конца приличного?» Жаворонок Мунис про шараду не знал, его щадили. Но когда на другом конце провода раздавалось: «Алё, говорит Мунис!» – мало кто из сотрудников, включая женщин (то есть женщин в первую очередь) мог сдержать смех. И Донатов, который, как главный редактор и русский писатель, пусть пока малоизвестный в России, был врагом дешевого юмора, тоже, к сожалению, как и рядовые граждане, прыскал в ответ на «говорит Мунис!».

Поэтому сейчас, перед тем как снять трубку, Андрей собрался, взял себя в руки

(что грозило еще более неуправляемым взрывом бессмысленного хохота) и...

И вместо мунисовского дисканта услышал низкий и приятный незнакомый баритон.

– Здравствуйте, – интеллигентно, на тщательном русском произнёс баритон – С вами говорит вице-президент принстонского Центра парапсихологических исследований профессор Уильям Готфрид Лейбман.

«Знакомая фамилия, – подумал Андрей, – или имя? То бишь имена...», и ответил так же интеллигентно и тоже баритоном, по возможности низким:

– Слушаю Вас...

– Могу ли я говорить с писателем Андреем Донатовым?

С секунду Донатов раздумывал, как ответить. Признаться? Или сказать, что его нет дома? Притвориться собственным секретарём? Он ведь всего месяц как находился на должности и пока не представлял, как полагается в США реагировать на ранний телефонный звонок на дом известному писателю и главному редактору серьёзной американской газеты, пусть даже и выходящей на русском языке.

Идею с секретарём отверг сразу – что может делать секретарь у него в спальне в такой час, упаси Господи? Остановился на самом примитивном варианте:

– Это я...

– Доброе утро, Андрей Сергеевич. Простите за ранний звонок, но я знаю, что Вы ранняя птица. – Говорил он без малейшего акцента, очень правильно; Андрей по-редакторски придирчиво отметил два «ранний» в одной фразе и «птица» вместо «пташка», но решил быть терпимым, то бишь толерантным. «Пора, в конце концов, приобщаться к западным ценностям!» – подумалось мельком. Было также приятно, что Америке становятся известны подробности его образа жизни. Ведь в этой стране интерес к частной жизни писателя есть, как известно, предвестие славы...

– Звоню я Вам в надежде, – продолжал Уильям Готфрид, – что мы сможем договориться о встрече, конечно же в удобное для Вас время дня либо вечера...

Что-то в мелодике его речи вдруг насторожило Донатова. Он подумал было, что Лейбман подослан конкурирующим с их газетой устаревшим эмигрантским органом «Русская Америка», но отогнал неприятную мысль.

Возникла пауза. Донатов ждал продолжения, Лейбман, по-видимому, ждал ответа. Но пришло ли время отвечать? Донатов не знал. Отказать или согласиться? Если отказать, то прямо сейчас? Или позже? Или нужно сперва спросить в чем, собственно...

– Да, конечно, простите, я не сказал еще о предмете... Дело касается Вашей литературной деятельности. Я бы употребил слово «будущность», но оно не совсем верно в данном контексте. Мне бы не хотелось вдаваться в подробности в телефонном разговоре, но поверьте, что проблема имеет значение не только в плане Вашей личной творческой биографии, но актуальна также в свете развития русской литературы в целом... Русская литература и моё место в ней, мой личный вклад в ее развитие – существует ли проблема более животрепещущая, более острая для всякого честного русского писателя?

– Нет! Не существует! – захотелось закричать Донатову, но усилием воли он сдержал крик души.

Здесь уместен комментарий. Донатов не страдал нарциссизмом. С детства – литературного детства, разумеется – он знал, что дело писателя писать романы,

рассказы и проч., что и позволяет ему занять место в литературе. Да и нужно ли вообще думать об этой ерунде. Литература не троллейбус в час пик, не одесский пляж в разгар сезона. Выражение «занять место» здесь неприменимо. Всё это Донатов понимал. «И всё же, – говорил он себе иногда по ночам – нельзя отмахнуться от такого понятия, как литературный процесс...»

Штука в том, что, хоть он и занимался прямым писательским делом, то есть регулярно писал повести и рассказы, но в литературном процессе не участвовал. Литературный процесс на родине протекал без него, русского писателя Андрея Донатова.

В советской жизни Донатов никогда не имел открытых разногласий с властями, не был ни тунеядцем, ни диссидентом; тем не менее рукописи из редакций ему неизменно возвращали. Под разными предлогами; о том, что было истинной причиной табу можно было только гадать. То ли тематика не устраивала – Донатов в своих произведениях с завидным упорством описывал его армейскую службу в войсках МВД СССР. То ли он случайно попал в какой-то черный список. То ли просто не везло. Однажды его книжку уже отдали в набор в одном республиканском издательстве. Но тут ему как раз повезло – его рассказ напечатали в парижском журнале «Контингент». Набор книжки моментально рассыпали. Донатову стало казаться, что над ним как над писателем висит какое-то страшное проклятие. Из за чего он впал в сильную депрессию. И, будучи лишен антидеперессантов, к которым в таких случаях прибегают писатели цивилизованного запада, лечился домашним средством. Иначе говоря, не просыхал. Чтоб окончательно не спиться, пришлось эмигрировать в Америку.

В Америке всё пошло по-другому. Советское табу волшебным образом превращалось в свою противоположность на противоположной стороне Земли. Его рассказы, переведенные на английский, напечатал самый престижный литературный журнал. Знаменитое издательство выпустило книжку на обоих языках. Он стал главным редактором настоящей, хоть и русскоязычной, газеты. Короче, в Америке всё складывалось намного лучше, чем в России. Но это не утешало. Что ему до Америки, что Америке до него... Ведь он был русским писателем, русским не только по языку и по отцу, но и по сути! Россия, его родина, была не только его родиной, но также и родиной миллионов его читателей, пусть даже несостоявшихся! Но там как литератор он был известен только двум-трем десяткам людей – друзьям, бывшим коллегам... Не считая десятка-другого отклонивших его рукописи редакторов.

Вобщем, принстонский профессор, как говорится, наступил на большую мозоль.

Тем не менее, как мы уже сказали, Донатов проявил выдержку. Сдержал крик души, выдержал короткую паузу, после чего произнёс, совсем как главный редактор большой республиканской газеты, где довелось служить Андрею незадолго до эмиграции:

– Да-да... Слушаю вас...

Редактор произносил это вроде бы вежливо, и в то же время с нескрываемым – наоборот, подчеркнутым – невниманием к собеседнику, не глядя на того, перекладывая бумагу, что означало: «Занят я, не видишь что ли, вошь поганная, какого хрена тут сидишь?» Редактор состоял членом КПСС и ее ЦК, а также сотрудником ее органов. Подражать ему было противно, но других главных

редакторов Донатов на своем веку не видал. То есть случались и другие, но все без исключения члены ЦК и сотрудники органов. Пришлось взять то, что лежало сверху.

Однако Лейбман, при его безукоризненном русском языке, очевидно не был русским, тем более советским, человеком. Во всяком случае, ментально. Он совершенно не обиделся на оттенок превосходства в интонации собеседника и продолжал как ни в чем не бывало, отвечая не на то, что Донатов произнес, а именно на крик его души:

– Конечно, не существует! Я рад, что Вы это понимаете. Об этом и хотелось бы говорить во время нашей встречи. Речь пойдёт, если выразиться более конкретно, о некоторых попытках моей лаборатории футурологического анализа – попытках, поверьте вполне успешных, научно обоснованных – по прогнозированию культурного процесса в общественных структурах типа хронического тоталитаризма, к каковым несомненно принадлежит нынешний Советский Союз, в дальнейшем Российская Федерация, в дальнейшем Россия, в дальнейшем... Н-да. Ну и так далее... – удержал себя профессор от продолжения цепочки.

«Какая еще Россия?» – подумал Андрей. «Что он несёт? Ненормальный? Или разыгрывает? Как бы от него отвязаться повежливей? На работу, между прочим, как бы не опоздать. Еще ведь бриться сегодня!». Донатов носил усы и потому позволял себе бриться через день.

– Прошу простить меня за то, что отвлекся. – Лейбман вдруг заговорил гораздо быстрее. – Не хотелось бы перегружать Вас информацией, но ведь без этого... Вероятно, я выбрал не совсем удачное время для звонка. Лишь два кратких замечания напоследок. Первое: я говорю с Вами совершенно серьезно и вполне.. хм-м... вменяемо, если это правильно по-русски. Поверьте, это не шутка, не какой-нибудь дешевый трюк. Затем, речь идёт не столько о судьбе Вашей многострадальной родины, хотя это также есть предмет наших исследований, сколько о Вашей персональной литературной судьбе, о становлении которой нам как специалистам в сфере будущего, пусть и ближайшего, известно немножко больше, чем другим. Мне кажется, эта тема могла бы оказаться интересной и для Вас. И поэтому я прошу Вас о встрече, не очень длительной, скажем где-нибудь на...

«На следующей неделе...» – договорил за него Донатов мысленно и приготовил ответ: «Извините, но на следующей неделе никак не получится. Может быть, недели через две или три?» Что именно так полагалось отвечать в США на предложение о времени встречи, Андрей, несмотря на небольшой американский деловой опыт, знал твердо. Так отвечали все без исключения американцы, даже те, кому совершенно нечего было делать ни на этой неделе, ни на следующей, даже пенсионеры и домохозяйки, даже те, кто умирал от любопытства и скуки и жаждал повстречаться хоть сию минуту, максимум через час. Но нет, все они самоотверженно наступали на горло собственной песне и упрямо твердили дежурный текст про две недели. Повести себя иначе означало: а) продекларировать свою неполную занятость, т.е. недостаточную успешность, что есть стыд и позор для американца; б) лишиться – что было бы совершенно не по-американски! – той доли превосходства, которую получаешь, когда соглашаешься на встречу как бы нехотя.

Но проницательный Лейбман, по-видимому, снова угадал ход его мыслей. Замолчал, и после паузы (пока читал мысли) изрек:

– Нет, знаете, Андрей Сергеевич, вероятно я всё же не должен настаивать.

Учитывая Ваше плотное раписание... К тому же не хотелось бы Вас задерживать. Вам ведь необходимо приготовить себя к напряженному рабочему дню. Может быть, вы лучше запишете мой телефон, позвоните в любое удобное вам время и сами назначите время и место? А я приспособлюсь – если, конечно, Вы позвоните несколько заранее. Мой телефон...

Тут он дважды назвал номер своего телефона, очень вежливо поблагодарил и повесил трубку.

2.

Нью-йоркскую подземку Донатов не любил. Все эти мрачные грязноватые лабиринты и тунели, стены, облицованные старой потрескавшейся плиткой или просто покрашенные по кирпичу, устоявшийся запах мусорки производили удручающее впечатление. Американцы с их притупленным эстетическим чувством этого не замечали; у бывших же советских людей, привыкших к залитому светом подземному ампиру, в сабвее моментально портилось настроение. Здесь американская мечта оборачивалась беспросветной действительностью. В голову лезли антикапиталистические цитаты из советских газет – в нью-йоркской подземке они не казались сплошным враньем и пропагандой.

Сидя напротив своего отражения в темном окне вагона, Донатов думал о том, что на родине в СССР главных редакторов серьезных газет доставляют на работу в черных «Волгах». Да и в Америке редактор «Нью-Йорк таймс» или «Вашингтон пост» тоже добирается на службу не в сабвее... В СССР, конечно, вряд ли он когда-либо дослужился бы до главного редактора и «Волги». Впрочем и здесь, в стране неограниченных возможностей, до «Таймса» дело вряд ли дойдет, а пока что он и почти все сотрудники их газеты работали бесплатно. Усилием воли он отогнал грустные мысли и принялся вспоминать детали беседы с профессором Готфридом Уильямом Лейбманом.

Впечатление от беседы осталось двоякое: смесь чего-то приятного с чем-то неприятным. По привычке, начал с неприятного – с обилия научных терминов в речи Лейбмана. Обычно чем наукообразней выражался собеседник, тем меньше хотелось ему верить. И вообще, от слов «футурологический анализ», «прогнозирование процесса» и т.п. у Андрея обычно появлялась ломота в висках. Но Лейбман ведь профессор, иначе выразаться не умеет; Донатов снова призвал себя к толерантности.

Притом, что попадались у того и иные, более адекватные выражения, например, «многострадальная родина». Это, плюс, в общем и целом, правильный русский язык, примиряло Андрея с лейбмановской манерой речи. Мысль о многострадальности родины Донатов разделял, словосочетание нередко использовал в своих редакторских статьях, не замечая, что оно – расхожий советский штамп, приставший к нему за время работы в тамошней прессе. «Почему, собственно, многострадальная? – вдруг подумалось. – Жестокая страна, которая веками выдавливает из себя и давит внутри самых честных, умных и талантливых граждан, оставляя тех, кто сделал из нее то, что она есть. В чем тут многострадальность?»

Андрей даже опешил от такой неожиданной и очевидной мысли.

Но заставил себя не отвлекаться и вернулся к разговору с профессором. Вспомнил всю фразу целиком – что речь, мол, не о судьбе многострадальной родины, а о его, Донатова, персональной литературной судьбе. И намекнул, что ему как

специалисту по будущему, что-то про это известно. «Известно больше, чем другим...» – вот как он сказал!

Да! Вот именно это и было самым интересным местом в разговоре.

«Ему якобы что-то такое известно о моем будущем как писателя. Как русского писателя! Поскольку то, чем он занимается, этот, как его, хронический тоталитаризм, это ведь про нас, про совок, то бишь про Россию. Но что? Что ему может быть известно о моем литературном будущем? Что там может быть такого особенного и откуда ему про это знать?»

Андрей не принадлежал к людям, всерьёз относящимся к парапсихологии. Он не особенно доверял предсказаниям будущего. Как писатель, он понимал, что мода на предсказателей, экстрасенсов, вся эта мистика есть явление, характерное для конца столетия – времени вырождения идеалов уходящего века. В очередной раз убедившись, что реальность не поддавалась улучшению с помощью очередной группы «измов», человечество ищет спасения в ирреальном. Затем это проходит – новый век выдвигает новые проблемы и с ними новые (или старые) спасительные «измы», которых хватает лет на 70-80.

И все же – «Есть многое, о друг Горацио...». Сказал это тоже не дурак и тоже писатель, коллега, Уильям Шекспир. И Лейбман же всё-таки не экстрасенс из салона в гарлемском полуподвале – профессор, футуролог из солидной научной организации, вице-президент, начальник отдела. Или лаборатории? Неважно. Важно, что футурология – это всё-таки наука. А отрицать возможности современной науки, опирающейся на новейшие технические достижения, было бы консерватизмом и даже дикостью.

Оставалось поверить в то, что Уильям Годфрид (полутёзка, кстати, Шекспира!) скорее всего мог располагать какими-то более или менее достоверными данными ну хотя бы о приблизительном, так сказать, векторе или тенденции, что ли... Донатов поймал себя на том, что подыскивает своему любопытству наукообразное оформление.

Объявили следующую остановку, на ней он должен был пересесть на другую линию; встал, подошел к двери. Там снова увидел своё, теперь уже поясное, отражение. Среднего роста шатен с большими печальными глазами, в которых, как замечательно сказал видный русский поэт-современник, «запечатлелась, как скрижаль, не столько скорбь известной нации, сколь безысходная печаль новейшей русской эмиграции». Донатову только не нравилась «скрижаль», причем тут скрижаль? Там сперва было «как ни жаль», но поэт сообразил, что жалеть тут не о чем и исправил. Донатов вообще-то не любил своё отражение в чем бы то ни было. Не любил своё лицо, всё хотелось дополнить его чем-нибудь или просто прикрыть, хотя бы часть, с помощью бороды или усов. В настоящее времякрытие сводилось к минимуму – только усы. Какой же ты, на фиг, русский писатель без хотя бы усов? Впрочем, и усы, ему казалось, не исправляли общей картины. Вспомнилось из другого современного, но уже великого поэта, тоже эмигранта: «Усталый раб из той породы, что зрим всё чаще...»

Ненависть Донатова к сабвею достигала апогея во время переходов с линии на линию – путанных, бесконечных, безнадежных. Он знал: нужны внимание и сосредоточенность, чтоб не попасть в неправильный лабиринт, не сесть в неправильный поезд и не уехать в Гарлем или Бруклин вместо Таймс Сквер. Но

сейчас он настолько был занят своими мыслями, что направился не к переходу, а к выходу. Опомнился только на эскалаторе, хотел ринуться вниз, но люди шли на него снизу стеной; пришлось вместе с толпой вытолкнуться в вестибюль.

Он уже шагнул назад к турникету, чтоб вернуться в ненавистный сабвей... Но вдруг почувствовал, что впервые со дня открытия их новой русской газеты ему не хочется идти на работу в редакцию. Это чувство, неожиданное, вредное, нужно было проанализировать. Донатов отошел в сторонку.

«Какое все же неблагоприятное существо – человек! – размышлял он, стоя в закутке между стеной и выступом билетной кассы. – Сначала лелеет мечту, не верит, что сбудется, борется за неё изо всех сил, ночами не спит. Наконец, добивается. Не верит, что

ЭТО, наконец, произошло. Опять не спит, не ест – теперь от эйфории. Но скоро привыкает. Начинает замечать недостатки. Которые отличаются от преимуществ тем, что, во-первых, намного заметней, а во-вторых, растут как снежный ком. В то время как преимущества наоборот – постепенно низводятся к нулю. А недостатки накапливаются, наваливаются и давят. Снова теряешь сон. По ночам преследует навязчивая мысль: а не пора ли завязывать со всем этим? И новая мечта брезжит на горизонте, и ждет ее та же судьба...»

Подобное бывало в жизни Андрея, как и в жизни любого человека, десятки раз. Если бы кто-либо в Союзе предрек, что в Америке он станет работать в русской газете, да еще и главредом... такой мечты и быть-то не могло! И потом, уже здесь, когда они, трое бывших совковых журналистов, собирались на кухне, что-то наивно обсуждали, выпивали, закусывали, и каждый думал, что да, выпивка и закуска реальны, что же до остального... Но ведь сбылось же и остальное! И все работали как черти, делали газету, и она выходила – хорошая, нужная газета.

Но потом, как пишут в новеллах, всё изменилось. Началось с того, что один из трех основателей, Гоша Петухов, перестал появляться в редакции днем. Зато зачастил по ночам, и не один. Второй, директор газеты, являлся с утра, но затем целый день сидел в своем кабинете, глядя в потолок или рисуя чертей. Работали только Донатов, Мунис, секретарша Зоя, машинистка и метранпаж. Начинали работу в восемь и заканчивали поздно вечером. Андрей приходил первым и уходил последним. В ущерб собственному писательскому творчеству. За этот год он почти ничего не написал, кроме редакторских колонок и нескольких статей. Он понимал, что если люди работают бесплатно, их надо чем-то вдохновлять. Хотя бы личным примером. И за всё время не пропустил ни одного рабочего дня, ни разу не опоздал. С детства в нем жило привитое в пионерском лагере чувство личной ответственности.

«Чувство личной ответственности? Ответственности за что? Перед кем? И может ли быть чувство личной ответственности у раба, воспитанного в страхе перед начальством с самого детства, начиная с того же пионерского лагеря? – спросил себя Андрей. – Но ведь здесь не совок. И газета не государственная. В совке как раз я бы, может...»

Он сделал шаг в сторону турникета.

Но тут подоспела следующая мысль: «Вот именно, не совок! Здесь свободная страна! Я никому ничего не должен, кроме как себе самому. И в конце концов, я известный писатель, мои рассказы публикуют в Н., издают в А.! Так неужели не могу пропустить день или хотя бы пол-дня работы в редакции какой-то несчастной... то

есть хотя и серьезной, но все же... Нет, воистину мы не умеем пользоваться свободой – ибо несвобода не снаружи, а внутри нас! Мы сами загоняем себя в рамки...» Ну и так далее. Не стану воспроизводить весь монолог, так как Донатов лишь повторил традиционный набор самооправданий советского интеллигента, не желающего идти на службу. После чего решительно, так сказать, на крыльях свободы, одновременно клянясь себе, что поступает так в последний раз, выпорхнул на Пятую авеню.

Первым делом нашел таксофон и позвонил на работу, соврав секретарше Зое, что придет позже, так как его срочно вызвали в редакцию престижного журнала Н., где собирались печатать его рассказ. Это было неправдой только наполовину – рассказ действительно лежал в редакции Н. и его собирались напечатать. Андрей глубоко вздохнул, то есть выдохнул (не любил врать), затем вдохнул уже тепловатый апрельский воздух и двинулся на север по одной из самых знаменитых улиц мира, мыслями возвращаясь к разговору с профессором-футурологом.

«Итак, он утверждает, что ему известно моё писательское будущее и что-то там намекает насчёт литературного процесса. Ну, и что же ему может быть известно, например? Что я напишу «Войну и мир»? Но я вроде не собираюсь. Разве что начнется война между США и СССР, и я поеду туда военным корреспондентом? От США, конечно...» Донатов поймал себя на том, что чуть ли не всерьез размышляет о безумной перспективе, и ужаснулся: вот до чего может довести писательское тщеславие! Ради удовлетворения которого он, художник-гуманист, готов, хотя бы и в воображении, погубить весь мир, ввергнув его в третью мировую войну! Он еще раз ужаснулся, но оправдал себя тем, что ничего другого не приходило в голову, в смысле того, каким образом мог бы вписаться в литературный процесс.

К тому времени он успел не много. Написал книжицу рассказов о службе во внутренних войсках. Начал сатирическую повесть о работе в бюро пропаганды. Задумал, но пока не начал, еще одну повесть, про турбазу, где несколько лет подрабатывал инструктором. Написал пару рассказов из эмигрантской жизни. Давно, еще в Союзе, стал записывать всякие смешные случаи и фразы, можно было бы составить что-то вроде записных книжек, но ведь чтоб их напечатали, надо сперва опубликовать нечто посolidней, как минимум «Золотого тельца», пусть даже в соавторстве... После чего придется помереть, поскольку записные книжки издаются обычно после смерти записывавшего...

«Он сказал, ему известно нечто о становлении моей литературной судьбы, да, так он выразился, о становлении – не о деградации, а наоборот, – вспоминал Донатов. – Но какое тут становление, к чертям собачьим, когда с утра до ночи в редакции, а даже если за отпуск и получится что-то дописать, так кому это, на самом деле, нужно? Кто это станет читать? Здесь – точно никто, чихать хотели эмигранты на русский литературный процесс, а дома... Дома? Что значит – дома? Где эта улица, где этот дом?» Вместе со словами в голову влетела мелодия из знаменитой советской кинотрилогии о жизни и борьбе большевика Максима, под звуки которой Андрей продолжал шагать по тротуару Пятой авеню. Вспомнился родной Ленинград, Выборгская сторона, о ней рассказывалось в этом фильме-агитке, потом другая сторона, родная Петроградская, дом на Среднем проспекте, откуда уезжал в эмиграцию... Воспоминания о родине привели к до боли ясному осознанию того, что никогда, ни при каких обстоятельствах на этой самой родине не будет опубликована не только ни одна книга, но даже ни одна строчка Андрея Донатова, русского

писателя-эмигранта.

И, одновременно с осознанием безперспективности, рос интерес к намекам Лейбмана. И это, говорил себе Донатов, было уже не просто любопытство или тщеславие, но своего рода литературная загадка, культурный феномен: как может случиться так, что малоизвестный и не очень-то, вообще, плодовитый литератор вдруг сможет занять место в литературном процессе, обрести свою особую литературную судьбу, подняться на уровень... Правда, Лейбман ничего не говорил про подняться на уровень, но это как бы подразумевалось само собой.

Тем временем он дошел до музея Метрополитен. Андрей не очень любил квартал музея, где всегда толпились туристы, дешевые картинки местных богомазов были развешаны на ограде Центрального парка – их близкое соседство с шедеврами мировой живописи казалась оскорбительным. Но кто обращает внимание на такие тонкости в грубой стране под названием США?

Он перешел на другую сторону улицы, ускорил шаг и вдруг почувствовал сильное желание позвонить профессору, как выражаются американцы, *right now*, то бишь прямо сейчас, сию же минуточку.

Но понимал, что делать этого нельзя ни в коем случае, ибо это значило уронить престиж. Престиж, престижность, дурацкое понятие, презираемое и высмеиваемое на родине всей думающей частью советской интеллигенции, здесь в Америке, оказалось, имеет колоссальное, жизненно важное значение. Донатов постепенно приходил к выводу, что престиж есть чуть ли не главный, после финансового благополучия, фетиш американской жизни и заменяет аборигенам ценности не только этического, но даже эстетического порядка. Но что тут поделаешь? Приходится приспособливаться. Позвоню ему недели через две. Или через неделю. Или через пару дней. Куда торопиться, в конце концов?

Размышляя так, он дошел до музея Гуггенхайма и, пройдя еще два-три квартала, очутился в той части Пятой авеню, где прежде не бывал. Почувствовал, что устали ноги и сел на скамью возле подъезда многоэтажного жилого дома. Рядом со скамьей цвело большое американское дерево, названия которого он не знал. На нем еще не появились листья, но уже распустились крупные бело-розовые цветы. Ветви были сплошь покрыты цветами, опавшие лепестки устилали тротуар. Распустились уже и другие деревья на этой стороне Пятой авеню, причем цветущие яблони и сливы выглядели здесь гораздо живописней, чем их родичи где-нибудь на улице Ленина в средней России. Их белизну оттеняли благородно-серые или бежевые массивные фасады. И всё это, осененное мягкой тенью – солнце еще пряталось по ту сторону высоких, сплошь стоящих домов – было неожиданно, незнакомо, совершенно не похоже на тот Манхэттэн, который Андрей знал и не любил за вечные малярные леса на зданиях, черные пятна на старом грязном асфальте и вулканы вонючего пара, бывшего из под земли там и сям.

Здесь же всё было как на картинке из фильма Вуди Аллена, красиво, поэтично. Андрей всегда удивлялся очередной такой картинке в новом фильме Вуди – где в Манхэттэне он находит такую натуру? Очевидно, вся она была сосредоточена на этих нескольких кварталах Пятой авеню; кстати и сам мистер Аллен жил тут же, в одном из грандиозных, но по-своему элегантных, вовсе не подавлявших своей грандиозностью домов. По их внешнему виду можно было сказать, что квартиры в них огромные, в двух уровнях. И туалетов в них вдоволь. По количеству спален. Или

даже по числу жильцов. А то и больше. И живут здесь, конечно, не только богатые бизнесмены, но и известные писатели, артисты. Может быть, даже те, кого Донатов читал и перед кем преклонялся ещё в прежней, советской жизни. Правда теперь, когда появилась возможность читать их в оригинале, восторги поутихли. Оказалось, что наряду с шедеврами там было много плевел, превращенных в зерна талантливыми русскими переводчиками.

Теперь, в виду писательских жилищ, происхождение плевел становилось вполне понятным. Одними шедеврами такое жилье не оплатишь. Можно себе представить их гонорары! Нет, невозможно. Американских гонораров самого Андрея хватило бы на оплату лишь небольшой части таких апартаментов. Может быть, одного из туалетов. И то не надолго. Месяца на три. Пока что он с семьей из четырёх человек живет в эмигрантском районе Бронкса в съемной квартире на верхнем этаже кирпичной пятиэтажки. Тоже своего рода пентхауз... И все же лучше, чем, например, в двух комнатах коммуналки на улице имени критика Белинского! Вдруг пришло в голову, что его родина – единственная страна мира, где улицы называют именами литературных критиков. Почти в каждом городе были улицы Белинского, Добролюбова или Луначарского.

В США улиц в честь критиков не называли, но зато они жили в таких вот домах, в просторных двухэтажных квартирах с окнами на Центральный парк... Ему, русскому писателю Донатову, можно было только посидеть рядом с таким домом. И то, кстати сказать, неизвестно, можно ли! Здесь ведь тебе не проклятый тоталитаризм, а всеобщая демократия – далеко не на всякую уличную скамью можно сесть. Ибо демократия есть жесткое разделение общественной и частной собственности. Причем на скамейках обычно не пишут, к какому из двух родов собственности она принадлежит.

И словно в ответ на мысли Донатова под длинным тентом подъезда появился швейцар, крупный здорового вида – сказал бы «розовощекий», если б тот не был негром – мужчина в униформе. Он что-то дожевывал. Неспеша приблизился, приветливо поздоровался. Но в вежливой Америке это еще ничего не означало. Вернее, могло означать всё, что угодно, от «спасибо, что выбрали для отдыха нашу скамью» до «пошел отсюда, пока цел». Незаметно осмотрел Андрея с ног до головы, не переставая жевать и улыбаться (как это у него получалось одновременно?). И, определив наметанным глазом, что тот не представляет смертельной опасности для жильцов, милостиво изрек: «Окей, сир, окей», после чего так же неспешно – а куда ему торопиться? – прошествовал восвояси. Андрей проводил его взглядом. Тем же взглядом скользнул по высоченному дому. Чтоб оглядеть его до верха, пришлось сильно запрокинуть голову; он даже потянул шейную мышцу. Некоторое время посидел, потирая шею. Вдруг быстро встал и сделал несколько шагов влево, потом вправо.

Он искал таксофон.

Не обнаружив ничего поблизости, рванул по поперечной улице направо, на Мэдисон авеню, но, быстро пройдя квартал и не найдя таксофона, вернулся на Пятую. Он уже почти бежал, по дороге обдумывая, что скажет Лейбману в оправдание своей чрезмерно поспешной, по американским меркам, реакции на его звонок. Не найдя таксофона у входа в Гугенхайм, помчался к Метрополитен, по дороге сообразив, что надо было зайти внутрь Гугенхайма, в вестибюль, но возвращаться не стал.

Разогнавшись по лестнице, влетел в вестибюль Метрополитена, проскочив таксофон, висевший у самого входа. Вернулся. Перевёл дух. Достал из бумажника клочок газеты с номером телефона, быстро набрал номер. И только тут вспомнил, что не придумал никакого оправдания тому, что перезванивает в тот же день и назначает встречу не через положенные две недели, а на сегодня. И вообще ничего не придумал в спешке, даже начало разговора! «Хоть бы его на месте не оказалось!» – едва успел он подумать... то есть даже не успел, так как Лейбман снял трубку:

– Да, да... Алло!

– Алло! – крикнул Андрей, чтоб выиграть время. Притворился, что плохо слышно.

– Да-да, я вас слышу хорошо, говорите!

– Алло, – сказал Донатов, успокаиваясь и возвращаясь к солидному баритону, каким говорил с Лейбманом утром. – Можно попросить к телефону профессора Лейбмана? – Он, конечно, сразу узнал голос, но не подал вида.

– Да-да, я слушаю вас, Андрей Сергеевич.

– Добрый день... – Андрей понял, что правильно выбрал тембр и темп голоса. Можно говорить и одновременно думать над следующей фразой. – Видите ли, мистер... хм... Лейбман... («хм» обозначало, что он не очень хорошо помнит фамилию собеседника – еще один трюк из арсенала совковых чинуш. Андрей устыдился, но продолжал в том же духе.) Видите ли... Мы тут посоветовались с коллегами («Что я несу! При чем тут коллеги?») Ему показалось, что Лейбман на том конце провода улыбнулся)... Насчет нашего расписания... Образовалось, так сказать, окно...

– Да-да! – подбодрил Лейбман.

– То есть, вероятно, мы могли бы назначить нашу встречу, не откладывая надолго, если вам удобно, конечно... – Баритон Андрея постепенно вырождался в тенор.

– На когда же?

– Ну, например... на сегодня?

Вероятно, такого развития событий ясновидящий футуролог все же не ожидал. Поэтому ответил после паузы.

– Сегодня?... Так... А в какое время?

«Через пятнадцать минут! Максимум через полчаса!» Но нет, пора взять себя в руки. Андрей вернулся к баритону и произнес с максимальным равнодушием, на какое был способен в этот миг, растягивая слова, делая вид, что смотрит в расписание, на часы и т.п.:

– Ну-у-у... Может быть... Ну-у-у... скажем... Не знаю, например, через часок вам удобно?

– Через час? – И этот поворот, похоже, стал для Лейбмана неожиданностью. Видимо, он ставил его в затруднительное положение. – Подождите минуту.

Пожалуйста, подождите у телефона, не вешайте трубку! Я мигом.

«А вдруг не сможет? Отложит на завтра? Или, не дай Бог, на две недели!»

Сердце грохотало, казалось, оно бьётся не только в груди, но и во всех других частях тела. Хотелось закурить, но здесь запрещалось. «Всюду запреты, – подумалось. – Что за страна такая!»

– Всё в порядке, Андрей Сергеевич! Через час я с вами. Где вам удобно? – голос профессора звенел от энтузиазма.

«И про это не подумал, идиот!» – корил себя Андрей. Как назло, он не знал ни одного приличного шалмана поблизости. Он вообще терпеть не мог американскую моду назначать деловые встречи в шалманах. Как настроиться на деловой лад там, где подают алкоголь?

И снова проницательный Лейбман прочитал его мысли.

– Может быть, в Центральном парке? Там можно разговаривать, гуляя, либо на одной из уютно расположенных скамеек.

Положительно, Лейбман изучал русский язык и характер по русской литературе.

– Прекрасно, – обрадовался Андрей, – я тут как раз сейчас...

«В вестибюле Метрополитена» – чуть не ляпнул, но вовремя остановился.

– ...Заканчиваю с работой... Так что через час...

– Спасибо большое! – тоже радостно отозвался профессор. – Значит, встречаемся через час у лестницы музея Метрополитен, хорошо?

Тут Андрею стало так стыдно, что он даже покраснел. «А что, если он действительно ясновидящий? Понимает моё нетерпение, сечёт мои фокусы, знает, откуда я звоню? Ну и на хрена тогда все эти мои жалкие дешевые игры? Американец херов, редактор недо...» – Андрей так на себя разозлился, что даже вспомнил вдруг то, что отметил краем сознания, когда шел по Мэдисон в поисках таксофона. Там где-то был небольшой бар. Что ж... Не ходить же целый час до приезда профессора вверх-вниз по метрополитеновской лестнице! Надо же где-то провести это время...

Он от души поблагодарил сговорчивого футуролога и с легким сердцем сбежал вниз по музейным ступеням.

3.

До бара было довольно далеко, минут пятнадцать ходу. Туда и обратно – полчаса. Остается полчаса на всё про всё, маловато... В приподнятом настроении шагая по Мэдисон, Андрей думал, что заказать, водку или пиво. Для непринужденности общения – водку. Но неудобно, если профессор почувствует запах. Впрочем, если он так хорошо знает русскую литературу... Хотя, причем тут русская литература? Пушкин, Толстой и Чехов вовсе не были алкоголиками. Алкогольная репутация русского писателя началась гораздо позже, с тех, кто и близко не стоит к трезвым великим – с Казакова, Аксенова, Семенова... Да и те-то пить начали, подражая Хэмингуэю, то есть, выходит, литературе американской.

Раздумывая о судьбах литературы, он, как всегда, замедлил шаг. Бар всё не попадался, он, вероятно, был гораздо дальше, чем казалось, Андрей ведь засёк его на бегу. Или же это вообще был не бар, черт их поймёт с этими английскими вывесками... Да и жажда, после мыслей о классиках и советских литературных алкашах, несколько поутихла.

«Ладно, подожду его у входа, заодно перекурю на лестнице.» Если профессор застанет русского писателя Донатова сидящим на ступенях музея по-студенчески демократично, разбросав ноги в стороны, с сигаретой в зубах и с банкой колы (или пива) у бедра – это будет неплохо, это запомнится... Андрей медленно двинулся в обратном направлении, рассчитывая прихватить пиво по дороге.

Однако осуществить задуманную мизансцену не удалось.

Еще на подходе к Метрополитену он увидел человека, совершенно неподвижно

стоявшего на восьмой снизу ступени и смотревшего в даль, в ту сторону, откуда шел Андрей. В руках у него было два картонных стакана с кофе. Андрей сразу догадался, что это и есть профессор Уильям Готфрид Лейбман.

Сразу – несмотря на то, что представлял его себе совершенно другим. Он часто так ошибался. Услышав голос по телефону, воображал одно, а оказывалось совершенно другое. Низкий баритон и профессорское звание подсунили воображению стереотип: высокий, седой, в очках. Лейбман оказался невысок, плотного сложения, лысоват. Увидев Андрея, он приветственным жестом поднял вверх обе руки со стаканами кофе. Выглядело как ликование – вот, мол, удалось достать два стакана, теперь мы с кофе! Интересно, могла бы такая глупость, насчет ликования, придти в голову американцу? Или только совку, выросшему в условиях тотального дефицита?

Профессор тем временем, зажав второй стакан между левой рукой и животом, вытянул правую для рукопожатия и двинулся к Андрею. Андрей слегка растерялся: у него в правой руке была банка с пивом, он не догадался переложить ее в левую руку и стал запихивать в карман брюк. Удалось с трудом. «Хорошо, что не успел открыть!» – мелькнула мысль.

Лейбман сразу понравился Андрею. И даже первый вопрос, национальный, который обязательно, пусть даже подсознательно, задает себе всякий советский при встрече с новым лицом, как-то сразу перестал интересовать.

Здесь надо заметить, что в многонациональном советском государстве существовало, фактически, всего три нации: русские, чукчи и евреи. Именно в такой последовательности, то есть первый сорт, второй и третий. К чукчам, или чуркам, или чичмекам, относили всех, живущих на востоке и севере, от узбеков до нанайцев. Их легко узнавали по раскосым глазам. Идентифицировать еврея было сложнее. И потому на родине таковым считали всякого, чьи волосы были темнее и нос менее курнос, чем у типичного представителя нации первого сорта. Так что в евреи часто попадали кавказцы, армяне и пр. темноглазые и темноволосые или просто длинноносые товарищи. В то время как иные блондинистые голубоглазые евреи часто сходили за своих, братьев-славян. Таких приходилось выявлять другими, более изощренными способами, с помощью отчеств, фамилий и, наконец, специально для того введенной графы «национальность» во внутреннем советском паспорте.

Америка отличалась от родины еще и тем, что всякий, кто там неизбежно попал бы в евреи, здесь мог оказаться итальянцем, латиноамериканцем, турком, арабом, греком или еще Бог знает кем. Лейбман, который в совке моментально получил бы своё, благодаря одной лишь фамилии, здесь выглядел человеком без национальности. Он вообще, видимо, был из тех редких людей, имея дело с которыми отпадало желание думать об их недостатках. И Андрей, восприняв поначалу не то чтобы неприязненно, но все же с легким напряжением характерную фамилию профессора, теперь поймал себя на том, что его совершенно не интересует, что у того написано в пресловутой пятой графе. «Впрочем, что я? Какая пятая графа у свободного человека?»

– Очень рад, наконец, познакомиться с Вами лично! – торжественно произнес Лейбман после рукопожатия. – Я большой поклонник и неплохой знаток Вашего творчества.

– Моего творчества? – Не без самоиронии спросил Андрей. Он всё ещё верил в лицемерный постулат коммунистической морали насчет того, что «скромность

украшает».

– О да! «Лагерь», «Тюремные рассказы», «Компромат»... – Он назвал ещё несколько повестей и рассказов, опубликованных в Америке и в русском самиздате. «Боже, какой мрак!» – подумал Андрей. Он впервые слышал названия своих вещей, произнесенные подряд посторонним человеком.

– Ну и конечно, ваше новое, во «Время идет».

Вместо того, чтоб обрадоваться энтузиазму нового поклонника, Андрей расстроился. Было досадно, что подлинный знаток его творчества прочел новую повесть не целиком, а лишь главы из неё, к тому же опубликованные в дурновкусном эмигрантском журнале с претенциозным названием, где и денег-то авторам не платили. Правда, повесть ведь ещё не дописана...

– Понимаю, конечно, что по части трудно судить о целом, но, знаете, «Куст» и «Творческий рост»...

Именно эти две главы Андрей считал лучшими в повести и сомневался, что в оставшихся шести достигнет такого же уровня.

Они шли по извилистой дорожке Центрального парка. Шли медленно; разговаривая, Лейбман жестикулировал руками со стаканами с кофе, Андрей же думал о запотевшей банке с пивом, которая мешала ходьбе и проступала неприличным пятном на штанине, а вытащить её из кармана было как-то неловко.

– Это ведь, знаете, настоящие маленькие шедевры... Настоящие... – Лейбман остановился, слегка покачал головой и посмотрел в небо.

Андрей, конечно, тоже остановился. Несмотря на смущение, всё же догадался поблагодарить профессора. Вдруг он почувствовал полное доверие к этому едва знакомому человеку. Достал из кармана банку с пивом, повертел в руках. А Лейбман, так же неожиданно, как остановился, зашагал вперед, к одному ему известной цели.

Несколько минут шли молча, потом Билл (так Андрей про себя стал называть профессора) сказал:

– Прежде, чем мы перейдем к существу нашей беседы, позвольте мне, Андрей Сергеевич, чуть-чуть рассказать о себе. Это необходимо для...

– Можно просто Андрей, – немного стесняясь предложил Донатов.

– Простите? – не понял Билл.

– Я говорю, можно без отчества, – громко повторил.

– О! – опять остановился Лейбман. – Конечно! С удовольствием. Я очень польщён! Спасибо. Но тогда я – Билл.

– Конечно. Спасибо... – поблагодарил Андрей, следуя примеру нового друга.

Они – опять-таки по инициативе Лейбмана – ещё раз пожали друг другу руки. Рука профессора была сухая и упругая, как теннисный мяч.

– Мой первый докторат я получил в Оксфорде, – заговорил Билл, продолжая путь, – по филологии, со специализацией текстология, это такая наука по изучению текстов. Потом, уже здесь, в Гарварде, постдокторат по психологии, с фокусом на психологии художественного творчества. По дороге изучал различные философские системы, особенно восточные, а также некоторые западные спиритуалистические ответвления, такие как антропософия... Меня больше всего интересовало то, что вы по-русски называете подсознанием. Отличается ли подсознание творца от подсознания обыкновенного человека, как оно участвует в творческом процессе, как... Вот, мы, наконец, пришли.

Они подошли к памятнику датскому сказочнику Андерсену. Он стоял несколько на отшибе, среди деревьев. Солнечные пятна играли на бронзовом сюртуке. У правой ноги сидящего на скамье сказочника располагался лоснящийся бронзовый гусь небольшого размера. Американский Гадкий утёнок выглядел сытым и вполне благополучным.

Здесь было тихо, безлюдно. Летом у памятника собирались дети из семей, вынужденных проводить лето в Манхэттэне, но сейчас апрель, они еще в школах. Туристы в это время дня, перед ланчем, тоже отсутствовали.

Профессор направился к каменной скамье за спиной Андерсена и достал из кармана «Нью-Йорк Таймс». Разделил пополам, половину отдал Андрею.

«Откуда у него эта совковая привычка?» – удивился Андрей. В его стране люди опасались садиться на скамейки в парках, поскольку те всегда бывали либо грязные и пыльные, либо свежеевыкрашенные. Перед тем как сесть, подстилали газету. Но ведь Лейбман – американец. Или англичанин?

– Да, ещё надо сказать, может вам это будет интересно, что моё пристрастие к русской литературе заставило меня изучить русский язык, который я совершенствовал в течение двух лет моей стажировки в Ленинградском университете, это еще во времена Оксфорда... – поведал Билл, садясь на покрытую газетой скамью и устанавливая, на отдельной странице, стаканы с кофе. – С тех пор у меня появилась эта глупая привычка... – улыбнулся извиняющейся улыбкой и развел руками.

Андрей из чувства солидарности (скамья была чистая, словно её только что вымыли) тоже подстелил газету, выставил банку с пивом, как бы внося свой вклад. Но тут же вспомнил о запрете на спиртное в американских парках (что за страна такая!), и только хотел спрятать банку (куда?), как Билл жестом фокусника извлёк из кармана бумажный пакетик и со словами «так будет лучше» надел его на банку.

– Итак, подсознание... – Лейбман пододвинул кофе Андрею, осторожно снял прозрачную крышечку со своего стакана, отпил. – Подсознание художника-творца... Это огромный мир! Это хранилище и мастерская, кладезь и кузница его воображения, накопитель и источник создающей энергии. И не только всё наше прошлое и связанные с ним аффекты, потрясения, восторги, стрессы и страхи гнездятся в подсознании, но и будущее, надежды и упования, сны и мечты, творческие идеи и планы – это всё, конечно же, имеет свои корни в подсознании артиста. – Поставил стакан на место, накрыл крышечкой. – Это очень важный момент, насчёт будущего, именно тот аспект, как оно отрефлектировано в подсознании писателя, вообще любого артиста... Несколько интимный вопрос разрешается?

– Да-да... – Андрей откликнулся не сразу, так как был слегка заморожен музыкой профессорской речи.

– Как писателю, вам когда-либо случалось видеть во сне сюжеты ваших будущих произведений?

– Да, раза два-три. Но я потом, когда просыпался – не мог ничего вспомнить, хоть убей... Во сне мне эти сюжеты казались потрясающими, и я ещё все время думал, во сне: надо записать сразу, как проснусь, не забыть бы...

– И что?

– Забывал.

– Забывали записать или сам сюжет?

– И то, и другое.

– Да, такое бывает... довольно часто встречается. Если у артиста сильное разделение между сферами творческого и повседневного, или, как у вас выражаются, бытового... Но если бы вам удалось записать, то был бы типичный пример вывода подсознания на уровень текста. И тогда, при исследовании этого текста... Но нужно по порядку. Пейте, пожалуйста, кофе!

Андрей терпеть не мог кислую бурду, которую американцы поглощали гигантскими стаканами, пребывая в полной уверенности, что это и есть кофе. Но он не хотел обидеть профессора и отпил немного бурды, к тому же едва теплой. Удержался от того, чтоб поморщиться, с сожалением посмотрел на пиво.

«Интересно, пить бурду, чтоб не обидеть, это что – русская интеллигентность или русская угодливость?» – спросил себя. Впрочем, его пиво, вероятно, уже достигло той же температуры, что и кофе...

– Итак, подсознание! – произнес Лейбман так же вдохновенно, как в первый раз. – Простите, вообще вам это всё интересно?

– Очень! – С энтузиазмом откликнулся Андрей, нашаривая банку с пивом. Ему действительно было интересно то, что говорил футуролог, не менее, чем нынешняя температура банки.

– Знаете, человеческое подсознание – ведь это колоссальное поприще для науки, это космос, и он фактически до сих пор остаётся неисследованным! И сколько путаницы в этих вопросах. Доходит до смешного! У вас, то есть, простите, в СССР, вообще часто не отличают подсознательное от бессознательного, но это же абсолютно разные вещи! – Он взял в руки стакан и тут же поставил на место, не отпив. Повидимому то, что в СССР путают подсознательное с бессознательным, возмущало его до глубины души. – Ну, нельзя, конечно сказать, что этим совсем не занимаются, – сказал, успокаиваясь. – Есть два-три человека на западе работают по этой теме, у вас был крупнейший специалист, он потом тоже бежал сюда от НКВД...

– Фамилию не подскажете? – спросил Андрей с юмором, развеселившись оттого, что банка при ощупывании оказалась холодной. Теперь оставалось найти момент, чтоб выпить её – непринужденно, как бы между делом.

– О, конечно, подскажу! И не только фамилию. – Лейбман юмора не понял. – Его звали Михаил Александрович Чехов. Не нужно путать с его дядей, великим писателем и драматургом Чеховым Антоном Павловичем.

Андрей чуть не выронил банку. «Ни хрена себе! – подумал, – Нет, он таки феноменальный чувак, Билл.» За все годы пребывания в Америке он первый раз встретил американца, который не только знал об обоих Чеховых, но и осознавал, что это два разных человека. Хотя, какой Билл американец?

– Михаил Чехов? Актёр?

– Да, он был актёром некоторое время, в молодости. Гениальным актёром, между прочим! Но потом это его перестало интересовать.

– За гениальных Чеховых, дядю и племянника! – Андрей оглянулся по сторонам, извлёк банку из пакета, откупорил, чокнулся со стаканом профессора и отпил.

– Да-да, конечно, за двух русских гениев! Или почему только русских? Они принадлежат всему миру... – Билл выпил весь кофе до дна – был, значит, в курсе наших обычаев.

Андрей немного растрогался. Пожалел Билла, что ему пришлось заглотить всю

эту гадость залпом (я бы так не смог, даже ради Чехова!). Устыдился, что на радостях от того, как удачно нашёлся момент, не предложил ему пива. Успокоил же себя тем, что тост был искренним: Чехов действительно любимый писатель Андрея, он его знает до последней буквы и любит, как живого человека.

– Между прочим, насчёт Чехова-дяди! – Билл чуть поморщился, похоже его иммунитет к местному кофе всё же дал трещину. – Вы, конечно, знаете историю «Черного монаха»? Что Чехову приснился чёрный монах и потом он написал про это рассказ? Вот идеальный пример вывода подсознания на уровень текста. И если бы в то время существовали методы исследования, какие мы имеем сейчас, то по тексту «Монаха» можно было бы предсказать всю дальнейшую жизнь писателя.

Донатов задумался на секунду. Вообще-то он был тугодум, но когда речь шла о Чехове, соображал быстро, голова работала как бы сама собой. Или срабатывало подсознание?

– То есть вы хотите сказать, что достаточно исследовать текст, чтоб предсказать будущее автора? – спросил он, запихивая в маскировочный пакет недопитую банку с пивом.

– М-ммм... Верно, но только в общих чертах. На самом деле, всё не так просто. – Ему, видимо, было слегка обидно, что его научную деятельность сводят к такой несложной формуле. Он замолчал – вероятно, размышлял о том, как бы получше всё объяснить, чтоб его поняли и поверили.

– Вы сказали... – Андрей решил сделать шаг навстречу профессору. – Вы сказали, что подсознание отражает не только наше прошлое, но и будущее... Я вообще-то всегда думал, что...

– Что только прошлое? – живо перебил Билл. – А какая разница? – спросил с блеском в глазах. – Какая разница, Андрей Сер... Андрей? Где проходит эта граница?

Донатов не ответил. Встретился с Биллом глазами и сразу отвёл взгляд, переведя его на банку с пивом. Пить не хотелось, но он сделал два-три формальных глотка. Он кажется чувствовал, куда клонит профессор.

– Граница между прошлым и будущим, я имею ввиду, где она?

Андрей снова промолчал, понимая, что от него не ждут ответа.

– Каждая секунда совершает скачок из будущего в прошлое ежесекундно! Я уж не говорю о миллисекундах... Но и минута, и час, и день, и год. Понимаете, что происходит на самом деле? Будущее перетекает в прошлое, фактически минуя настоящее!

Андрей понимал. Ему самому приходили в голову такие мысли. Особенно во времена его службы во внутренних войсках МВД СССР, по ночам в часы дежурств на лагерной вышке. Интересно, где додумался до этого Лейбман?

– Поэтому глубоко заблуждаются люди, называющие себя реалистами, те, кто считает, что реальность – это сегодняшний день, так называемое настоящее... – Билл сделал паузу. – Которого, как мы видим, фактически не существует! – Жестом фокусника вывернул ладони и юмористически выпятил нижнюю губу. – И вся эта смешная философия насчёт того, что жить надо сегодняшним днём, жизнь коротка, после нас хоть потоп, все эти тривиальные заповеди людей с неразвитым сознанием – это всего только слабая попытка избавиться от страха смерти. Прошлое им неинтересно, будущего они боятся, потому что видят в нём только свою старость и смерть...

– Да, это правда... – сказал Андрей неожиданно для себя самого.

Солнце на некоторое время зашло за тучу, и в тот же момент как из-под земли возникла группа китайских туристов. Несколько минут побалаболили на своём наречьи, напоминаям перезвон бубенчиков; экскурсовод говорил, указывая то на сказочника, то на утёнка; очевидно, беспокоился, чтоб слушатели не перепутали одного с другим. Китайцы исчезли так же быстро и организованно, как появились.

– Другое дело художник, артист... – Билл глянул на Андрея, глаза его опять заблестели, отражая свет солнца, вышедшего из-за тучи. – Он никогда не живет в настоящем. Он не может себе этого позволить. Его жизнь протекает в воображении, оно же свободно располагается в обеих временных категориях. И потому художник есть не что иное, как связующее звено между прошлым и будущим.

– Распалась связь времён, зачем же я связать её рождён? – спросил Андрей словами тёзки Билла.

– Вот-вот. Это неважный перевод, неточный, у вас есть получше. Но в общих чертах близко... Однако теперь уйдём от философии и вернёмся к практике. Итак, вы уже понимаете, что с точки зрения будущего анализу поддаётся подсознание лишь художника, творца...

Донатов кивнул.

– Не только из-за того, что оно существует вне конкретного времени, но и просто потому, что художник производит художественный текст, то есть выводит подсознание на тот уровень, где его можно исследовать. Бесспорно, исследуя текст – повторяю, только художественный текст, то есть имеющий образную, семантическую природу – можно получить некоторую футурологическую информацию. Но ведь этого недостаточно. Ведь не один же внутренний мир предопределяет то, что случается с человеком... Нельзя не учитывать и внешние обстоятельства, причём весь их набор, всю сумму, так сказать...

– Ну, разве возможно учесть всю сумму... – Андрей постарался сказать это легко, с юмором, но скепсис его не ускользнул от профессора.

Тот взглянул на Андрея проницательно, с прищуром, и вдруг сказал грассируя, чудаковатым тенорком:

– А вот пгетставьте себе, батенька – возможно!

«Ёлки-палки! – изумился Андрей, – Никак Ильича копирует! Да он в доску свой!»

– О-чень даже воз-можно! – проговорил Билл тем же голосом.

Тут до Андрея дошло, на что намекает знаток его творчества. На один его старый рассказ про то, как в сумасшедшем доме пациенты играли пьесу о Ленине. Это был подлинный случай, рассказанный Андрею знакомым санитаром.

В каждом советском дурдоме, естественно, существовала парторганизация. Отвечала за идеологию. Надвигался очередной юбилей Великой революции, и парторг на полном серьёзе предложил психологине, ведущей занятия лечебного ролевого тренинга, подготовить пьесу о Ленине. Двусмысленность этого предприятия была очевидна; психологиня, знавшая историю болезни главного действующего лица, поначалу испугалась: уж не провокация ли? Но то ли парторг не знал истории болезни, то ли считал, что идеология важнее – 7-го ноября 19*7 года в Первой горпсихбольнице на Пряжке состоялась премьера спектакля «Нет у революции конца!», где действовали известные руководители Коммунистической партии и

Советского государства во главе с Владимиром Ильичем в исполнении больных психическими заболеваниями разной степени тяжести. Остальные психи сидели в зале и аплодировали. Аллюзия была настолько явной, что никому не пришла в голову.

– Вы, конечно знаете, что такое компьютер? – продолжал тем временем Билл, уже обычным голосом.

– Ну... в принципе, знаю. – Андрей опять-таки поскромничал. Что такое компьютер, он знал хорошо. У них в редакции был собственный компьютер, в нём хранились адреса всех подписчиков газеты. На нём также можно было напечатать любой текст, предварительно исправив ошибки. Андрей и сам иногда писал свои статьи прямо на компьютере, без привычных рукописных черновиков. Но он не стал рассказывать всего этого Лейбману, чтоб не выглядело, будто он хвастает.

– Потрясающая машина! С фактически неограниченными возможностями. Что такое база данных вы, конечно, тоже знаете.

Андрей не знал, но кивнул.

– Так вот, новейшие компьютеры, нового поколения, способны не только хранить базу данных но и обрабатывать её! Понимаете? То есть – сортировать, давать статистику, анализировать и даже делать выводы. Причём погрешность очень невелика. И при правильном приложении математической версии закона причинно-следственных связей...

Билл сделал многозначительную паузу, представив Андрею самому вообразить, каких немислимых результатов можно достичь при правильном приложении закона.

– Причинно-следственные связи это что-то из йоги? – почему-то Андрей вдруг прикинулся простачком.

– Ну, в общем, да... – согласился вежливый профессор, – закон причинно-следственных связей есть базовое понятие восточных философий.

В принципе, Андрей уже был готов поверить во что угодно. В конце концов, тоже мне, большое дело – предсказать будущее. Любая цыганка на базаре делает то же без всякого компьютера. Во всяком случае, поверить в неограниченные возможности футурологии было гораздо легче, чем вникать в нагромождение нудных терминов, следуя изгибам научной мысли Билла.

Но как сказать ему об этом? Как признаться? Ведь не скажешь же так прямо: ладно, мол, Билл, кончай стараться, убедил, готов поверить всему, переходи, мол, к делу. Что там в твоей базе насчёт русского писателя Андрея Донатова?

Билл же, казалось, только вошел во вкус.

– Итак, вы представьте себе, – продолжал он вдохновенно, – мы закладываем базу данных всю сумму собранных нами сведений и фактов. Исторических, политических, общественно-социальных, ситуативных, прочих – с одной стороны. Данные относительно творческого индивидуума – с другой...

– Да-да, я понимаю... – сказал Андрей, чтоб что-то сказать. Он часто попадал в такую ситуацию: собеседник, иногда неумышленно, часами говорил вовсе не о том, с чем к нему пришли. Рассказывал случаи из жизни, о встречах со знаменитостями, всякие дурацкие истории, казавшиеся ему смешными. Остановить его было невозможно, прервать – неудобно. Особенно любили такие игры редакторы, которым Андрей приносил свои вещи. Чувство беспомощности и безнадёги ко второму часу «беседы» сменялось отчаянием, а когда, заставив его выслушать всю эту белиберду, говорун, взглянув на часы, с наслаждением произносил коронное «К сожалению, в

ближайшее время...», после чего возвращал рукопись – Андрей ругал себя, что не ушёл час назад; но в следующий раз всё повторялось.

– Короче говоря, не стану утомлять вас всей этой терминологией, – Билл правильно понял выражение его лица. – Всего ещё несколько слов, чтоб вы окончательно поверили в наши возможности.

«Рано обрадовался...» – расстроился Андрей.

– Просто два-три примера, из того, что нам удалось... хм... предсказать в последнее время. – Ему определенно не нравилось слово «предсказать». – Ну, например, в течение нескольких лет нам удаётся с точностью до четырнадцати сотых процента прогнозировать результаты почти всех основных музыкальных конкурсов.

«Тоже мне, футурологи!» – подумал Андрей. Один его знакомый скрипач из Бруклина регулярно предсказывал результаты таких конкурсов. Для этого надо только знать список профессоров, сидящих в жюри, и кто из их студентов участвует. Он скептически улыбнулся.

– Что, не верите? – обиделся Билл. – А хотите скажу, кто получит Нобелевскую премию в следующем году?

Андрей был близок к разочарованию. Билл как нарочно выбирал самое предсказуемое. Нобелька, конечно, не музыкальный конкурс, но тоже дело нехитрое. Другой знакомый Андрея, поэт-лауреат, года три до получения Нобеля повсюду намекал насчёт грядущих решительных перемен в его жизни. Зато потом, когда, наконец, дали, обожал пересказывать историю про то, как это было неожиданно, какой шок он испытал, когда, переплывая Темзу со знаменитым писателем, услышал крик жены знаменитого режиссёра, которая прибежала на берег Темзы, чтоб сообщить ему переданную только что по радио новость о присуждении премии («Чуть не утонул, хотя, в принципе, плаваю прекрасно!»). Имена знаменитостей, название реки и пол жены режиссёра варьировались поэтом-лауреатом в зависимости от того, в какой стране он давал интервью.

Лейбман тем временем перечислял какие-то малоизвестные и неинтересные Андрею имена будущих лауреатов по физике, химии, экономике, биологии... По мере перечисления вдохновение покидало Билла и, наконец, ушло совсем.

– Не впечатляет? – спросил он обескураженно.

– Да нет, что вы... очень даже... – Донатов старался быть вежливым. Но не притворяться же, в самом деле! Особенно теперь, когда они с Биллом почти друзья.

– Хорошо, – сказал Лейбман с видом игрока, достающего из рукава последний козырь. – Тогда... Хотите, я вам расскажу о наших прогнозах в области технического прогресса на ближайшие 20-30 лет? Там есть кое-что изумляющее, поверьте! – Он понизил голос до интимного шепота и положил руку на колено Андрея.

– Что же? – Андрей не любил, когда до него дотрагивались мужчины. Даже друзья. – Человечество отправится к звездам? «На Марсе будут яблони цвести»? – Была такая нелепая песня времен его молодости.

– Зачем это? – не понял Билл про яблони. – Нет, я о другом. Вот мы сегодня говорили о компьютере. А знаете ли вы, что в начале следующего века, то есть через каких-нибудь двадцать-двадцать пять лет произойдёт почти полная компьютеризация планеты Земля? Компьютер станет так же необходим в быту, как холодильник и телевизор. Он появится в каждой семье, а со временем у подавляющего большинства жителей планеты будет и свой персональный компьютер.

– Полная компьютеризация планеты? Всей планеты? Включая СССР?

– СССР к тому времени уже не будет. – Сказал Билл осторожно и снял руку с колена Андрея. – Что касается оставшихся от него территорий – да, процесс так или иначе охватит и их. Конечно, не в той степени, что страны цивилизованного мира, но всё же... Процент компьютеризации бывшего советского пространства составит по нашим прикидкам от десяти до двенадцати процентов. Это ниже, чем в среднем по странам африканского континента, но выше, чем на территориях долины реки Амазонка. Где, правда, проживают, в основном, племена... – Билл отвел глаза.

– Подождите, подождите! – Андрей заговорил, волнуясь, почти хватая Билла за руку. – Как не будет? Как это не будет СССР? А куда он денется?

Билл немного помедлил и, всё ещё глядя в сторону, сказал тихо и просто:

– Распадётся.

Он замолчал. И Андрей молчал – переваривал новость.

Как вдруг до них донеслись истошные крики. Оба тревожно оглянулись и увидели в конце аллеи двух молодых американцев, по виду типичных манхэттэнских яппи. Они мирно беседовали. Но орала так, будто находились на разных берегах Гудзона. При этом гласные, особенно «ау» и «эу», произносили, словно бы их жестоко рвало. В руках у них были стаканы с кофе, такие же, как у Билла и Андрея, и пока один говорил, другой, в ожидании своей очереди, пил через дырочку в крышке стакана, не отхлебывая, а как бы вливая в рот жидкость. Яппи прошли, не заметив ни Андрея с Биллом, ни Андерсена. Они и друг друга вряд ли замечали, так как были слишком заняты выкрикиванием своего текста.

«Вот дикари, – подумал Андрей. – Всемирная компьютеризация их наверняка уже затронула. А только те, из долины Амазонки, ведут себя поприличней.»

Он не дал себе развить эту мысль. Было кое-что поважнее. То, что сейчас напорожил Билл. Его фантазии о якобы возможном распаде СССР. Какая чушь, Господи! Вслух выразился культурней:

– Вы что же, Билл, действительно верите в то, что это возможно?

– Я учёный, Андрей, – ответил тот с достоинством, – и потому говорю только то, во что верю. Иначе какой смысл этим заниматься? – Выдержал небольшую паузу. – Но я понимаю вас. В том отношении, что вас не радует такая перспектива. Так? – Он взглянул Андрею прямо в глаза.

Андрей, не отводя глаз, пожал плечами.

– А чему радоваться?

Лейбман добродушно улыбнулся.

– В самом деле, вы интересные ребята. Относитесь к своему государству с известной неприязнью. – Андрей отметил корректность формулировки. – Осуждаете его внутреннюю и внешнюю политику. Изредка даже открыто протестуете. Эмигрируете толпами, или, как вы говорите, волнами. А скоро будете целыми цунами. – Вероятно, это была острога. – Но когда вам говорят, что это ваше, как вы выражаетесь, про... про... прониш...

– Прогнившее? – легко догадался Андрей.

– Да, именно. Прогнившее. Спасибо. Когда вам говорят, что это прогнившее государство распадётся – вы сожалеете и не хотите верить!

– Что же тут противоестественного? Да, нам не нравится многое из того, что происходит на нашей... – чуть не сказал «многострадальной», но вовремя

остановился – ...родине. Нам хотелось бы, чтобы люди там жили иначе, свободней... ну, вобщем... – Андрей поймал себя на том, что говорит совершенно в стиле своих публицистических газетных статей, но уже не мог остановиться. – Да, нам многое хотелось бы изменить в нашей стране. Избавить её граждан от страха перед государственной машиной, от массированного давления пропаганды. Но поверьте, никто из нас, никто не желает её распада. – Он поставил эффектную (как ему показалось) точку.

– Но вы же не можете поменять самих этих граждан... – ответил Билл мягко и сочувственно, пропуская мимо ушей весь этот ненужный газетный пафос. – Они ведь живут так, как у них получается, как могут. В соответствии со своими личными ценностями и представлениями о жизни. Вы же свободный человек, вы же не хотите навязывать другим свои представления, ведь так?

Было очевидно: он никого не осуждает и не оправдывает, исходит только из исторической объективности. У Андрея пропало всякое желание продолжать дискуссию. Да и о чём тут спорить? Он ведь и сам, решаясь на эмиграцию, говорил себе то же и почти теми же словами.

– Нет уж, – вздохнул Билл. – Для настоящих перемен надо, чтоб полностью разрушилось то, что есть. До основания. Иначе будут не перемены, а одна симуляция.

Разрушилось? Что же, опять революции, войны? Он побоялся спросить у Билла в открытую. Спросил завуалированно:

– Но, может быть, возможно как-то... постепенно? Без катаклизмов?

Как будто это зависело от Билла Лейбмана!

– А это и будет постепенно. – успокоил его Билл. – Очень постепенно. В течение нескольких десятилетий. Но первую стадию, распад СССР, мы с вами, скорее всего, застанем. Агония начнётся во второй половине восьмидесятых и закончится в самом начале девяностых годов. Уже скоро. Конечно, это не будет называться «агония», придумают другое слово, более... оптимистическое. Мы уже знаем, какое.

Он глянул на Андрея, ожидая, что тот заинтересуется. Донатов не заинтересовался.

– Но вы не волнуйтесь. Процесс будет почти бескровный. Никто из ваших близких не пострадает. Что же касается вас лично...

У Андрея ёкнуло сердце. Похоже, это был ключевой момент разговора. Андрей уловил это шестым чувством. Хотя, почему только шестым? Всеми чувствами, всеми шестью, или сколько их там, он почуял, что наконец-то они добрались до главного, до сути. До цели их, так сказать, свидания.

– Что касается лично вас, Андрей... Эти годы станут главными в вашей карьере, вершинными, так сказать. На них придётся ваш звёздный час...

В редакторской голове Андрея моментально составила фраза, годная для передовицы: «Я бы не хотел, чтоб агония моей родины стала временем моего звёздного часа!» Звучало высокопарно и лицемерно, Андрей вовремя это сообразил и просто спросил:

– В каком смысле – вершинными? – Голос его подсел, он прокашлялся и потянулся неверной рукой к банке с пивом.

– Во всех. В смысле публикаций, известности, даже славы. Вы, Андрей... Сергеевич, – Лейбман не решился на сей раз опустить отчество, – станете самым крупным и читаемым русским прозаиком конца XX – начала XXI веков. Ваши книги

будут издавать и переиздавать у вас на родине и за рубежом миллионными тиражами. А затем, спустя ещё лет десять, вы станете просто классиком. Из оставшихся к тому времени в России двух десятков... литераторов, назовем их так, только ленивый не будет цитировать ваши записные книжки на память. Это у них будет как обязательная программа...

Билл перевёл дух, окинул взглядом аллею, памятник Андерсену, деревья вокруг. И вдруг выдал:

– Ну а здесь, в Нью-Йорке, можете себе представить, вашим именем даже назовут улицу.

– Улицу? – переспросил Андрей. – Целую улицу?

Звучало совсем уж как насмешка. Неужели Билл сам этого не чувствует? Ну и как ему верить после такого?

– И где же? В Манхэттэне, конечно? – В его голосе содержалась явная издёвка.

– Нет, к сожалению... В Бронксе, по месту вашего жительства.

Похоже, Билла самого огорчало, что в Бронксе, словно то был его личный просчёт.

– Ну, это не то... В Бронксе не престижно. Лучше бы в Манхэттэне!

Он валял дурака, чтоб продемонстрировать Биллу, что несколько не верит в его утопические предсказания. Не столько из врожденной советской скромности, сколько в расчёте на то, что футуролога заденет его неверие, и тогда тот приведёт хоть какие-нибудь более или менее серьёзные доказательства, чем-то подкрепит все эти... домыслы.

Но Билл лишь виновато молчал. Не собирался ничего доказывать.

Андрей пригубил пиво, наконец-таки ставшее тёплым. Он допил его, чтоб чем-то заполнить паузу, скомкал банку. Посмотрел вокруг, скользнув глазами по спине Андерсена. Вдруг показалось, что сказочник обернулся и присвистнул. Нет, просто ветер поколебал кроны деревьев, вызвав движение солнечных бликов по бронзе, а на Пятой пискнул тормозами автобус.

Донатов решительно не знал, как ему относится ко всему этому... ко всей этой... футурологии. Верить Биллу или нет? Если да, то в какой степени? Полностью? Во всё, что он напроорочил? Включая улицу Андрея Донатова в Нью-Йорке? Но это же бред, абсолютный бред, очевидный! Тогда что же, не верить, вообще ни во что? И в тиражи не верить, и в славу? Или же верить лишь частично? То есть в тиражи – да, а в улицу... Нет, так не пойдёт. Уж если верить во что-то одно, тогда уж и во всё остальное, а то какая-то двойная бухгалтерия получается.

Ну хорошо, а если рассуждать здраво? Да, предсказания Билла кажутся утопическими. На первый взгляд. На поверхностный взгляд, лучше сказать. А если вникнуть?

Во-первых, всё это имеет под собой серьёзную научную базу. Билл не зря старался и тратил время на объяснение деталей. Он, видно, хороший психолог. Нет абсолютно никаких оснований не верить его концепции, она логична и глубоко продуманна. Да и сам он выглядит... внушает доверие, вобщем. Какой ему смысл врать?

С другой стороны, не пора ли расстаться с проклятой скромностью, неверием в себя, со всем этим генетическим грузом, помноженным на рабское воспитание и постоянные попытки родного государства внушить тебе, с помощью всяких

редакторов и прочих идеологов, что ты – пыль, насекомое, сам по себе ничего не значишь, и т.п. Не пора ли поверить в своё предназначение? Да-да, не надо бояться высоких слов: ведь каждый из нас, сочинителей, хочет быть нужным человечеству, надеется изменить мир к лучшему, хоть немного... И не в славе тут дело, а в том, что останется после тебя, что, так сказать... ну, вообще... А иначе, на хрена тогда огород городить?

Значит, во-первых, нечего тут... Надо ему верить, и точка, всё! По крайней мере, с этим ясно.

Но есть вопросы. Ну, насчёт улицы Донатова в Нью-Йорке (Андрей едва не рассмеялся вслух) – ладно, тут могла быть какая-нибудь ошибка в расчетах, компьютер наврал, то да сё. Это, в конце концов, мелочь. Но вот другое, более важное. Например, техническая, так сказать, сторона. О каких миллионных тиражах может идти речь? Я же толком ещё ничего не написал. Как он себе всё это представляет?

Дальше: издадут. Кто? Чего ради? На какие шиши? В распадающейся, тем более, стране...

«Однако, – новая мысль оказалась весьма рациональной, – ему-то наверняка известны все эти подробности, он же, в конце концов, футуролог, мать его... Так нужно расспросить! Потихоньку, аккуратно...» С чего бы начать?

Но друг Билл и тут не подвёл, прервал затянувшееся молчание:

– Вы никогда не замечли, Андрей, что на вашей родине закат очередной властной элиты почти всегда совпадает с расцветом литературы? По состоянию вашей литературы можно судить о состоянии власти, и наоборот. Если власть в России слабая, дышит на ладан – с литературой всё в порядке, появляются новые имена, оживают и пишут по-новому мэтры, публикуются непечатные прежде шедевры... Ну а если в литературе у вас застой, пишут в основном дамы и эпигоны – значит, власть крепкая, надеяться на лучшее в ближайшее время не стоит.

Тут возразить было нечего. Андрей вспомнил последние годы власти Хрущёва – сколько тогда нового, свежего появилось... Он и сам начинал тогда.

Билл повернулся к нему:

– Я это к чему? Я же понимаю, вам нелегко просто так, сразу поверить в мои... м-м... сказки.

– Нет, нет, что вы! – Андрей замахал рукой.

– Поэтому я хочу дать вам всю картину, по возможности с деталями, чтоб вы увидели перспективу. И, кстати, пожалуйста, задавайте, если у вас есть, вопросы о подробностях, это в моих интересах, чтоб вы не имели сомнений в, так сказать... так сказать... ну, что ли... – Он замялся.

Андрей понял, что футуролог тоже по-человечески волнуется, и сказал:

– Знаете, Билл, я думаю, я вам верю. – Уточнил, чтоб быть до конца честным: – Почти верю, то есть. – Я спрошу про подробности, спасибо. Вы продолжайте, пожалуйста, это очень интересно, всё что вы говорите. «Русская литература – это же дело всей моей жизни!» – добавил было за него главный редактор газеты, но Андрей его заткнул.

– Спасибо. Спасибо... Андрей! – Билл казался растроганным. Полез в карман, достал платок, обыкновенный, не бумажный, промакнул лоб. Рука с платком на обратном пути не сразу нашла карман.

Андрей вдруг представил себе, через какую уйму недоверия, неверия в его

идеи пришлось пройти немолодому профессору. Однако ведь вот, прошёл, сохранил энтузиазм учёного, любовь к русской литературе, способность восхищаться, волноваться, вообще, быть нормальным человеком. И Андрей, хоть и видит его в первый раз, а чувствует, что американец Билл гораздо ближе ему по духу, чем например, соотечественник и собутыльник Гоша Петухов.

– Ну, вот... – продолжил ободрённый Билл. – Да... – Сомкнул губы в мечтательной улыбке. – То, стало быть, будет как бы новый золотой век... Или нет, какой, серебрянный? Нет, серебрянный тоже у вас уже был. Тогда какой? Бронзовый? – Оба улыбнулись. – Нет, я не в том смысле... Таблицы Менделеева не хватит, чтоб обозначить все ваши расцветы! – пошутил он и сам засмеялся.

Андрей подхихикнул.

– И что замечательно: впервые в истории русской литературы тон будут задавать представители эмиграции: вы, Бродский, Довлатов, Войнович. Даже Аксёнов поначалу кое-что напишет, более или менее трезвое. Ну и местные постараются. Фазиль Искандер, например, опубликует запрещенное при советах и много нового, тоже станет классиком.

– И долго он будет продолжаться, расцвет этот? – Спросил Андрей без излишнего оптимизма.

– К сожалению, нет... Года два-три. Ну, а что вы хотите, расцвет – вещь короткая.

– А потом?

Билл тяжело вздохнул.

– Потом снова будет спад, застой, длительный... Русская литература, тоже впервые за всю свою историю, в течение многих лет не даст ни одного сколько-нибудь значительного имени. Будет один настоящий писатель, врач по профессии, но коллеги-писатели хорошо постараются, чтоб его числили непрофессионалом... Вообще же, – тут он снова вздохнул, – само понятие «русский писатель» за эти годы девальвируется до неузнаваемости...

Повисла невесёлая пауза. Оба приуныли.

– Грустноватый прогноз, – сказал Андрей.

– Знаете, я бы хотел в этом случае ошибиться, как никогда! – признался Билл. – Но закон причинно-следственных связей... Боюсь, он не оставит шансов. Но вас, – он вновь приободрился, – вас всё равно будут читать, даже в те времена!

– Тогда, если позволите, первый вопрос... — решился, наконец, Андрей. Он проговорил это как бы с юмором, чтоб показать, что вообще-то не очень всерьёз заботится о своей будущей славе. – Вы ведь в курсе, у меня газета. Отнимает уйму времени. Я год как повесть не могу закончить... Какие уж тут миллионные тиражи!

Билл откинулся на скамье. Улыбнулся:

– Вы закончите её, Андрей. Очень скоро. И напишите ещё много всего другого. Не только про лагерь, но и про ваш любимый Ленинград, и про турбазу, и про эмиграцию... – Видно было, что ему доставляло удовольствие сообщать новому другу хорошие новости. – А что до газеты... не хотелось бы вас огорчать, но её скоро не будет.

– Как так? – расстроился Андрей.

– Да так. У вас же в редакции все советские, да? – Да.

– Ну вот. Вы и дома-то у себя друг друга терпеть не можете, а уж здесь... Но не

нужно, пожалуйста, расстраиваться.

«Легко тебе говорить! – Андрей на секунду испытал привычный по совку панический страх. – А как же с работой? Жить на что?» На мгновение забылось, что работает он в газете бесплатно.

– Вы же писатель, а не журналист. Большой русский писатель...

И Андрей успокоился насчёт газеты. Вспомнил, как сначала обижался, когда на всякие эмигрантские литературные тусовки его приглашали в качестве журналиста. Хотя и не показывал обиды. Со временем даже привык и сам стал считать себя журналистом. А Билл был, пожалуй, первым человеком на планете, кто назвал его писателем.

«И откуда он знает про мои литературные планы? Ах, ну да...» Андрей сообразил, что Биллу известны не планы, а их воплощение. Теперь можно окончательно перестать сомневаться в его возможностях. Билл, выходит, не просто хороший парень, друг, но и источник информации – причем уникальнейшей, такой, к которой ни у кого из простых смертных нет доступа!

«Что же выходит, – осознал он, – я с помощью Билла могу досконально узнать своё будущее?! По крайней мере, литературное?»

Это была первая мысль. Сразу за ней явилась вторая: «А хочу ли я этого?»

Пока он не мог ответить на этот вопрос.

Тут Андрей вспомнил, что в некурящей Америке всё ещё не бросил курить. Дымили в этой стране, в основном, эмигранты из восточной Европы, латинской Америки и Азии, люди другой цивилизации. Андрей хоть и понимал, что табакокурение – дикость, наследие доисторических племён, всё же вяло боролся с этой своей вредной привычкой (как и с остальными, впрочем). Достал из кармана Lucky Strike, с детства любимую марку – однажды в конце 50-х знакомый фарцовщик угостил. Предложил Биллу сигарету.

– Спасибо. Я, на самом деле, давно бросил. Вообще, здесь, кажется, нельзя, могут оштрафовать.

Андрей без большого сожаления вернул было пачку в карман.

– Ладно, давайте! – махнул рукой Билл.

Андрей высек искру, оба прикурили. Некоторое время курили молча, оглядываясь. Два солидных человека, принстонский профессор и крупный русский писатель, выглядели при этом как восьмиклассники в школьном туалете. Пепел стряхивали в банку из под пива.

О чём они думали? Об одном и том же или каждый о своём? О будущем, о прошлом? О несуществующем настоящем, которое есть не что иное, как бывшее будущее и будущее прошлое? Или может быть о титане Прометее, давшем людям не только огонь для прикуривания сигарет, но и другие культурные блага, не менее ценные? Прометей, как известно, лишил смертных дара предвидения, сделал так, чтобы мы не знали своего будущего... Благодаря чему впоследствии русский поэт смог написать известные стихи: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся...». Он написал это задолго до появления на свет футуролога Билла Лейбмана...

Кстати, что там дальше? Андрей попытался вспомнить и не смог. Что за чёрт?

Первые две строки, насчёт того, что не дано предугадать, были на слуху, цитировалась на советской родине широко, ибо вполне соответствовали материалистической идеологии. Тогда как третья и четвёртая, видать, противоречили,

что-то там было идеалистическое, вредное. Но что? Так и подмывало спросить у Билла, он наверняка знает. Но ведь неудобно же, стыдно! Кто из нас русский писатель, в конце концов?

– Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется... – произнёс Андрей задумчиво, в надежде, что Билл подхватит.

Но тот, похоже, принял это на свой счёт.

– Замечательное стихотворение, – отозвался футуролог, – но, я бы сказал, несколько устаревшее. Я имею ввиду первые две строки.

– Там есть и другие строки... – завуалированно подтолкнул Андрей.

– Другие – нет. Они не устарели, и не устареют никогда.

Было ясно, что Билл прекрасно помнит всё стихотворение. Однако он замолчал. Продолжал сосредоточенно выпускать колечки дыма, они поднимались вверх и, достигая уровня головы сказочника Андерсена, превращались в небольшие нимбы вокруг неё.

Мог ли думать скромный датский сочинитель, что через много-много лет после его смерти люди поставят ему памятник в центральном парке неофициальной столицы мира, на другой половине земного шара, за десятки тысяч миль от его родины? А если б знал, повлияло бы это на его жизнь? Скорее всего, нет.

Так может, прав Прометей, отнявший у человечества способность предвидеть будущее? А профессор Уильям Готфрид Лейбман, вступая в спор с самым человеколюбивым из титанов, посягает на... Стоп, стоп. Это же как раз Прометей посягнул, а боги, наоборот... Или нет? Андрей перестал развивать аналогию, почувствовав, что недостаточно в теме. Так или иначе, охота задавать вопросы насчёт будущего как-то испарилась. Мало ли что там у Лейбмана в заглавнике? Небось, не одно только приятное... Ну и вообще, раз уж природой устроено так, что не может человек знать своего будущего, то стоит ли идти против природы? Правильно ли это?

А Билл тем временем глянул на часы, потушил сигарету, отделив огонёк о край отверстия банки; окурок аккуратно опустил в банку. Ни тот, ни другой не спешил прервать молчание. Складывалось впечатление, что их беседа зашла в тупик. Но Андрею всё же как-то не хотелось расставаться с Биллом. Похоже, и Лейбман не считал разговор оконченным.

– Время ланча, – сказал он. – Хотите есть?

– Нет пока. – Было не до еды, тем более в каком-нибудь из переполненных в это время кафе. – Но если вы...

– Нет-нет, я в порядке. Я вообще мало ем.

Андрей заметил, что многие американцы любят так говорить. Особенно те, кто ест, что называется, за семерых. При этом будучи искренне уверены, что почти голодают. Жители США вообще, как правило, верят в желаемое гораздо больше, чем в действительное. Чем и объясняется живучесть липового пропагандистского понятия «американская мечта».

Но Билл не лицемерил. Чувствовалось: ему сейчас тоже не до примитивно-земного. Андрей сообразил, что Билл напомнил о ланче, так как это был способ продлить их встречу, продолжить разговор. Ушлый психолог почувствовал, видимо, состояние Андрея, уловил, что тот не жаждет дальнейших откровений. Возможно, надеялся, что за ланчем ситуация переменится. Но в конце концов решил не настаивать. Билл, скорее всего, придерживался той точки зрения, что знать или не

знать своё собственное будущее есть личный выбор каждого. Как интеллигент, исповедующий либеральные ценности, он уважал право человека на выбор.

Но всё же для чего-то ведь нужна была ему их встреча? Для чего? Хотел о чём-то спросить? Или сообщить что-то важное? Кроме того, что я стану крупнейшим писателем конца XX века? Что может быть важнее, впрочем... То есть, для меня. А для него? Разве что он просто хотел сделать мне приятное...

Размышляя так, Андрей понимал, что ему, как ни соображай, всё равно не угадать скрытых намерений футуролога, если они существовали. У него для этого было недостаточно информации. В то время как писательская интуиция подсказывала, что есть там что-то у Билла, чего он не сказал пока, но что для него, Андрея, возможно, не менее важно, чем то, что тот уже сказал.

Оставалось одно – просто спросить его, в лоб. Просто спросить: «Какого, мол хрена...». Ну, конечно не так... по-свойски, а культурней, без фамильярности: «Для чего, мол, Билл, вам понадобилось... чего ради мы с вами, собственно, сидим тут и разводим эти...»

Он глянул в сторону Билла и убедился, что профессор явно не собирается нарушать свои либеральные принципы, насчёт свободы выбора. Отнюдь. Лейбман слегка упёрся ладонями в колени и чуть подался вперёд, как человек, собирающийся подняться с места. На несколько мгновений застыл в такой позе и произнёс:

– Ну, что ж...

Но встать не успел.

Этих нескольких мгновений хватило Андрею, чтоб изобрести ход, найти способ удержать профессора и дать ему возможность вернуться к разговору. Причём без всяких любовых вопросов с его, Андрея, стороны!

Он бросил остаток сигареты на асфальт, придавил подошвой, по советской привычке. Поднял окурок, бросил его в банку, затёр следы пепла на асфальте – это уже было влияние Америки. После чего достал пачку, выковырял оттуда новую сигарету и протянул пачку Биллу. И когда тот, как и ожидалось, сделал отрицательный жест – спокойно воспользовался даром Прометея и выпустил клуб дыма.

Что означало: «Я никуда не тороплюсь. А вы?»

Курить не хотелось. Он даже не затягивался. Но радовался тому, как иногда полезны могут быть вредные привычки, какой ловкий ход нашёл, чтоб удержать Билла, дать ему понять, что не стремится окончить разговор; тому, как верно он проанализировал логику профессора, насчёт свободы выбора и вообще. Всё же и писатели кое-что кумекают в человеческой психологии, особенно если они настоящие профессионалы!

Билл же глянул вслед облаку дыма, устремившемуся опять-таки в направлении головы сказочника, и сказал просто, слегка покивав головой:

– Я понимаю Вас, Андрей. – В голосе его действительно звучало неподдельное понимание. – Знать или не знать своё будущее – личное право каждого человека. Раз уж природой устроено так, что не может человек знать своего будущего, то стоит ли идти против природы? Так?

Он повернулся, посмотрел Андрею в глаза. Андрея несколько смутило, что Билл дословно цитирует его мысли, но он выдержал взгляд.

– Но ведь человек же всё время бросает вызов природе! Что и является смыслом научного прогресса. Который нельзя остановить.

Андрей поощрительно покивал: кто ж его, мол, остановит, прогресс, никто и не собирается, давай, продолжай...

– Грядёт двадцать первый век! – объявил Билл свежую новость и сделал патетический жест правой рукой. – Это будет век тотальной, всепроникающей и всепоглащающей информации. Никто, понимаете вы, никто не избежит этого всплеска, потока, тайфуна, если хотите, урагана информации!

Тут он встал и заходил перед скамьёй туда и обратно, как профессор, читающий лекцию.

– Никто не избежит, не спрячется, не укроется – то будет как ядерная волна, наступающая всех и каждого. Не останется более никаких секретов, тайн – личных, коммерческих, государственных. И никакие правительства и спецслужбы, никакие международные альянсы и средства защиты, деньги, капиталовложения не смогут этому противостоять. Понимаете? – Он остановился, словно потрясённый вдруг пришедшей в голову мыслью. – Наоборот! Сами деньги, поскольку информационный бизнес и связанный с ним технический прогресс будут приносить колоссальные прибыли – сами деньги нанесут несокрушимый удар по системе мирового финансового господства, построенной целиком на закрытости и дезинформировании масс.

– Это было бы замечательно! Насчёт удара. – Вставил Андрей.

– Это будет, обязательно! – обнадёжил Билл. – Хотя бы потому, что любой механизм стяжательства изначально содержит эмбрион самораспада. Так что не беспокойтесь, вопрос только во времени.

Он остановился, заглянул за памятник со стороны фасада, как бы проверяя, после чего вернулся, подсел к Андрею. Заговорил интимно, вполголоса:

– Можете себе представить, лет через двадцать-тридцать у каждого, ну, почти у каждого человека в кармане будет видео – понимаете, видео! – телефон. В кармане! Без всяких проводов.

– В каком смысле – видео?

– Можно будет не только говорить с абонентом в любой точке земного шара в любое время дня и ночи, но и видеть его! Мало того – наблюдать любое событие в любом месте земли: футбол, хоккей, теракт. В прямой трансляции. Live.

– Ну, не стоит преувеличивать... – Андрей выпустил дым струёй. – Я верю в технический прогресс, но то, что вы говорите... Видеть... Но для этого нужен хотя бы экран... – трезво возразил он, демонстрируя не только безупречную логику, но и известную техническую подготовку. Не зря же несколько лет проработал редактором многотиражки ленинградского телевизионного завода имени Козулина.

– Да будет там экран, будет! – нетерпеливо отмахнулся Билл.

– В кармане? – саркастически улыбнулся Андрей. – Какого же размера?

– Приемлемого. Но давайте не станем отвлекаться. – Похоже, Билл подустал от донатовской дотошности насчёт мелких технических подробностей. – Так вот, – сказал он, беря себя в руки, – информационный бум настолько повысит информационные возможности, что они преодолеют фактор времени. Обилие информации и открытость доступа приведут к размывости границ между информацией о событиях сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Информация о будущем, таким образом, станет неотъемлемой частью информации текущего момента! Вы улавливаете мою мысль?

Честно говоря, вопрос застал Андрея несколько врасплох. Он вдруг

почувствовал некоторый туман в голове. То ли от второй подряд сигареты натошак, то ли от размеренности лейбмановской речи, то ли от обилия, информации. Так или иначе, мысль он не уловил. Просто даже не расслышал толком, о чем это он. Что-то там про информацию, про будущее опять... Но что... в связи с чем...

– Да-да... слушаю вас... – только и смог выговорить писатель.

В глазах и голосе его, по-видимому, появилось некоторое оупение, тут же замеченное опытным Биллом. Который от досады слегка пристукнул кулаком по скамье и забарабанил пальцами. Он даже немного обиделся на Андрея, поскольку тот отключился в самый, можно сказать, кульминационный момент. Когда он, Билл как раз подошел к сути, к главному, для чего и затеял весь разговор! «Впрочем, как он может знать мои планы? – подумал Билл. – В самом деле, зачем я раздражаюсь? Бедный парень, сколько я ему всего вывалил. Тут кто хочешь... get frustrated!». Обычно Билл, когда говорил по-русски, и думать старался по-русски, чтоб не спутаться, но последние слова подумал по-английски, так как не знал, как это будет по-русски.

– То есть я хочу сказать, – Билл старался говорить доступно, не спеша, спокойно, доброжелательно, без тени раздражения, чтоб, как говорится, и до тупого дошло, – что очень скоро наступит момент, когда люди не смогут оградить себя от информации о своём будущем, хотя бы ближайшем. Даже если захотят – всё равно не смогут. – Он встал. – Знаете что? Ничего, если я отлучусь на десять минут? Вы подождёте? На десять минут, не больше. Извините. Я мигом.

Он сорвался с места и в мгновение ока исчез за поворотом аллеи.

4.

Выглядело так, будто ему, что называется, приспичило. Но нет, не так-то прост Билл Лейбман, чтоб срываться с места по такому пустяковому поводу! Хотя, почему нет, что он, не человек? А может, ему срочно понадобилось кому-то позвонить по телефону?

Андрей улыбнулся: вспомнил, что в совке, когда во время, например, прогулки с дамой, нужно было срочно отлучиться в соседнюю подворотню (за неимением более приспособленных мест), то это так и называлось «позвонить по телефону». «Кстати, не нужно ли и мне "позвонить"?» – подумал. Как обычно, мысль вызвала хотение. «Мысль, связанная с хотением» – вдруг ни к селу, ни к городу вспомнилось знаменитое ленинское определение идеи художественного произведения, навеки вызубренное в юности.

В Центральном парке Нью-Йорка приспособленных мест было более, чем достаточно, но всё равно, нужно искать, спрашивать... Нет уж, лучше посидеть тут, не двигаясь, до прихода Билла и обдумать последнюю его фразу – не случайно же психолог сбросил её перед уходом.

Как это он сказал? Нельзя, мол, будет отгородиться от информации о будущем. Отгородиться... Да... Так ведь мы же испокон веку только и делаем, что отгораживаемся! Человечество только тем и занимается, что прячет голову в песок! Простой пример: курение. Кто из нас не знает, к чему это приводит, без всякой футурологии? Но курим же. Я вот сейчас две подряд засадил, натошак.

Андрей прислушался к себе в поисках симптомов необратимого; вроде не нашёл, несколько успокоился.

«Вот-вот. Это, мол, всё не про нас, все эти предупреждения, предсказания. А с нами если и будет, то не скоро... А какое там – не скоро. Будущее перетекает в прошлое, фактически минуя настоящее... – вспомнились слова Билла. – И ещё, как это он здорово сказал про обывателей... что, мол, прошлое им неинтересно, а будущего они боятся, потому что видят в нём только свою старость и смерть... Но мы ведь не обыватели, мы мыслящие творческие люди! Так чего же нам бояться? А вот Моцарт, например, боялся? А Пушкин? А Тартаковский боится? Надо будет спросить...»

Поэт Яков Тартаковский, которого Андрей знал ещё по Ленинграду, боготворил и считал гением, эмигрировал много раньше Донатова и жил теперь в Нью-Йорке, в нижнем Манхэттэне.

«Конечно, спрошу при случае – если будет случай.» Поэт был не так уж доступен, даже для знакомых по совку; то есть для них как раз менее всего. «Хотя, чего спрашивать, Яков-то наверняка не боится, ведь он же гений...»

Было бы странно, если бы другой поэт, конгениальный Якову, а именно, Александр Сергеевич Пушкин, тут же не откликнулся цитатой:

– «Ведь он же гений, как ты да я...» – Андрей не отказал себе в удовольствии произнести это вслух.

– Простите? – переспросил возникший как из под земли Билл. Наверное подумал, что Андрей адресует к нему.

– Стихи. – Пояснил Андрей. – Пушкин. – Было неловко, что Билл застал его за подобным... цитированием.

– «Моцарт и Сальери», – не подкачал Билл. В руках он держал бумажный пакет. – Маленький шедевр.

Последние два слова относились, конечно, не к пакету, а к пьесе Пушкина. Андрею польстило, что Билл сказал о ней теми же словами, что о главах из его, Андрея, новой повести. Чем как бы... ну, не то чтобы уравнивал... но всё же... И вообще, славный он парень, Билл!

Билл тем временем вынул из пакета два хотдога и две бутылки воды. Так вот, оказывается, куда он ходил. К чувству благодарности примешалась, впрочем, некоторая досада, в том смысле, что хотдоги лучше идут под пиво, но Андрей тут же вспомнил о запрете.

Мысли о воде и пиве навели на другую мысль, ту самую, связанную с хотением. Он поблагодарил Билла за хотдоги, всё же не сумев избежать привычного и бессмысленного «Ну что вы, зачем!» и, выслушав подробные указания, направился по маршруту.

Андрей давно заметил, что, как это ни покажется смешным, посещение известного места часто приводит к рождению удачных, можно сказать, даже самых удачных художественных идей и неожиданных умозаключений. Интересно, только у него или у других творческих людей тоже? Феномен не имел объяснения, и всякие доморощенные догадки, вроде того, что для полноценного творчества необходимо комфортное физическое самочувствие, а что может быть комфортней того чувства расслабления... ну и т.п., выглядели несерьёзно.

Вот и на этот раз, идеи появились, даже две. Первая: пора уже раз и навсегда перестать бояться знания о собственном будущем. Гений (да и просто талант) и страх перед будущим – две вещи несовместные! Так же, как гений и злодейство. Эта идея

вытекала из последних размышлений и по ассоциации с Пушкиным.

Вторая: он придумал, какой вопрос насчёт деталей из будущего нужно задать Биллу. Вообще-то вопрос сей уже некоторое время, с того момента, как Билл упомянул про записные книжки, что их издадут, присутствовал в мыслях Андрея как бы фоном. Как сказал бы Билл, в подсознании. А сейчас вот, в условиях феномена, что называется, всплыл на поверхность.

Найти дорогу обратно к статуе Андерсена оказалось неожиданно легко. Он застал Билла сидящим на скамье и, как любили выражаться старые мастера, погруженным в раздумье. Их мини ланч был аккуратно расставлен всё на той же газете. Недопитый Андреем стакан с кофе возвышался тут же. Пустой стакан Билла и банка из под пива исчезли.

Андрей опустил на скамью, поглядывая на профессора. Тот тоже глянул на него, мельком – всё ещё был занят своими мыслями. Андрею не терпелось поделиться результатами последних умозаключений, но он не знал, как начать.

Начал Билл:

– Извините, Андрей, не знал, как вы привыкли – с горчицей или с кэтчупом, поэтому попросил и то, и другое.

«Типично для американца, – подумал Андрей. – Если американец не знает, что выбрать из двух, то берёт оба. Хотя, какой он американец? Просто хороший парень... А горчица и кэтчуп – две вещи несовместные... Что это Александр Сергеевич сегодня прилип? Всё таки интересно, испытывал ли он страх перед будущим? А страх смерти?»

Оба взяли по хотдогу. Андрей вообще-то терпеть не мог ватные булочки с синтетической сосиской, но на сей раз булочка была хорошо прожарена, ещё не остыла, а смесь кэтчупа с горчицей успешно заменила вкус сосиски.

– Очень хороший хотдог, – похвалил Андрей, – большое спасибо.

Несколько секунд оба жевали молча. Затем Андрей собрался с духом и сказал как бы между делом, открывая бутылку с водой:

– Знаете, Билл, в России есть такое мнение, вы наверное слышали, что для настоящей славы нужно умереть молодым. Ну, не совсем молодым, но как бы... раньше положенного, что ли... Конечно, смешно, что значит «положенного»... ну во всяком случае, не в старости, так сказать. Интересно, что вы думаете по этому поводу?

Лейбман посмотрел на Андрея... Внимательно? Пристально? Нет, ни один из привычных эпитетов не годился для характеристики его взгляда. То есть, и то, и другое присутствовало, но и что-то ещё, неуловимое – настороженность? сочувствие? испуг или просто неловкость, как бывает, когда задают неудобный вопрос? Затем он отвёл глаза и заговорил неторопливо, словно рассуждая; чувствовалось, у него есть что сказать на тему.

– По-моему, это предрассудок. Во-первых, кто устанавливает, так сказать, возрастные пределы? Тот же Чехов умер в сорок четыре, став российской и отчасти европейской знаменитостью уже при жизни. А Лермонтов умер в двадцать шесть, но стал бы он менее известен, если бы умер позже? Ну а Тютчев вообще свои лучшие стихи написал в преклонном возрасте... Так что...

Билл, в свою очередь, открыл бутылку, отпил.

– Ну, а вот Шукшин, Высоцкий... Их после смерти стали просто обожествлять.

А перед, то есть, до того – сами знаете... – Андрей сказал это не как возражение, а просто вроде как подумал вслух.

Билл отпил ещё, завинтил крышечку. Не торопился отвечать.

– Ну, что вам сказать... То, что в России к выдающимся людям после смерти относятся лучше, чем при жизни, это общеизвестный факт, тут не поспоришь... Такая национальная особенность... Ну, есть разные гипотезы на сей счёт, почему это так...

Он говорил как-то уклончиво.

– Почему же? – Андрей решил добиться прямого ответа.

– Почему – что? – Билл сделал ещё одну слабую попытку ускользнуть, но Андрей вцепился хваткой профессионального газетчика-интервьюера:

– Вы сказали, есть разные гипотезы. Какова, например, ваша?

– Понимаете, Андрей... Конечно, не хотелось бы никого обижать, но раз вы настаиваете... Поскольку лично я не вижу просто другого объяснения... Так исторически сложилось, тут нет чьей-то вины... Но...

Деликатность Билла не имела пределов и уже начинала раздражать.

– ...Но вам выпало родиться в стране рабов. А рабы, они очень не любят свободных людей. А талант, тем более гений – он всегда свободен... И этой смелости быть свободным рабы не прощают. Потому живой гений их очень сильно раздражает. Другое дело после смерти. Так приятно: можно перестать завидовать, можно жалеть, можно возвеличивать...

Звучало убедительно. И объясняло не только российскую любовь к усопшим гениям, но и многое другое. И всё таки Андрея ответ не удовлетворил. Его не столько интересовали общие закономерности, сколько их приложение к его конкретной писательской судьбе. Он решил зайти с другого конца.

Но не сразу. Показал сперва, что сполна оценил глубокую мысль Билла: покивал, слегка выпятив нижнюю губу, для чего пришлось ненадолго перестать жевать. Дожевал, и стал разглядывать хотдог с разных сторон, как бы прикидывая, откуда откусить. Выглядело фальшиво – хотдог уже надкусан, выбора не было.

– Да-а... – протянул Андрей и вздохнул. Что могло относиться и к отсутствию выбора, и к проблеме отношения к гениям в России. – Да...

Он силился вспомнить какую-нибудь уместную фразу из записных книжек писателя Ильи Ильфа, чтоб таким образом элегантно перейти к волнующей его теме, задать тот самый всплывший из подсознания вопрос, связанный с, так сказать, обстоятельствами публикации записных книжек писателя Андрея Донатова. Но, как назло, ничего подходящего не приходило на ум. Кроме самого затасканного из всего творческого наследия сатирика афоризма насчёт спасения утопающих – ничего.

Билл тем временем тщательно пережевывал хотдог, регулярно отпивая воду из бутылки. Андрей тоже откусил. Тут же вспомнилась ещё одна запись Ильфа, любимая: «По улице бежит Иван Приблудный. В зубах у него зажат шницель. Ночь.»

Но и она никак не подходила к случаю.

«Да чёрт с ними, с этими литературными ухищрениями!» – разозлился на себя Андрей. Энергично сжевал последний кусок хотдога, запил водой (всё таки отвратное ощущение, когда запиваешь пресной водой горчицу с кэтчупом), вытер рот и руки прилагавшейся к хотдогу бумажной салфеткой. И спросил в упор, без обиняков.

– Билл! А вот я хотел вас спросить... Ну вот насчёт моих записных книжек, что их якобы опубликуют. Так?

– Опубликуйте, опубликуйте, можете не сомневаться! – поспешил заверить Билл.
– И не один раз. Будут и отдельные издания, и в сборниках, и в собраниях сочинений...

– В собрани-ях? – Андрей переспросил, уж не ослышался ли.

– Да, именно «ях»... Множественное число. Сначала издадут трёхтомник, через год четырёхтомник, а потом и пятитомник.

– Да где ж они наберут, на пятитомник-то? – воскликнул Андрей изумлённо.

– Наберут, наберут, вы за них не волнуйтесь. Знаете, за счёт увеличения шрифта и тому подобное... Есть много способов. Мало того, потом ещё выйдет том «Неизданный Донатов», ну там уж всё пойдёт в дело, включая письма, записки, телеграммы родственникам... Всё, что вы написали для газеты, тоже издадут отдельной книжкой.

– Зачем?!

– Как – зачем? Вам, вероятно трудно себе представить, но поверьте, каждая ваша строчка будет, как у вас говорят, на вес золота.

«Почему он считает, что для пятитомника придётся увеличивать шрифт? – обиделся Андрей. – А вдруг я к тому времени напишу на пятитомник с нормальным шрифтом, откуда ему знать? Ах, ну да... Как он сказал, на вес золота? Интересно, хватит этого золота на то, чтобы снимать квартиру в доме на Пятой авеню? Впрочем, Билл же не сказал, что всё достанется автору. Или его семье... Да и вообще, вряд ли стоит понимать его так уж буквально...»

– Это ж сколько времени понадобится, чтоб написать на пятитомник!.. – Андрей сделал ещё одну попытку вернуть собеседника к тому, что занимало его мысли.

Билл промолчал. Сделал вид, что воспринял вопрос как риторический.

– А что касается записных книжек, то их ведь обычно издают после смерти автора... – бухнул Андрей. – Так? – И он посмотрел Биллу прямо в глаза.

– Ну почему же, – пожал плечами Билл. – Если у вас есть связи в издательствах или деньги...

– У меня нет ни того, ни другого. – отрезал Андрей.

– Ну... тогда...

«Ну, давай, говори! – храбро подумал Андрей, – говори уж... чего уж... ».

Подумал, но не озвучил.

И тут Билл неожиданно встал. Сделал несколько шагов взад-вперёд вдоль скамьи. Сцепил пальцы рук и так, сцепленными руками, сделал решительный жест. Повторил его. И наконец раскрыл рот, собираясь заговорить.

Точно в тот же момент – это не вымысел, такие совпадения бывают – неподалёку истошно завопила серена. За ней вторая. И вот уже несколько – две, три, сто? – сирен с переливами, руладами, присвистом завопили над Центральным парком, невероятными децибеллами сокрушая, казалось, всё живое в радиусе сотен километров.

Человек неопытный, какой-нибудь турист из восточной Европы, подумал бы, что началась, наконец, ядерная война. Привычный американец Билл знал, что ничего особенного не произошло. Так обычно ездили американские пожарные – на учения, иногда просто так, изредка по делу. Если же поступал звонок от бдительного нью-йоркца, учуявшего запах газа в соседней квартире, то к пожарным присоединялись

две-три полицейские машины и пара карет скорой помощи. Они тоже не пренебрегали возможностью заявить о себе, в результате кортеж производил шум, в сравнении с которым трубы Иерихона были как плеск лесного ручейка.

Билл говорил, не обращая внимания на шум. Андрей силился услышать хоть слово но тщетно. В конце концов перестал вслушиваться, просто наблюдал, сдерживая смех, как профессор вдохновенно, увлеченно, энергично открывал и закрывал рот. Очевидно, впаривал Андрею очередную концепцию насчёт будущего, вместо того, чтоб просто ответить на вопрос.

Беззвучная артикуляция профессора, подкреплённая жестами рук и всего туловища, продолжалась, пока кортеж следовал вдоль Пятой авеню; в конце концов Андрей не выдержал и расхохотался.

Билл озадаченно посмотрел на Андрея. Замолчал. Почти одновременно стихли сирены. Билл оглянулся, осмотрел себя. Не мог понять причины смеха.

А Андрей не мог остановиться.

– Простите, Билл, извините... Ха-ха-ха... Ха-ха... – Наконец сумел взять себя в руки. – Фф-ууу... – Да-а... Вы не обижайтесь, но это было действительно смешно.

– Смешно? – удивился Билл. – Почему?

– Да нет, не то, что вы сказали, смешно. Я же не слышал ни одного слова.

– Как?

– Из-за сирен. Вы слышали сирены? – Спросил на всякий случай. Он давно заметил, что американцы абсолютно нечувствительны к шуму.

– Сирены? Ах, да-да, я слышал такой сильный звук...

Нет, всё таки он не стопроцентный американец.

– И что, он заглушил все мои слова?

– Начисто.

– Ну да, понимаю... Это как в немом кино: я размахиваю руками, открываю рот, как рыба... Действительно смешно.

Он сел на скамью и расхохотался.

– Здорово... Значит, я тут рас... рас-пни...

– Распинался, – подсказал Андрей.

– Спасибо. Распинался, а вы не слышали ни одного слова. Хм... – он подумал несколько секунд и заявил решительно: – Значит, и не нужно было! Не нужно было слышать.

– Значит, не нужно было, – легко согласился Андрей.

Помолчали. Оба понимали, что говорить особо больше не о чем, нужно прощаться, но обоим не хотелось.

– Ну что ж, Андрей... Большое спасибо вам за встречу...

Билл стал неторопливо складывать в пакет то, что осталось от их ланча – обёртки, пустые бутылки. Андрей сложил газетную страницу, служившую скатертью. Наконец, оба поднялись; Андрей собрал газеты, вручил хозяину. Тот поблагодарил.

Андрей оглянулся на памятник – сказочник всё так же сидел, углубившись в изучение гигантской книги, лежавшей на его левом колене. Вероятно, это было подарочное издание его сказок. «Никак себя перечитывает, – подумал Андрей. – Зачем?»

Солнце светило из-за туч, наполняя пространство мягким желтоватым светом. Андрею такое освещение напоминало о родном Ленинграде, где солнце почти всегда

пряталось за тучами. Манхэттэн иногда казался ему похожим на Ленинград, особенно в первое время после приезда, он даже в шутку называл его Петербургом XX века. Потом понял, что сравнивать несколько сотен кварталов беспорядочно нагроможденных зданий с городом-красавцем есть кошунство. Но теперь, идя с Биллом по алее среди деревьев, вдруг представил, что они где-нибудь в Летнем или Михайловском саду, месте встреч, прогулок с друзьями, бесконечных литературных разговоров.

Сейчас, однако, шли молча. По дороге Билл выбросил в урну пакет и газету. Подошли к лестнице музея Метрополитен. Остановились.

– Хорошо, Андрей. И всё таки, перед тем, как попрощаться, я обязан вам сказать...

На Пятой авеню в это время было шумно, появилось много машин. Час пик в Манхэттэне начинался сразу после ланча. Андрей давно понял, что слухи об американском сверхтрудолюбии преувеличенны и знал, что далеко не все здесь работают во второй половине дня.

Билл говорил, перекрикивая автомобильные гудки и шум моторов:

– ... Должен сказать важную вещь!

– Что?

– Вещь! Вещь, важную!

– Да?

– Будущее!.. – Билл кричал почти в ухо Андрею. – Будущее – это не приговор! Это, скорее, проект! Понимаете – проект! Всё в наших руках! Если мы можем предвидеть – всё в наших руках!

В этот момент шум несколько поутих – видно, трафик двинулся, машины перестали сигналить. Что дало возможность Андрею без крика произнести в ответ следующую философскую фразу:

– Все в руках Божьих...

– А что есть Бог? – спросил Билл, тоже негромко.

– Это вопрос?

– Риторический, – улыбнулся Билл.

– Не знаю... – Андрей также усмехнулся, чтоб не выглядеть чересчур глубокомысленным. – Может, Бог – это не что иное, как закон причинно-следственных связей?

– Ух ты! – совершенно по-русски удивился Билл и посмотрел на Андрея с укором. – А прикидывались шлангом... Зачем?

– А Бог его знает. Наверное, хотел вам подыграть.

– Спасибо. Я вообще-то догадывался, что вы прикидываетесь.

– Спасибо.

– Стало быть, вы понимаете, что любое событие есть следствие определённой комбинации причин?

«Опять за своё!» – подумал Андрей беззлобно и сказал:

– Понимаю.

– Ага! – обрадованно воскликнул Билл. – Значит, вы понимаете и то, что одна, всего лишь одна причина, пусть даже самая мелкая, будучи исключена из комбинации, меняет весь результат?

– Понимаю и это.

– Теперь вы знаете, что я имею в виду, когда говорю, что будущее – не приговор, а проект! – Он ударил ладонью о ладонь.

– Вы хотите сказать, что если мы заранее знаем результат, то можем его избежать? Для этого надо только исключить какую-нибудь одну из множества причин?

– Именно! И вот что мы сделаем. – Глаза его вновь зажглись вдохновением. – Я покажу вам всё ваше досье!

– Какое досье? – насторожился Андрей. Это безобидное слово внушало ему страх, как всякому, кто привык жить в полицейском государстве.

– Ну, всё ваше будущее, на ближайшие десять лет. По годам.

– Хмм... интересно.

– Очень! Перед вами будет полная картина! И всё, что вы хотели бы изменить...

Вы понимаете меня, Андрей? – В порыве энтузиазма он даже взял Андрея за руку повыше кисти и со значением посмотрел в глаза.

– Я понимаю вас.

– Ну вот, – удовлетворённо сказал профессор, – прекрасно. Замечательно! Мы договорились.

Он достал из внутреннего кармана плоскую серебрянную коробочку ручной работы, отщёлкнул крышку с восточной чеканкой, извлёк визитную карточку и вручил её Андрею.

– Звоните мне, пожалуйста, как у вас говорят, в любое время дня и ночи. Мы назначим встречу. И тогда я скажу вам, как до нас добраться. Это близко.

– Хорошо. Спасибо. Вы тоже звоните в любое время, номер вы знаете.

– Ну, так... а теперь... Я хочу сказать вам, Андрей, что очень рад нашему личному знакомству и думаю – надеюсь! – что мы увидимся ещё не один раз.

– Я тоже надеюсь! – искренне сказал Андрей.

– Ну, всего доброго. До встречи.

– До встречи, Билл.

– До встречи, Андрей. Пока.

– Пока.

– I will see you soon. – Билл вдруг перешёл на родной язык.

– Бай-бай, – ответил Андрей, имея в виду, конечно, английское «пока», а не русское «спокойной ночи».

Они потрясли друг другу руки, после чего Билл стал подниматься вверх по лестнице музея. Хотел ещё раз взглянуть на любимые картины? А может, просто работал в музее по совместительству? Или жил? Шел он быстро, почти бежал мелкими шагами, не пропуская ступеней, отчего его движение вверх выглядело стремительно-плавным; ветерок раздувал полы светлого пиджака с двойным разрезом на спине.

Андрей постоял у подножия лестницы, пока Билл не исчез в дверях, потом двинулся вниз, в сторону Таймс Сквер. Нужно было всё таки появиться на работе, в редакции. Покуда их не закрыли, в соответствии с предсказанием Билла.

5.

До редакции было довольно далеко, почти полчаса пешком. Но транспортом пользоваться не хотелось: час пик; а главное, по дороге можно было обдумать то, что

произошло с ним в последние несколько часов.

Вообще-то вся эта история носила несколько ирреальный, метафизический, как сказал бы поэт Яков Тартаковский, характер. Возникший вдруг откуда-то симпатичный профессор с визиткой в серебрянной коробочке, их встреча, беседа о будущем за спиной (в буквальном смысле) сказочника... Напоминало какой-то увлекательный сон. Но нет, вот она, глянцевая упругая визитка с выпуклами золотистыми буквами – Андрей ощупал карточку в кармане, погладил буквы подушечками пальцев.

И всё равно, он не мог решить пока, нужно отнестись ко всему этому серьёзно или не стоит придавать такого уж большого значения.

Например, должен он звонить Лейбману, договариваться о встрече, ехать куда-то в Нью Джерси, в Принстон или куда там, с целью изучить своё досье на ближайшие десять лет?

Звучало, между прочим, довольно глупо, и как бы ему не выглядеть идиотом. Так что ж, не звонить? Ждать, пока позвонит Билл? А если не позвонит? Забыть о нём, забыть об их разговоре, считать всё это метафизикой, жить дальше, словно бы ничего не произошло, вслепую, как бы не зная собственного будущего, не думая о нём? Но теперь, скорее всего, это было бы уже невозможно... Да и Билла, славного парня, тонкого знатока русской литературы, настоящего друга, всё понимающего без лишних слов, не хотелось терять.

И что неприятно – не с кем посоветоваться, обсудить создавшееся положение. Во-первых, какой нормальный человек поверит?

Жена Катя – может и поверит, она вообще-то всегда во всём верила Андрею и понимала его, как никто, у него не было от неё тайн, и все её советы были продуманны, трезвы, он всегда к ним прислушивался. Но вот именно поэтому, в силу её чисто женской практичности, некоторой приземлённости... Нет, не стоит к ней соваться со всей этой метафизикой. Не женское это дело.

Андрей обратил внимание, что в мыслях он прочно закрепил за историей с Лейбманом термин «метафизика». Термин наводил на мысль: а не обсудить ли её, историю, с главным метафизиком последней волны русской эмиграции в США, поэтом и небожителем Яковом Тартаковским?

Заполучить репутацию небожителя было давней мечтой Якова, ещё с ленинградских времён. Тому препятствовали два обстоятельства. Первое: имя Яков, слишком приземлённое, простецкое, несоответствующее высокому строю мыслей хозяина. То ли дело англосаксонское, с имперским привкусом Джэйкоб, сокращенно Джэк – так звали его американские коллеги. В русской среде, впрочем, сочетание Джэйкоб Тартаковский как-то не прижилось.

Второе, более серьёзное обстоятельство: главным небожителем в русской литературе считался другой поэт, Борис Пастернак, о чём знали многие умники в той же злополучной русской среде. Из-за чего Тартаковский Пастернака недолюбливал и при случае отзывался о его стихах неодобрительно, а с умниками не здоровался.

Стоит ли говорить о том, что те из них, кто осмеливался назвать небожителя домашним именем «Яша», становились его заклятыми врагами на всю жизнь?

Андрей, на правах старого знакомого, пользовался привычным «Яков», при этом не отказывая Тартаковскому в вождельном статусе. О чём поэт догадывался и потому к Андрею относился милостиво.

В принципе, можно было бы позвонить Якову хоть сейчас, да только известно, что он скажет. Что у него в ближайшие две недели... ну и т.п. Тартаковский рьяно оберегал миф о своей беспросветной занятости. Исключений не делал ни для кого. «Всё равно он гений!» – сказал себе Андрей.

Ну что ж? Оставался только один кандидат – друг и соратник Миша Мунис. Правда, Андрей заранее знал реакцию Миши. Он первым делом спросит, проверил ли я документы Билла. Как будто я милиционер! Миша, как и многие из их круга, хоть и ругал «совок» на чём свет стоит, сам был советским, что называется, до мозга костей.

Размышляя над кандидатурой Муниса, Андрей дошёл до входа в подземку, рядом с которым находился таксофон. Просто так, ни на что не рассчитывая – или же надеясь на чудо – набрал номер Тартаковского.

– Да, да, небожитель слушает!

Это прозвучало, конечно, у Андрея в воображении. Яков вряд ли ответил бы так. Он вообще никогда не отвечал на телефонный звонок по-русски. С русскими, кроме нескольких избранных, поэт фактически не общался. С эмиграцией, по вышеизложенным причинам, связей не поддерживал. С самого приезда в США старался вписаться в местный литературный истеблишмент, что ему в большой степени удалось. Правда, их русскую газету, Андрей знал, небожитель читал регулярно.

Услышав после долгих гудков хриловатое, с американским акцентом «Hallo», Донатов тоже вдруг ляпнул:

– Hallo...

Зачем? Он сам не знал. Вероятно, не хотелось разочаровывать земляка. И тут же понял, что сделал глупость. Продолжать по-русски теперь как-то неловко. Говорить же с Тартаковским по-английски – можно попробовать, но чересчур уж нелепо. Собрался с духом и сказал:

– Здравствуйте, Яков. Это говорит Андрей Донатов. Я вас не отвлёл?

«Не отвлёл» – ясно от чего. От работы над стихом, конечно.

– Да-а... – это не относилось к вопросу Андрея. Так небожитель показывал, что находится в некоей прострации, во власти, то есть, вдохновенья. – Нет, нет, ничего...

– Как вы? – спросил Андрей, скорее для проформы. Не то, что он не интересовался здоровьем небожителя, а просто не сомневался, что у того всё в порядке. Если б, не дай Бог, было не в порядке, весь Нью-Йорк знал бы, и в первую очередь – игнорируемая Яковым эмиграция.

– Нн-не особенно... – Яков всегда отвечал так на сей вопрос, заданный по-русски. В то время, как на аналогичное «How are you?» реагировал, как правило, диаметрально противоположным «I am fine».

– А что? – задал Андрей следующий вопрос, рискованный, но неизбежный. Если вдруг что-то, Боже упаси, не в порядке, Яков начнёт рассказ с подробностями, причём прервать его не удастся. Но и пропустить «не особенно» мимо ушей нельзя – чревато крупной обидой. Оставалось надеяться, что всё более или менее, Яков в таком случае ответит «ладно, неважно» (что означало: «вообще-то плохо, но не стоит об этом»). И можно будет перейти к делу.

– Да так... Ладно, неважно, – сурово оборвал себя небожитель. – Что у вас?

В зависимости от ударения, вопрос можно было трактовать двояко. Ударение на «вас» означало бы «как ваши дела?». На «что» – «Говорите поскорей, чего вам надо, а

то я вообще-то занят». Поскольку Яков дипломатично не сделал определенного ударения, Андрей выбрал первое:

– Спасибо, всё хорошо.

Дальше было проще паренной репы. Андрей ведь знал Якова с незапамятных времён и разговаривать с ним умел.

– Сейчас перечитываю ваш «Диалог со Сверхчеловеком»...

Этого достаточно, теперь Яков возьмёт разговор в свои руки; нужно только не зевать и вставить своё в удобный момент.

– Ну и как? – прозвучал предсказуемый вопрос.

– Вы знаете, читается, как впервые... как впервые...

Степень лести в ответе Андрея показалась небожителю недостаточной, ему хотелось большей определённости.

– В каком смысле?

– В смысле свежести впечатления, – не промахнулся Андрей.

– Ну, не всё, не всё там равноценно... – поскромничал поэт. Скромность его, впрочем, никогда не была чрезмерной. – Но в принципе, да, нужно признать, книжка получилась, получилась... – сказал он угасающим голосом и замолк в ожидании дальнейших комплиментов.

– Ну, «получилась» – не то слово... – Андрей чесал как по-писанному.

– Да? Ну что ж, подберите другое... – милостиво и как бы равнодушно не то разрешил, не то предложил небожитель тем же слабым голосом.

– Ну, так сразу и не подберёшь, пожалуй... – Андрей сымитировал лёгкое замешательство. – Но то, что это явление в русской литературе, явление значительное, выходящее за рамки (чего? Андрей и сам не знал) – это несомненно, это сразу бросается в глаза...

– Да... – вяло сказал Яков после паузы, давая понять, что неудовлетворён некоторой скупостью, чтоб не сказать бедностью, андреева дифирамба.

«Ничего, перебьётся, – подумал Андрей не без лёгкого злорадства. – И вообще, хватит с него, пора переходить к делу.» Момент показался удобным, и он сказал:

– Я тут как раз сейчас говорил об этом с одним принстонским профессором...

– О чём, о моей книжке? – Вялость как рукой сняло, Яков даже не спросил фамилию профессора, прилагательного «принстонский» оказалось достаточно. Что было Андрею на руку: характерная фамилия Билла могла разочаровать щепетильного Яшу. Чья собственная фамилия звучала не менее характерно; правда, сам он так не считал.

– Ну, в частности, и о ней... – не моргнув, соврал Андрей. – Но и не только. О русской литературе в целом, о месте Поэта в литературном процессе. О его (Андрей не уточнил, Поэта или процесса) прошлом, настоящем и бу...

Слово «Поэт» Андрей употребил иносказательно, вроде как он говорит о художнике вообще, с большой буквы. При этом нисколько не сомневаясь, что Яков примет его на свой, и только на свой, счёт. Благодаря чему и заглотишь наживку.

Что же касается ключевого слова «будущее», Андрей не успел произнести его целиком. Тартаковский перебил:

– Ну и что? Ему понравилось?

К тому, что «в частности» заинтересует небожителя больше, чем «в целом», Андрей был готов. Теперь главное – удержать его интерес, сбросить минимум

информации.

– Ну что вы! – ответил он не совсем определённо. – Но знаете, Яков, не хотелось бы так, ну что ли, бегло, по телефону. Он говорил очень значительные вещи, системные, глубокие, а я сейчас говорю из таксофона, тут шум дикий... Так что, может быть, при встрече...

– Ну, в двух словах...

– В двух словах – невозможно. Да и не хотелось бы кратко о таком... – сказал Андрей самым убедительным и интригующим тоном, на какой был способен.

– Ну, не знаю... Ну, может, заскочите ко мне как-нибудь?

Это было только полдела. Теперь предстояло самое сложное.

– Когда вам удобно?

– Даже не знаю... Погодите минутку...

«Сейчас прикинется, что смотрит своё расписание. Нет, чтоб сразу сказать: после двадцать четвёртого». Двадцать четвёртое наступало ровно через две недели.

Действительно, в трубке послышался шелест бумаги, будто листали блокнот. Или то было шуршание конфетной обёртки? Небожитель любил сладкое.

– Я тут смотрю своё расписание, – сообщил он. – К сожалению, до двадцать четвёртого ничего, ни одного просвета... – Он издал сосательный звук и для пущей убедительности опять пошуршал конфетной бумажкой, вроде как ещё раз полистал расписание. – Да-а... Ничего. Позвоните мне числа после пятнадцатого, окэй?

– А может всё таки пораньше? А то я ведь забуду... В смысле – могу пропустить детали, нюансы какие-нибудь важные... – слабо пригрозил Андрей.

– Забудете нюансы? – насторожился Яков. – Ну, как это так... Нет уж, вы, пожалуйста... Знаете что? Вы сейчас где?

– Да здесь, по дороге в редакцию, недалеко от вас! – сказал Андрей и тут же понял, что поторопился, три последних слова были лишними.

– Ну вот, – с удовольствием продолжил Яков. – Придёте в редакцию – запишите, сразу же запишите всё, что ваш принстонский профессор сказал о моей книжке. Чтоб не забыть! – завершил он несложную комбинацию.

– Ладно, запишу... – ответил Андрей, мирясь с поражением.

Как бывшему боксёру, ему было досадно, что он пропустил такой простой удар. Но ведь от самого небожителя!

После разговора с Яковым Андрей окончательно решил не обсуждать вечные вопросы с земным Мунисом. А просто подождать, пока позвонит Билл. Он не сомневался, что Лейбман объявится, рано или поздно. Лучше бы, конечно, рано. Но и торопиться, в общем, некуда. А к тому времени, глядишь, и с Тартаковским удастся встретиться и поговорить. Если же Билл не позвонит, исчезнет – так тому и быть. Значит, его и не существовало никогда, а их знакомство и беседа у статуи сказочника Андрею приснились. Жалко, конечно, но что поделаешь. В конце концов, у Андрея есть его телефон. На всякий случай он ещё раз ощупал в кармане визитную карточку Билла.

Заметив затормозивший у остановки автобус, Андрей пробежался, легко вскочил в дверь и через семь минут был в редакции.

6.

В редакции, Андрей учуял нюхом главного редактора, происходило что-то

странное. То есть, видимо, произошло до его прихода – нечто если не странное, то необычное, незаурядное во всяком случае. У дам были почти праздничные лица. При появлении Андрея установилась тишина; до того, похоже, что-то бурно обсуждали. Присутствующие смотрели на своего главного во все глаза, в глазах же читалось почти благоговение.

«Вот она, слава... – пронеслось в голове. – Впрочем, откуда они узнали? Не мог же Билл...»

Андрей с достоинством поздоровался, не спеша прошёл к своему столу, сел. Похлопал по карманам, как бы в поисках сигарет – изобразил творческую рассеянность. (На самом деле сигареты всегда держал в одном и том же кармане и он помнил, в каком.) «Нашёл» пачку, закурил солидно, нетропливо.

– Андрей! – звонким голосом сказала секретарша Зоя. – Она заметно волновалась, как пионервожатая при вручении грамоты на общелагерной линейке. – Андрей!..

Чувствовалось, что ей сильно хочется употребить приличествовавшее случаю отчество. Но в США отчества не полагались, все обращались друг к другу демократично по именам, и Зоя, видать, отчество руководителя газеты напрочь забыла, если вообще знала. Донатову вдруг захотелось ответить ей солидным главноредакторским «слушаю вас». Но он сдержался.

– Да, Зоя, в чём дело?

– Та ничево особенново! – Не выдержал прозаичный Мунис, говоривший с неизлечимым украинским, точнее харьковским, акцентом. – Сейчас Яшка Тартаковский тебе звонил.

Вот тебе раз. Значит, пока ещё не слава, а только отблеск славы. Чужой...

– Какой он тебе Яшка? – крикнула Зоя совсем другим голосом, гораздо менее парадным.

– А кто ж он мне? А кто?! – дискантом возмутился Миша.

Андрею вспомнилось предсказание Билла насчёт будущего их газеты.

Конечно, какое-то право на возмущение Мунис имел. Он был однокашник Якова по Ленинградскому университету, который окончил с отличием. Тартаковского же отчислили после первого семестра за прогулы и академнеуспеваемость. Чего Зоя не знала. Естественно, в эмиграции однокашники не общались и не здоровались. Мише, конечно, было обидно, почему он и называл небожителя не иначе, как Яшка.

– Он вам Яков Петрович! – Отчеканила Зоя с ненавистью, после чего сжала втянутые губы и метнула в Муниса злой уничтожающий взгляд. От коего тот, по её замыслу, должен был как минимум перевернуться кверху ногами и отлететь к стене «А Яшкино-то отчество, небось, помнит...» – не без досады подумал Андрей.

– Давно звонил? – спросил Муниса.

– Та не, минут десять, может меньше.

«Ух ты! Перезвонил почти сразу. Здорово я его зацепил принстонским профессором. Ох, ещё ж придётся сочинять, что Лейбман сказал про его книжку...»

– Просил что-то передать? – Он говорил подчёркнуто спокойно, даже с паузами, уютно попыхивая сигаретой.

– Просил вас перезвонить тут же, как придёте, срочно! – Не выдержав, выкрикнула Зойка. – Срочно!

Андрей неспешно повернул голову в её сторону, глянул как бы невидящим

взглядом, подробно стряхнул пепел в баночку из-под бельгийского монпасье и лишь затем сказал негромко, с холодной вежливостью:

– Спасибо, Зоя Николаевна. Я перезвоню.

Всё же умел он работать с людьми! И опыт, приобретённый в Бюро пропаганды и прочих советских учреждениях не пропал зря, хоть на что-то да сгодился.

Он перезвонил Якову далеко не сразу, выждал минут пятнадцать-двадцать, а то и больше. Как и ожидал Андрей, Тартаковский совсем уж увядшим, почти без признаков жизни голосом известил, что давно запланированная на сегодняшний вечер важная встреча внезапно отменилась, и Андрей может зайти на часок, прямо из редакции, если ему удобно. Желательно не позже шести.

Андрей по дороге купил упаковку «Стеллы Артуа» – небожитель любил хорошее пиво. Вина он, как и Андрей, в Америке не употреблял.

Квартал, где жил Яков, считался богемным и выглядел далеко не так живописно, как северная часть Пятой авеню. Здесь жили, в основном, студенты и творческая молодёжь. У тротуара, втиснутый между прочими машинами, стоял BMW Якова. О такой тачке небожитель грезил ещё в России. Но там это было не более, чем грёзы. А здесь – сбылось. Один известный и влиятельный американец подарил авто Якову, чего последний не скрывал. Наоборот, всем рассказывал про подарок, убивая двух зайцев: давал знать о своей близости к американскому истеблишменту и мотивировал тот факт, что ездит на подержанном автомобиле.

– Привет, Андрэ! – сказал Яков, открыв дверь. «Андрэ» означало, что он в сравнительно неплохом настроении и рад его приходу. Вообще, телефонный Яков и Яков домашний были разными людьми. Дома он оказывался тем Яшей, которого друзья и знакомые знали по Питеру, когда он ещё не был знаменит, а образ небожителя лишь формировался. И потому Андрей любил бывать у Тартаковского. У них ведь, в конце концов, много общего, у двух бывших питерских изгоев.

И Яков любил редкие визиты Андрея. Особенно, когда уставал от своего вожделенного творческого одиночества. Донатов был одним из немногих, с кем небожитель мог беседовать на равных (ну, почти на равных), причём по-русски, заодно практикуясь, чтоб совсем уж не забыть родной разговорный язык.

Съёмная квартира Якова состояла из прихожей, она же кухня, небольшой комнаты-кабинета и спальни размером чуть пошире кровати. Стены были по нью-йоркской моде покрашены прямо по голому кирпичу. Что выглядело довольно убого, но в Америке, где эстетика давно уже потерпела сокрушительное поражение в борьбе с экономикой, этого никто не замечал.

Яков хозяйства не вёл, в холодильнике держал только пиво и водку; иногда подруги поэта приносили кое-что из еды, сам же он никогда ничего съестного не покупал – из принципа. Ибо негоже небожителю шастать по продуктовым лавкам. Да и лень. Питался в кафе и китайских рестораниках.

Дома же варил только кофе. Но какой! Не чета лейбмановскому, в картонных стаканах. Андрей всякий раз дивился – неужели возможно изготовить такой кофе в Америке? Яков всей своей жизнью доказывал, что возможно. Он покупал сырые оливкового цвета зёрна у турка в Чайна тауне, сам жарил их в духовке на противне, смазанном сливочным маслом, периодически перемешивая деревянной лопаткой; молот в ручной мельнице непосредственно перед приготовлением.

– Я сейчас сварю кофе, а вы пока можете посидеть в палисадничке. Там уже

кое-что распустилось.— Яков не любил, когда во время приготовления кофе его отвлекали разговорами. Или даже просто присутствовали.

Палисадником назывался маленький садик во дворе, куда можно было попасть прямо из кухни. На дне двора-колодца, почти такого же, как ленинградские, имелось несколько метров земли, росло дерево и два-три кустика. Гости поэта дарили ему цветы в горшках, которые потом высаживали в палисаднике; некоторые из них приживались и цвели ежегодно. Самыми живучими, как ни странно, оказались нежные, изысканные гиацинты. Крошечные кустики с розовыми, фиолетовыми и жемчужными колокольцами, точно такие, как в Питере, где их, особенно в начале марта, под праздник, продавали всюду: в цветочных магазинах, на рынках, у станций метро. Там это был первый признак весны – дуновение юга, аромат далёких стран посреди зимы. Второй характерный аромат ленинградской весны появлялся позже, в мае, когда шла рыба корюшка. Ею торговали с лотков по всему городу, в воздухе стоял запах свежих огурцов – ни одна рыба в мире не пахла так свежо и необычно. И что бы ни делали с невской водой, какую бы дрянь не сливали в неё – корюшка держалась до последнего, и, обваленная в муке и зажаренная в подсолнечном масле, оставалась вкуснейшей рыбой на земле.

Андрей втянул носом воздух в надежде почувствовать запах гиацинтов. Похоже, американская версия, как всё в этой стране, ограничивалась лишь внешним сходством с оригиналом. Но нет, наклонившись к цветку поближе, он уловил знакомый аромат.

– Питер вспоминете? – спросил пронизательный Яков. – Странно, что гиацинты здесь абсолютно такие же, да? И даже пахнут.

Он принёс кофе в двух тяжелых разномастных чашках, одинаковых не имелось. Нашлись зато два одинаковых стакана для пива. И открывалка.

– Ну, что ваш принстонский профессор? – спросил Яков, расставляя посуду на столе. В садике имелся белый пластиковый столик и такие же стулья. Яков спросил без особого интереса; спросил и ушёл в дом, за пивом.

Что и понятно – зачем ему профессор? Он про свои стихи и сам всё знал, лучше всякого профессора. Андрей почувствовал облегчение и, когда Яков вернулся, сказал просто, без фокусов:

– Знаете, очень занятный дядька. Специалист по текстологии. Нашу литературу знает как свои пять. Но вообще-то он футуролог.

– Здорово. Ну и что же он вам рассказал про наше с вами будущее? – сказал Яков, прикуривая сигарету.

Удивительно, как быстро и точно Яков схватывал суть во всём, что касалось метафизики. Да, это вам не Миша Мунис с красным дипломом ЛГУ...

– Ну-у... Много всего.

– Например?

– Ну, у него масса информации... – Андрей не знал, с чего начать, как подобраться к тому, ради чего пришёл. – Он вообще-то солидный учёный, у него лаборатория, компьютер...

– Один?

– Что – один? – не понял Андрей.

– Компьютер.

– А-а... Ну, не знаю, может больше. Какая разница?

– Разница большая. Ну неважно, продолжайте.

Однако скепсис Якова отбил у Андрея всякую охоту рассказывать тому про Билла. Он обиженно замолчал, а чтоб оправдать молчание сделал вид, что смакует кофе.

– Ну, могу себе представить, могу себе представить... – не унимался Яков. На самом деле он не ёрничал, а таким парадоксальным способом пытался заставить Андрея продолжать.

– Отличный кофе! – Андрей слегка почмокал губами.

– Да-а... – протянул Яков, не обращая внимание на комплимент. – Если бы можно было предвидеть, хотя бы лет на пятьдесят... Но вряд ли. Нам не дано предугадать...

– Знаете, целый день преследует эта строка! – оживился Андрей. – Главное, не могу вспомнить, как там дальше...

– Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется... – произнес Яков нараспев.

– Да это-то я помню! А вот дальше, следующие две строки...

– Нет, не дано... – проговорил небожитель медленно, после паузы, глядя в небо и безошибочно стряхивая пепел в громадную пепельницу Hotel Marriott.

Он не удостоил вниманием скрытый вопрос Андрея. Таким образом давая понять, что уж что-то, но эти-то строчки не знать человеку, считающему себя литератором, не подобает. Сам-то он, несомненно, помнил всего Тютчева, да и вообще все стихи, когда-либо сочиненные на Земле. Андрей устыдился и расстроился, что вот, опять ускользнули от него две забытые строки.

– Не дано. А жаль... – продолжал Яков. – Каждый из нас, вероятно, многое изменил бы в собственной жизни, если б знал, что впереди... Как там говорят эти дамы у Чехова?

Что говорят «дамы» в финале пьесы «Три сестры» Яков помнил дословно, но прикинулся, что позабыл. Чехова он не жаловал, как и Пастернака, однако знал досконально. Как и Пастернака.

«Жалко, Билл его не слышит. Надо будет их познакомить.» – подумал Андрей и сказал:

– Вот как раз этим он и занимается.

– Чем?

– Изменением будущего. С помощью причинно-следственных связей. Он называет это проектированием будущего. Если заранее известен результат...

– То можно попытаться его изменить? Так? Ну что ж... Бог ему в помощь...

– Вы считаете, это не имеет смысла?

– Почему же? Было бы желание... И потом, что на что менять.

– Ну-у... Предположим, перед вами альтернатива, – решил Андрей, – альтернатива такого рода: умереть раньше срока, после чего стать знаменитым на родине, в России. Ну, в том смысле, что вас издадут, будут читать и т.п. Или же – жить долго, но умереть в безвестности. Или почти в безвестности.

– Альтернатива? Господи, вы же писатель, Андрей! Вы что же, всерьез думаете, что жить долго и умереть в безвестности лучше, чем умереть на пару тысяч дней раньше и стать всемирно знаменитым?

– Ну вы же сами говорили, что слава преходяща, что это миф...

– Мало ли каких глупостей я наговорил в молодости!

– И потом, речь не идёт о всемирной славе. Только на родине, – сказал Андрей, чтоб быть до конца честным.

– Само собой, на родине. Где ещё мы кому-нибудь нужны? С нашим-то языком и менталитетом. – Небожитель прикурил следующую сигарету от предыдущей, выпустил облако дыма.

– А слава... она, конечно, миф, кто спорит. Как и многое другое... как сама жизнь, в конце концов. Да только без этого мифа – кто станет вас читать? Никто. И издавать тоже, – заключил Яков, ввинчивая в пепельницу недокуренную сигарету. – Хотите ещё кофе? Там остался. – Не дожидаясь ответа, он ушёл в дом.

Вот уже второй раз за один день Андрея назвали писателем. И какие люди! Что было приятно. С другой стороны, вердикт Якова выглядел неопровержимо. Что вызывало грусть.

Солнце тем временем почти село, в замкнутом пространстве двора стало заметно темней. Окружающие дома частично ограждали дворик от круглосуточного грохота нижнего Манхэттена, адской смеси из лязга грузовых фургонов, скрежета тормозов, визга сирен, гомона толпы и назойливого рока из бесчисленных кафешек.

Яков вернулся с кофе и заговорил, как бы продолжая разговор с самим собой. Он делился наболевшим; собеседник же был нужен, чтоб произнести вслух бесспорные для него вещи.

– Серьезная литература, Андрэ, вообще уходит из обихода человечества. Помните, когда-то в Союзе поэты собирали стадионы? Даже весьма посредственные поэты, между прочим, вроде этого, как его... Забыл фамилию. Ладно, неважно. История в том, что время стадионной поэзии давно кончилось и вряд ли вернётся. Миллионные аудитории на поэтических вечерах, многотысячные тиражи поэтических книжек – это всё в прошлом, ушло безвозвратно. Может, это и хорошо, не знаю. Паршиво то, что поэзия, сама по себе, перестаёт быть нужна. Вообще, исчезает, так сказать, с лица земли. В будущем мире купли-продажи ей нет места. Останется жалкое её подобие в виде подтекстовок ко всему этому барабанно-гитарному грохоту.

– Но это же... ужасно... – Менее банального слова не нашлось, а Яков, Андрей вдруг почувствовал, ждал его реакции. Может быть, даже и возражений. Но что тут возразишь... – Зачем же тогда мы пишем?

– А чёрт его знает. Я бы давно бросил, если б смог. Вы бы смогли?

– Нет.

– Вот-вот. Мы ихтиозавры уходящей эпохи и, пока не вмёрзли в грунт, будем писать и хотеть, чтоб нас читали. А для этого нужно, чтоб наши имена торчали в газетах, рожи – на экранах и обложках, книги – в витринах.

– Ну, тогда нужно срочно переквалифицироваться. Начать сочинять детективы или бульварные романы, – заметил Андрей не без иронии.

– Попробуйте. По крайней мере, обогатитесь. – Яков разлил пиво по стаканам; он до последнего сопротивлялся дебильному местному обычаю сосать пиво прямо из бутылки.

– А как же... Ну, такие вещи, как... например, литературный процесс? Ну и вообще, творчество там, искусство...

– Я и говорю про процесс. Процесс неостановимого распада той культуры, к которой мы с вами имеем несчастье принадлежать, – произнес Яков с горькой

иронией и поставил пустую бутылку под столик. – Касательно же искусства, творчества... Потребители, сами знаете, чтут знаменитостей вовсе не за достижения в литературе и искусстве. Они же ни хрена не смыслят ни в том, ни в другом. Потребители почитают знаменитостей только за то, что они знаменитости. – Он поднял стакан с пивом. – Так что, Андрей, за вашу грядущую славу!

Они чокнулись и выпили. После чего поэт закурил.

– У посмертной славы только один недостаток, – он усмехнулся. – Знаете, какой? Когда она приходит, дамы, с которыми вы когда-либо имели дело, начинают на каждом перекрестке триндеть, что все их внебрачные дети – от вас. Именно от вас, ни от кого другого. – Яков печально вздохнул. – И хорошо ещё, если только триндеть...

– Как так? – встревожился Андрей. – Почему от меня?

– Ну хотя бы потому, – снисходительно пояснил Яков, – что вы уже не будете в состоянии что-либо опровергнуть.

Он говорил со знанием дела. Как видно, негативная сторона посмертной славы открылась ему уже при жизни.

Некоторое время сидели молча. Смотрели, как воцаряется ночь, появляются первые звёзды. Андрей ретроспективно пытался прикинуть, чем ему может грозить мировая слава в смысле, упомянутом Яковым. Вероятно, и Яков погрузился в воспоминания, перебирал возможные варианты. Потом сказал:

– Для апреля довольно рано темнеет. В Питере об эту пору солнце садится не раньше девяти.

– Пожалуй, что и в десять, – преувеличил Андрей под влиянием ностальгии.

– Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный... – пропел вдруг Яков. Который вообще-то и Пушкина, как бы сказать... не слишком переоценивал.

– Когда я в комнате своей пишу, читаю без лампы... – подхватил Андрей. Конечно, он знал и следующую строку, но великодушно уступил её Якову. Тот тоже знал, но не воспользовался.

– Да, сэкономил поэт на свечках, – вдруг сострил беззлобно.

Андрею острота показалась неудачной. Но он понимал, что Яков нарочно снижает тон, уходит от патетики. Он терпеть не мог патетики в чем бы то ни было. Кроме как в собственных стихах.

– Интересно, корюшка уже пошла? – поинтересовался Яков.

– Да нет, рановато. Пойдёт в мае. Если она там ещё есть.

– Наверняка есть. Корюшка на редкость живучая рыба.

– А может, на Неве ещё и лёд не пошёл.

– Вполне возможно. Вы, конечно, не в курсе?

– Нет, к сожалению... – виновато признался Андрей.

– Когда буду звонить своим, спрошу.

У Якова в Ленинграде остались родители. Он сильно переживал из-за этого, хотя не показывал. Звонил им регулярно два раза в месяц, иногда чаще. Делал всё возможное, чтоб советские власти разрешили старикам приехать к нему в США, пусть даже не насовсем. Конечно, безуспешно. Самому же Якову, как и Андрею, как и всем тогдашним эмигрантам, предателям и изменникам родины, дороги на родину не было. В те времена уезжавший из СССР на постоянное жительство за рубеж уезжал более, чем на постоянно – навсегда.

Оба снова замолчали. Яков курил. Андрей догадывался, о чём он думает, не хотел перебивать. Но вдруг сказал:

– А знаете, Яков, ведь СССР скоро не будет!

– Что? – спросил Яков. – Что-что?

– СССР, говорю... того...

– Как – не будет? Что значит – не будет? А куда же он денется?

– Распадётся.

– Кто вам сказал?

– Билл.

– Какой ещё Билл?

– Лейбман.

– Из Одессы?

– Почему из Одессы?

– Откуда же ещё? – Яков, по-видимому, был уверен, что люди с такой фамилией сохранились только в этом городе.

– Из Принстона, – скромно сказал Андрей.

– Ах, из Принстона... – произнёс Яков так, словно считал Принстон вторым после Одессы местом на земле, где ещё встречаются Лейбманы. – Погодите, так это что, ваш футуролог?

– Ну да. Уильям Готфрид Лейбман, – уточнил Андрей, чтоб Яков не думал, что Билл совсем уж такой... одессит. А может даже совсем наоборот.

– Уильям Готфрид? Знакомое сочетание... Ладно, неважно. Так что он говорит? Распадётся? – Яков заходил по садику. – Ага, ага... Рухнет, стало быть, уродливый коллосс на глиняных ногах, распадётся!.. – Андрей никогда не видел небожителя таким взволнованным. Яков взял новую сигарету и прикурил её от предыдущей.

«Да, экономит поэт на спичках...» – отомстил Андрей за Пушкина. Конечно, не вслух.

– И когда же? Как скоро? – спросил Яков с неприкрытым нетерпением.

– Он говорит, скоро. Агония начнётся во второй половине восьмидесятых, но они назовут это более оптимистично.

– Как же? – с неподдельным интересом осведомился Яков.

– Не знаю, – растерялся Андрей. – Я не спросил.

– Зря, зря не спросили! – Яков был в восторге. – Полагаю, что-то типа «модернизация». «Модернизированный социализм». Помните, как чехи придумали в шестьдесят восьмом: «Социализм с человеческим лицом»! остроумно, да?

Он засмеялся. Андрей тоже. Это действительно звучало смешно.

– С человеческим... – повторял Яков сквозь смех – с чело-веческим... А до того был... с нечеловеческим...

Отсмеявшись, сказал:

– Нет, представляете, если действительно рухнет? Ещё при нашей с вами жизни... Да, хотелось бы, конечно, дожить..

– Доживём, куда денемся, – обнадёжил Андрей.

К тому времени окончательно стемнело. Ночное небо над Нью-Йорком, впрочем, никогда не бывало абсолютно темным. Но звёзды всё же были видны. В нескольких окнах, выходящих во двор, зажёгся свет.

– Да, чуть не забыл, – небрежно сказал Андрей. – Он ещё предрёк очередной

расцвет русской литературы. Новый золотой век. Или серебрянный...

– Да ну? – встрепенулся Яков. – Прямо таки расцвет? Надолго?

– Не очень. Года на три.

– Ну, по нынешним временам – вполне... вполне... – Яков говорил без тени иронии; видимо, ему хотелось верить в предсказания Билла, так же, как Андрею и самому Биллу. – Да, было бы клёво дожить, узнать, как всё произойдёт, во всех подробностях, в деталях...

– Ну, это можно устроить, – сказал Андрей баритоном, по возможности низким.

– В каком смысле? – не понял Яков.

– Билл знает подробности.

– Что, действительно?

– Так он говорит.

– И что, можно...

– Без проблем. Я собираюсь в Принстон на следующей неделе, он хочет показать мне свою лабораторию. – Андрей не стал упоминать про досье. – Так что, если хотите...

– Ну, он ведь меня не приглашал...

– Тоже не проблема. Хотите, чтоб он позвонил и пригласил вас лично? – Андрей несколько блефовал, но был спокоен, так как предвидел реакцию Якова. И не ошибся.

– Ну нет, зачем это. Зачем, то есть, ему беспокоиться. Лучше через вас.

– Хорошо, я с ним договорюсь и дам вам знать.

– Но только, пожалуйста, не раньше двадцать четвёртого. Или даже двадцать пятого.

Яков уже считал от завтрашнего дня.

День же сегодняшний, длинный, полный событий, подходил к концу. Как и любой другой день. Потихоньку перетекал из настоящего в прошлое. В стремлении продлить его засиделись допоздна. Обсудили всех возможных кандидатов на участие в очередном расцвете русской литературы, как в поэзии, так и в прозе. Андрей предложил список Лейбмана, Яков сильно его откорректировал. Шесть пустых бутылок из под «Стеллы Артуа» стояли под столом. Яков ещё раз варил кофе. Наконец, Андрей засобиравшись, чтоб успеть на метро. Можно, конечно, взять такси, но не стоит наносить удар по семейному бюджету. От нижнего Манхэттена до Бронкса было не намного дальше, чем от Литейного до Петроградской, но раз в десять дороже. В силу чего обычные в Ленинграде посиделки далеко за полночь здесь были недоступны.

Расставаться не хотелось, Яков даже предложил Андрею переночевать на раскладушке в «большой» комнате – всё равно ведь завтра (уже сегодня) утром ехать в Манхэттен на работу. Но Андрей отказался, так как знал, что приступы одиночества Яков переносил всё же гораздо легче, чем гостей с ночёвкой.

7.

На улице, несмотря на ночное время, былолюдно; однако машин стало гораздо меньше. Шагая по направлению к станции сабвея, Андрей, в который раз, ругал себя за несдержанность. Чёрт его дернул ляпнуть насчёт поездки в Принстон! Кто его за язык тянул? Захотелось похвастать близким знакомством с принстонским

профессором? Или показалось, что поездка в мифическую футурологическую лабораторию в сопровождении мировой знаменитости, потенциального нобелевского лауреата, будет выглядеть не так смешно? Нет, просто решил разыграть из себя такого доку, Вергилия по будущему, благо, Данте оказался под рукой. Фанфарон несчастный! И что теперь? Кто знает, как Билл относится к Тартаковскому? И к чему вообще мне эта обременительная роль посредника между Биллом и капризным поэтом? (Врагу не пожелаю быть посредником между Яшкой и кем бы то ни было из живущих на земле.)

Не говоря уже, что при Якове и думать нечего о том, чтоб углубиться в изучение своего досье... Оставалось надеяться, что интерес Якова к будущему иссякнет так же быстро, как иссякал всякий интерес поэта к чему-либо, не касающемуся поэзии вообще и его самого в частности. Андрей успокоился на том, что дня через два Яков, скорее всего, забудет и о Билле, и о будущем, и о грядущем расцвете русской литературы. Даже несмотря на то, что уже отвёл себе в нём ведущую роль.

Нет, всё же хотелось бы узнать про этот чёртов расцвет, состоится он или нет. Если знать наверняка, что да, можно было бы сейчас не экономить, позволить себе такси... Авансом, так сказать. Он инстинктивно оглянулся и заметил в конце улицы жёлтый кэб. Машина двигалась медленно, в том же направлении, что и Андрей. Он решил загадать: если такси догонит его прежде, чем он дойдёт до метро – значит, будет расцвет русской литературы, можно брать тачку. Пошёл медленнее. Шёл и оглядывался. Такси шло на него неумолимо, как судьба. Как будущее. В конце концов он не выдержал и проголосовал.

Кэб остановился; Андрей, по домашней привычке, хотел было сесть на переднее сидение, рядом с водителем. Но вспомнил, что в Америке так не делают, и сел сзади. Водитель спросил, куда ехать, Андрей сказал адрес. Водитель, насколько можно было видеть его лицо в зеркале, в России вполне сошёл бы за своего: светлые волосы и глаза, слегка курносый нос. В Америке же человек с таким лицом мог оказаться и англосаксом, и скандинавом, и даже немцем. Северные племена...

Ехали молча; у американских таксистов не принято заговаривать с пассажирами. Андрей зевнул и вернулся к приятным мыслям о только что косвенно, с помощью такси, подтвердившемся предсказании Билла насчёт расцвета русской литературы. Но тут же вспомнились рассуждения Якова насчёт славы и всего, что с этим связано, настроение испортилось. Ладно, встретимся с Биллом, там видно будет... Думать ни о чём не хотелось, клонило в сон. День получился утомительный, плюс время позднее, плюс пиво...

Кэб остановился на светофоре, уличный фонарь осветил переднее стекло и табличку с именем водителя. «Николас Звайэджин» – прочёл Андрей сквозь полуприкрытые веки. «Что за фамилия такая интересная. Что-то вроде монгольское? На монгола, вообще-то, не похож. Разве бывают курносые монголы? Или уже вывелись? И стали шоферить в Нью-Йорке... Сумасшедший мир, всё перемешалось... Звайэджин... Может, грек? Нет, где ты видел белокрысых греков? – лениво думалось сквозь дрему. – И тогда он был бы Звайэджинис какой-нибудь... Николас... Николас или Николай? Коля-Коля-Николай...» Как вдруг английские буквы в его сознании – или в подсознании? – превратились в русские и всплыло простое и близкое: «Николай Звягин».

В принципе, тут не было ничего необычного. Таксист из бывших советских в Нью-Йорке не редкость. Но, как правило, это типичные эмигранты третьей волны, то

есть представители того самого третьего сорта. Почему и покидают родину. Представителей титульной, так сказать, нации, среди нью-йоркских таксистов Андрей ещё не встречал. Правда, он не так часто пользуется такси. Но зато знает, как оболваненное пропагандой коренное население России, и не только оно, относится к эмигрантам и к самой идее эмиграции. «Измена родине» – это ещё далеко не самое оскорбительное. Проклятия, ругань, весь прочий отечественный джентельменский набор в адрес «продажных отщепенцев» в те времена был популярен среди очень даже широких слоёв. Кто тогда, в восьмидесятых годах XX века, мог знать, что, например, уже в начале века XXI вице-мэром израильского городка религиозных евреев Бней-Цион станет человек по имени Вадим Кирпичёв? Причём фамилия Кирпичёв достанется ему не от какой-нибудь русской жены, а от совершенно первосортных родных отца и матери.

Пока стояли на светофоре, водитель покрутил приёмник, нашел какое-то кантри типа Пит Сигер и спросил вежливо: «Don't you mind?».

– Да что вы, ради Бога, – ответил Андрей.

Таксист глянул на него в зеркало.

– Так вы наш? Никогда бы не подумал.

То был комплимент, двойной: английскому произношению Андрея и его внешнему виду.

– Спасибо, – чуть не сказал Андрей. Но воздержался, заменил на другое: – Я про вас тоже, – решил сделать приятное Николаю, в ответ.

Но тот оказался сложнее.

– Да ну, бросьте, – ответил. – Какой я, на хрен, американец. С моей-то пачкой. Потомственный питерский таксер Коля Звягин.

«Взять у него, что ли, интервью?» – подумал главный редактор. Вообще-то это соответствовало тематике их газеты, интервью с новым русским эмигрантом, но очень уж банально – разговор с таксистом, затасканный фельетонный приём, сколько их уже было, ещё в совке, несуществующих «простых парней», излагающих мысли автора фельетона неестественно корявым, якобы простонародным языком...

– Ну, теперь вот нью-йоркский. Вырвался... Но, в принципе, тот же Коля, за той же баранкой.

Было неясно, доволен он переменами в судьбе или нет.

– Как же вам... удалось? – осторожно спросил Андрей. Не смог побороть профессиональное любопытство.

– Чего, вырваться? Долго рассказывать. Факт тот, что если хочешь вырваться – вырвешься. Если приспичит.

– Что, действительно приспичило?

Николай ответил после паузы, видно соображал, стоит ли говорить. Но всё таки сказал, не выдержал.

– Да надоело это... как назвать, не знаю... холуйство, что-ли, всеобщее. Ну, мухлёрж со счётчиком, ну приписки – ладно. Нельзя в России без воровства, что подделаешь. Но когда ворюга этот начальственный ещё хочет, чтоб я его уважал... Вот что нестерпимо-то. Знает же, что он ворюга, и знает, что я знаю, сам меня подбивал... Но уважения, понимаешь, жаждет. Чтоб у меня в глазах к нему почтение светилось, иначе он себя человеком не ощущает.

Снова остановились на светофоре. Водитель замолчал на время стоянки. Но

когда двинулись, продолжил о наболевшем:

– А если он у меня в глазах что-то другое, не дай Бог, углядит – пиши пропало, сживёт со свету. А он углядит, обязательно. Ворюги на такие вещи очень чувствительны.

Андрей его хорошо понимал. И сочувствовал. То, о чём говорил Николай, из-за чего, вероятно, потерпел на родине, было чувством собственного достоинства. Соотечественники, им обладающие, выживали там с трудом. Многие не выживали. Другим повезло покинуть родину, хорошо, если без особых потерь. В силу чего людей с чувством собственного достоинства оставалось в этой стране всё меньше и меньше. В чём, может, и была причина всех тамошних бед, прошлых и будущих.

Что в России? Да всё то ж,
Воровство и холуёж...

– вспомнились слова классика.

– Но здесь-то как, получше? – спросил.

– Вроде ничего, не голодаем. Ну, в Питер да, тянет. Ну и родичи там, мать. А так – нормально здесь. Живём-то в Квинсе, там своих кругом полно, магазины наши, кабаки. Газета вот русская стала выходить, новая.

Андрей замер.

– Ну и как, – не удержался, – приличная газета?

– Вполне. Не какая-нибудь тебе «Ленинградская правда» продажная. И страниц намного больше, есть что читать.

«Вот он, глас народа, – сказал себе Андрей. – Чёрт возьми!» Других слов не нашлось.

– Там и редактор у них наш парень, питерский, моя жена когда на козулинском заводе в ОТК работала, он у них там многотиражкой руководил. Может слышали, такой Андрей Долматов. То есть, вру, Дол... Дов... Донатов, вот как! Донатов, Андрей Донатов. Здорово пишет, молодец! Жена его всегда читает.

«А вы?» – ужасно захотелось спросить. Но Андрей не спросил.

– Ну и я, само собой – добавил Николай.

«Везёт мне сегодня на экстрасенсов!.. Ну, вот тебе и слава, почти на родине, – поздравил себя Андрей не без сарказма. – Подлинная народная слава.»

Сарказм сарказмом, а всё же было приятно. Здорово приятно. До того, что даже левый глаз как-то... ну, что ли, увлажнился, или показалось?

Андрею, конечно, хотелось назвать себя, поблагодарить за хорошие слова. Но он не был уверен, нужно ли это делать. Что-то останавливало. Пока он колебался, доехали до места. Расплачиваясь, Андрей наткнулся на свою редакторскую визитную карточку в бумажнике. Вручить её Николаю? Да нет, не стоит. Зачем?

8.

Дома было темно, жена и дочь спали, им завтра рано на работу и в школу. В комнате мамы горел ночник, светилась щель под дверью. Андрей, конечно, позвонил от Якова, предупредил, что вернётся поздно, но она всё равно не спала, по многолетней привычке не могла заснуть до его прихода. Он прошёл на кухню, повесил пиджак на спинку стула. Кухня у них большая, не то, что в малогабаритных

«хрущёвках» – помещался нормальный обеденный стол со стульями, ещё кое-какая мебель. Свет уличного фонаря, прикрепленного к стене дома, проникал через окно, можно было не зажигать лампу.

...Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И видны спящие громады
Пустынных улиц...

Вместо спящих громад за окном простирались однообразные кварталы домишек Бронкса, в основном двухэтажных, хайвэй в некотором отдалении, с без конца бегущими по нему автомобилями. Нет, хорошо, что у них квартира в верхнем этаже, отсюда прекрасный обзор, в ясную погоду даже можно разглядеть полоску Лонггайлэндского залива на горизонте. Он же всегда хотел жить у моря – вот, пожалуйста.

И всё же, несмотря на все эти плюсы, иногда, ближе к ночи, не давала покоя мысль, что он, скорее всего, никогда не сможет вернуться в Ленинград и, например, свернуть с Невского на улицу Бродского (не опального поэта, а, наоборот, придворного художника), пройти по ней мимо филармонии справа и «Европейской» слева к площади Искусств, памятнику Пушкину перед Русским музеем... Разве только если сбудется предсказание Билла о распаде. И то неизвестно, никогда не знаешь, что чем может там обернуться.

Приступы ностальгии, впрочем, длились недолго. Обычно прекращались с первым утренним выпуском новостей. В них почти всегда содержалось что-либо скандальное насчёт родной страны. То войска куда-нибудь введут, то самолёт чужой подобьют. То кого-нибудь посадят, то вышлют, то наоборот, не выпустят. Никак не получается у них без агрессии, ни снаружи, ни внутри...

Андрей услышал лёгкий скрип двери. «Сейчас мама зайвится. Скажет, что забыла воду для лекарства.»

Мама вошла, стараясь ступать тихо, включила маленький свет.

– Ой, Андрюша, ты здесь? Извини, я не знала. Уже вернулся?

Сыгранно было очень правдиво, всё-таки не зря какое-то время проработала в ленинградском Государственном Академическом Большом театре кукол. Слышала, как он вошёл, а теперь хотела удостовериться, что великовозрастный сын вернулся цел и невредим. Никак не могла избавиться от советской привычки, хотя пыталась.

– Забыла воду... Ложись, долго не сиди, тебе же завтра на работу. Свет погасить?

– Не надо, я сам. Спасибо. – Он определенно чему-то научился у Билла за сегодняшний день.

Дождался, пока мать дойдёт до своей комнаты, погасил свет. После чего вдруг произнёс вслух, но тихо:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Все четыре строчки, подряд.

«Вспомнил, наконец-то. Ладно, мать права, действительно, пора спать. Завтра позвоню Биллу. Или, может, он сам позвонит... Хорошо бы!»

И в этот момент раздался телефонный звонок.

«Неужели Билл? Но почему так поздно? Не может же он читать мои мысли на таком расстоянии! Хотя, Билл... И вообще-то до Нью-Джерси отсюда не так уж далеко...»

Он поспешил к телефону, чтоб звонки не разбудили жену и дочь, снял трубку.

9.

Однако звонки продолжались. До тех пор, пока он не проснулся и не понял, что звонит не телефон, а красный вывезенный из Ленинграда будильник. Андрей задремал, так и не отключив его.

Он нажал кнопку и теперь уже проснулся совсем, окончательно. В ужасе глянул на циферблат. Будильник показывал 6:30, обычное время пробудки. Вздыхнул с облегчением, встряхнулся. Вспомнил сон, который ему сейчас снился. И осознал, что впервые в жизни помнит собственный сон – как весь сюжет, так и детали, включая мелкие.

Это было замечательно! Не говоря уже о том, что из такого сна можно сделать отличный рассказ. Вывести, говоря словами Билла, подсознание на уровень текста. «То-то он обрадуется!» – мелькнула мысль. Но тут же сообразил, что никакого Билла в природе не существует. Только во сне. Стало грустно.

Андрей сел на кровати, нащупал ногами тапочки. Прислушался; в ванной шелестел душ, там находилась дочь Лена. «Жизнь продолжается, – подумал писатель и журналист. – А Билл – ну что ж. Будет теперь существовать в реальности литературной. Как архетип. Что тоже неплохо.»

Зато другие персонажи сна существовали в реальности настоящей.

Яков – давно, кстати, не звонил ему, надо бы позвонить, узнать, что там насчёт приезда его родителей; хорошо вчера посидели – правда, во сне, жаль.

Таксист из Питера, Николай Звягин – мало ли, чем чёрт не шутит, а вдруг и он не только продукт подсознания. Надо будет посмотреть в базе данных – теперь он знал, что именно так называется список подписчиков газеты с адресами.

Ну и Миша Мунис, другие сотрудники их газеты, метранпаж, наборщица, та же Зоя. Которая, между прочим, знает наизусть многие стихи Якова и имеет все его книги, некоторые даже с автографом.

Подошел к небольшому письменному столу, стоявшему тут же, в спальне, открыл ежедневник на сегодняшней странице, записал: «Позв. Я.», «Найти в базе N. Zvyagin».

Зазвонил телефон. Точно телефон, не будильник. Андрей снял трубку и, хоть знал наверняка, что это не может быть Билл, и уж точно не Яков, на всякий случай сказал по-английски:

– Hallo.

И услышал:

– Алё! Алё, Андрей, это ты? Говорит Мунис.

– Я, я. Привет, старик.

– Физкультпривет! Ну шо слышно?

Начинался еще один день американской жизни неизвестного на родине русского писателя Андрея Донатова.

Июнь-август 2013

Притча о виолончелисте Хамовиче.

На самом деле фамилия у него была не совсем такая. С прозвищем совпадали только две буквы и количество слогов. Такое прозвище – Хамович – дал ему известный скрипач и остроумный человек, который иногда играл с ним в ансамбле. Оно было дано не случайно – Хамович отличался редким хамством. Хамил и грубил он, фактически, всем. Вероятно, были исключения, но ни я, ни кто-либо из моих знакомых при этом не присутствовал. Хамил без разбора – и старшим, по возрасту и по званию, и, само собой, младшим. В учреждениях, в учебном классе (как ни странно, он преподавал) и на репетициях. Особенно любил безобразничать на репетициях с оркестром в качестве солиста. Понимая, что если назначенно с десяти до двух, зал записан и все уже пришли, то никуда не денутся, будут терпеть, и оркестранты, и дирижёр, и другие солисты. Например, скрипач и пианист в тройном Бетховена. Выступать-то надо, играть будем вместе, куда денемся. Вместе правда, получалось не всегда, так как для этого надо было одновременно вступать. Тут у Хамовича часто не ладилось. Потому в такие моменты интенсивность хамства значительно повышалась.

Не надо думать, что Хамович хамил только товарищам по профессии. Нет. Он как раз был демократичен и ровен в отношениях с людьми – одинаково по-хамски разговаривал со всеми. Как я уже сказал, независимо от чина и положения. Не знаю, осмелился бы он вести себя так где-нибудь в высших сферах, например в ЦК партии. Думаю, он и сам не знал этого, так как его туда никогда не вызывали. Возможно, интуитивно не хотели связываться.

И что интересно – хамство Хамовича совершенно не мешало его карьере! Это было удивительно, необъяснимо. У многих не укладывалось в мозгу: физиономия малопривлекательная – далеко не красавец, выражение злое; голос противный. Ко всему ещё еврей. Связей наверху – вроде никаких. Музыкант средний. А карьеру делает! Звание народное, пусть не самое верхнее, но второе сверху, класс в консерватории, профессор, какие-то там лауреатства, премии. Солист Московской филармонии, выездной, играет с лучшими оркестрами и дома и за рубежом, репутация чуть ли не третьего виолончелиста страны. Что за чудо?

Кстати, он за рубежом, надо ему отдать должное, себе не изменял. Караяну, говорят, хамил не хуже, чем Кримеру. Или не Караяну? Правда, Караян, или кому он там дерзил, мог не понять, что он именно ругается, хамил-то он по-русски, английских ругательств тогда в России не знали. А Хамович по-английски ни бум-бум – разговаривать и ругаться мог только по-русски. Знал, правда, несколько неприличных слов на вымирающем языке идиш (слова эти, в отличие от остального языка, пока не вымирают), но в ход их пускал редко. И уж конечно, не в присутствии Караяна.

Ну ладно, Бог с ней, с заграницей, там свои законы политкорректности. Но преуспевал-то он дома! Карьеру-то делал в этой самой антисемитской, чтоб не сказать хуже, стране, где таких как он инородцев, даже если они тихо сидят, всем улыбаются и поддакивают, всё равно никуда не пускают – за очень редким исключением. А тут – типичный еврей, урод, без связей, без таланта – и такое отношение!

Я долго размышлял над этой загадкой. И понял, в чем тут дело, много лет спустя, уже после смерти бедного Хамовича.

Не то, чтобы его ценили, как обладателя редкой профессии – виолончелистов у нас в то время хотя и было гораздо меньше, чем скрипачей и пианистов, но всё же не настолько, чтоб ради этого всё человеку позволять; были ведь и такие, кто и вёл себя поприличней, и на виолончели играл получше.

Может быть, его грубости боялись? Боялись с ним связываться, опасались, что закричит, устроит скандал? Тоже вряд ли. Кто у нас на родине боится таких вещей? Наоборот, этот жанр в почёте и у многих на вооружении. Да и что стоило бы какому-нибудь мелкому начальнику из нацбольшинства пару раз рывкнуть на Хамовича, чтоб у него на всю жизнь язык отнялся? Однако ж никто не рывкал, хотя и среди музыкантов, с которыми Хамович в основном общался, иногда попадались и представители нацбольшинства, и мелкие начальники.

Итак, в чём же был, так сказать, ключ его успеха? Повторяю, это я понял гораздо позже, после смерти Хамовича – умер он, нужно сказать, в Израиле.

Тут имел место психологический феномен. Такой феномен был возможен только в нашей стране, в России.

Мы ведь удивлялись чему? Что его хамство, в сочетании с его прочими данными, не препятствует его карьере. А как раз именно это – сочетание хамства, инородства, бездарности и уродства было его главным оружием! Как так? Поясняю.

Тихий еврей в России – явление привычное, нарицательное. У пролетарского поэта Маяковского даже есть такие стихи: «Мне рассказывал тихий еврей...». А еврей, который – при своём-то происхождении! – открывает рот, хамит налево и направо – это загадка. Люди изумляются: как это? Если же он при том ещё и выглядит как пугало, картавит, имеет местечковый акцент и плохо играет на инструменте – изумление людей достигает такой степени, что это парализует их запрещающие инстинкты. В таком состоянии любой начальник подписывает любую бумагу. За этим феноменально смелым поведением, на которое недочеловек по рождению не имеет ни малейшего права – но почему-то же он себе *такое* позволяет?! – им видится тайна. Хамовича они, я думаю, воспринимали как какого-нибудь инопланетянина. Инопланетян, так же как любых иностранцев или людей с другим цветом кожи, в СССР традиционно уважали.

А Хамович, хотя и не осозновал всех этих тонкостей, чисто интуитивно держался правильной линии поведения. Тем более, что ему это было нетрудно.

Но в конце жизни он совершил серьёзную ошибку. В конце жизни – не всегда означает в старости. Хамович был тогда вовсе не стар. Эта ошибка, думаю, приблизила его конец.

Он находился тогда если не на гребне, то и далеко не в низшей точке карьеры. По-прежнему играл концерты в лучших залах, преподавал, бывал за границей. Это было, правда, очередное сложное время в истории страны. В очередной раз исчезли деньги и продукты. Государство, отменившее и то и другое одновременно, рассуждало логично: если нет денег, зачем нужны продукты – их всё равно не на что купить. С другой стороны, если нечего покупать, то для чего людям деньги?

И всё-таки прожить в стране было можно. Для этого требовались иностранные деньги, на которые продавались иностранные продукты. В России тогда как раз появилось и то, и другое – взамен своего. Но для того, чтобы иметь зарубежные

деньги, приходилось выезжать за рубеж, на гастроли. Чтоб иметь много таких денег, выезжать надо было часто. У Хамовича это не получалось. Почему? Он не знал, что и предположить. Неужто в результате разрушения берлинской стены и хлынувшего в Западную Германию потока наших людей Караян стал понимать русскую ругань и припомнил Хамовичу, задним числом, все его, мягко говоря, бестактности? Нет, дело было, конечно, не в этом. А в том, что раньше гастролями Хамовича заведовали изумлявшие его поведению чиновники. Теперь же их не стало. И люди договаривались о гастролях сами, непосредственно с границей, на основании прежних хороших взаимоотношений. Чего у Хамовича не было – никогда и ни с кем.

Музыканты из России тогда выезжали за рубеж толпами. В прямом смысле – то есть, целыми оркестрами. Там они оседали, кто надолго, кто навсегда. Получали работу. А Хамовича никто и никуда не приглашал, не предлагал работу в какой-нибудь Штаден-Шульбахвеенгельдефельдбергской консерватории. Он, в числе очень и очень немногих коллег, сидел в совке.

Что было не престижно, более того – унизительно. Это свидетельствовало о том, что вся предыдущая жизнь прожита зря. В то время на родине мерилom ценности советского специалиста (особенно музыканта или ученого) стала его способность трудоустроиться за пределами этой самой родины. Отсутствие приглашения на работу за рубеж воспринималось как профессиональное фиаско, как личная и семейная трагедия, как общественный приговор.

И Хамович не выдержал. Дойдя до последней степени отчаяния, он подал заявление на выезд в Израиль. Туда приглашали всех. Правда, не на работу. А на постоянное место жительства – что далеко не одно и тоже! Но это была хоть какая-то граница. Хамович, однако, не сомневался, что в Израиле ему, чистокровному еврею и Народному артисту России, открыты все пути.

Это и была его роковая ошибка.

В Израиле Хамович моментально потерял свою уникальность. И как еврей, и как хам.

Больнее всего было то, что он лишился возможности хамить на общественном уровне. Поначалу пытался хамить учительнице иврита в ульпане. Но по израильскому правилу русских репатриантов могли учить ивриту только те, кто ни слова не понимал по-русски. Таково было первое условие при приеме на работу. На все попытки Хамовича нахамить учительница поощрительно улыбалась и с деликатной настойчивостью повторяла: «Бэ ивхит бэвакаша!» (пожалуйста, на иврите!).

Хамить на иврите Хамович не умел. Для этого надо было в совершенстве владеть языком. Он часто завидовал тому, с какой виртуозностью и, главное, наслаждением, хамили налево и направо коренные жители страны, завидовал их изысканному хамству в учреждениях (особенно в Министерстве по Радушному Приему Репатриантов и в Главном Управлении по их устройству) и хамству прямодушно-примитивному – в транспорте, в магазинах и на улице... Ужасно было это обидно – не иметь возможности разговаривать с ними на равных!

Хамович страдал от сознания своей неполноценности. Представьте себе степень досады высококлассного теннисиста, у которого закрыли банковские счета, и он не может участвовать в Уимблдоне, так как не на что купить ракетку. Хамович, во-видимому, переживал что-то похожее. Вокруг столько, казалось бы, родственных душ, и по призванию, и по национальным корням, но как с ними сговориться? Как дать

понять, что ты такой же, как они, ничуть не хуже, что тебе вполне доступен, и, главное, мил, привычен, столь же высокий уровень общения?

С карьерой тоже не получалось. Звание Народного артиста России в Израиле ничего не означало. Ему никто не звонил, не предлагал контрактов. Несмотря на то, что обилие концертов симфонической и камерной музыки до сих пор является одним из немногих, если не единственным, позитивным фактором израильской жизни. Все эти цукерманы с перельманами, включая даже бывших наших гандельсманов, не сходили с афиш. А имя Хамовича за четыре года моего проживания в стране я услышал лишь однажды. По русскому радио объявили о его концерте где-то в библиотеке, на окраине Тель-Авива. Тогда я и узнал о его эмиграции. Пардон, репатриации.

Возможно, Хамовичу надо было переменить имидж. В Израиле, где евреев-грубиянов во много раз больше, чем в России, ему нужно было притвориться редчайшим в святой земле типом благородного, доброго, интеллигентного, вежливого, культурного и воспитанного человека. На него бы сразу обратили внимание. Поскольку в Израиле такое, повторяю, редкость. Я, во всяком случае, за четыре года ничего подобного среди местных жителей не встречал. Вероятно, недостаточно долго прожил в стране.

Но этого Хамович не мог. Поздно было меняться – да и слов вроде «извините», «пожалуйста», «спасибо» он органически не выносил. Тем более в их тарабарском варианте. Дурацкие ивритские «слиха», «бевакаша», «тода раба» раздражали ещё сильнее русских аналогов. Что ещё за раба? Рабы не мы!

За все годы жизни в земле обетованной Хамовичу было хорошо только однажды. Когда он попал в Турцию.

Старые друзья – если такое слово уместно в данном случае – пригласили его преподавать на маленьких летних курсах для студентов из стран разбежавшегося соцлагеря. Им срочно нужен был преподаватель-виолончелист, и они позвали Хамовича, в надежде, что Израиль повлиял на него в лучшую сторону. Хамович поехал.

И не пожалел. Две недели он наслаждался морем и отсутствием вокруг израильтян. И, конечно, возможностью безнаказанно хамить безответным студентам, причём на родном языке (дети бывшей империи тогда еще помнили великий и свободный). Коллегам он почти не хамил – может быть, из чувства благодарности за вызволение из Израиля, хоть и временное. Да и совместных репетиций не было, а за завтраком, обедом, ужином и в перерывах он безостановочно поливал Израиль, особенно возмущаясь тамошнему хамству.

Две недели на турецком берегу Черного моря были единственным светлым пятном за последние несколько лет жизни этого, в конце концов, безбидого человека. Вскоре он умер.

Всвязи с изложенной историей приходит в голову смешная мысль: когда говорят, что вот, мол, есть люди, до конца жизни, несмотря ни на что, сохранившие верность своим принципам – то это ведь и про Хамовича...

Bread Brodsky.

Следующую историю я услышал от Михаила Григорьевича Муниса, одного из персонажей рассказа «Как стать знаменитым на родине». От того самого Миши Муниса, коего прославил каламбур (на мой взгляд, не смешной), придуманный сотрудниками редакции русской эмигрантской газеты «Третья волна». Вы помните его, конечно: «Чья фамилия состоит из начала...» – и так далее.

Михаил Григорьевич, между прочим, давно уже, почти сразу после того, как, в соответствии с предсказанием футуролога Уильяма Готфрида Лейбмана, закрылась их русская газета, стал профессиональным писателем. Опубликовал множество эссе, мемуаров и прочих воспоминаний о героях эмиграции семидесятых годов прошлого века. Обо всех этих людях, ставших легендами родной литературы вне родины: Бродском и Довлатове, Вайле, Ловшице, Донатове, Тартаковском. Такого рода мемуары в конце двадцатого – начале двадцать первого века пользовались большим спросом в отечестве бывших изгоев. Прошло не так много времени после Лейбманом же предсказанного очередного ренессанса русской словесности, где персонажам Муниса принадлежали ведущие роли. Изгой тогда, как часто случается на нашей родине, тут же превратился в кумиров. (Сейчас, кажется, уже начался обратный процесс.) На волне читательского интереса многие неизвестные прежде друзья-литераторы и просто знакомые всплыли на поверхность и опубликовали статьи и исследования, книги и даже докторские диссертации. Мунис не стал исключением. Тем более, он был действительным участником событий, а не с боку, что называется, припёку, как некоторые.

Он не уставал вспоминать всё новые и новые случаи из их редакционной жизни, а также из жизни частной и общественной, расширяя круг действующих лиц. Постепенно дошел даже до воспоминаний о поэте Якове Тартаковском, с которым, как мы помним, в Америке они не общались. И так как спрос на подобную литературу держался довольно долго, то со временем Михаил Григорьевич стал вспоминать истории, в достоверности которых сомневался даже он сам. Что его не слишком заботило, так как он давно понял, что в настоящей литературе документальность ценится гораздо меньше, чем художественный вымысел.

В пору, когда мы познакомились в Нью-Йорке, М. Г. был уже весьма немолодым автором нескольких томов мемуаров. Но точку ставить не собирался. Множество историй оставалось в загашниках; одни ждали литературного оформления и публикации, публикация других откладывалась по этическим либо политическим соображениям; третьи же ещё только зарождались, так сказать, брезжили в воображении мемуариста.

Одну из таких литературно необработанных историй Михаил Григорьевич рассказал мне. Я не пытался установить степень её достоверности — что, скорее всего, было невозможно. Автор вряд ли смог бы тут помочь, даже если б захотел. Тем не менее, история показалась мне заслуживающей внимания, и я — конечно, с согласия автора — решил её опубликовать.

Однажды писатель Сергей Довлатов зашёл в русский магазин в районе Форест Хиллс в Квинсе. Это произошло во второй половине восьмидесятых, когда слава поэта Иосифа Бродского была в самом зените. А Довлатова тогда почти не знали на родине как писателя, в кругах же русской эмиграции он был известен больше как журналист и комментатор радио «Свобода». Его настоящая литературная слава и её атрибуты, включая обязательную в России мемориальную доску на полуразрушенном доме, где когда-то жил ушедший, – всё это было впереди.

Итак, Довлатов, войдя в магазин, взглянул на витрину и чуть не вскрикнул – там ровными рядами лежали буханки хлеба в полиэтиленовой упаковке, и на каждой оранжевыми английскими буквами написано: BRODSKY.

Нужно пояснить, что Довлатов, так же как его любимый писатель А. П. Чехов, всегда очень радовался успехам друзей. Если где-то ему попадалось упоминание о книге, статье или картине друга, или даже просто фамилия друга или знакомого где-нибудь в газете или в другом месте, он, как и Чехов, всегда спешил сообщить тому приятную весть. А тут такое, несколько полок с хлебом, и на всех – BRODSKY, земляк, коллега, товарищ по эмиграции, почти друг. Да ко всему еще и Нобелевский лауреат, живой классик!

Когда-то в Одессе, кстати сказать, жил знаменитый хлебный фабрикант, тоже Бродский, но Довлатов, конечно, сразу сообразил, что, несмотря на хлеб и обилие одесситов в Америке, тот здесь ни при чем. Он тут же выскочил из магазина, нашел таксофон (тогда ещё не было сотовых телефонов) и позвонил лауреату.

– Иосиф, добрый день, – говорит Довлатов шутливым тоном – вы, конечно, уже слышали?

Поэт в этот момент, как обычно, сочинял стихи; он, как всем теперь известно, очень не любил, когда его отрывали от любимого занятия. Но, видимо, каким-то шестым чувством интуитивно он всё же догадался, что дело касается его, хотя уже и привычной, но пока ещё не надоевшей ему всемирной славы, и недовольным тоном спросил, со своим характерным ленинградским «ч»:

– Ч'то – слышал? Кто это говорит, между пхрочим? – лауреат сделал вид, что не узнал голос Довлатова. Он, конечно, узнал, трудно было не узнать давно известный радиослушателям трёх континетов интеллигентный довлатовский баритон, но поэт не упустил случая намекнуть, что, разговаривая по телефону с нобелевским лауреатом, следует сперва представиться. И он ещё не очень любил, когда с ним говорили шутливым тоном, в чём можно было предположить известную долю фамильярности, абсолютно неуместную в разговоре с лауреатом.

– Ой, извините, – смутился Довлатов. Он всегда немного смущался, когда общался с живым небожителем (отсюда шутливый тон), а тут еще представиться забыл...

– Это Довлатов, Сергей. Тут у нас в Квинсе... В общем, представляете, зашёл сейчас в булочную, а там хлеб, так сказать... вашего имени.

– Моего имени? Хлеб? Что за ехунда? – отвечает поэт с присущей скромностью. – Впрочем, черт его знает... Чего они только не придумают, эти торговцы, ради барыша...

– Барыш тут не причём, – не понял Довлатов, подумав что Бродский говорит о т Михаиле Барышникове, большом друге Иосифа, и что Барыш это такое дружески-

ласковое прозвище знаменитого танцовщика. – Хлеб «Бродский», называется «Бродский», белая такая упаковка, с оранжевыми буквами!

– Хм... – Лауреат задумался. – Что же мне никто ничего не сообщил? Не спросил разрешения? Существует же такая вещь, как royalty, я не знаю, авторское право...

– Да, действительно... – опять смутился Довлатов. – С другой стороны... ведь это хлеб... не стихи, не проза. Всё-таки не то, что какое-то пиратское издание...

– Ну, всё равно. Использование имени, знаете ли... Знаете, сколько они на этом наварят – мало не покажется. – Небожитель иногда любил щегольнуть знанием блатного жаргона и употребить какое-нибудь редкое для того времени бандитское выражение. Этим преследуя двойную цель: блатняк из его уст давал понять народу, что он тоже человек, в то же время, по закону контраста, напоминая, что он всё же небожитель.

– Вы ведь знаете, что моя фамилия в переводе с немецкого означает «хлебный», да?

– Ну да, ну да... – Довлатов уже был не рад, что позвонил.

– Вы уверены, что вся эта история имеет отношение ко мне?

– Да вроде... Бродский-то у нас один... – Довлатов мысленно ругал себя за этот дурацкий звонок и за глупую лесть.

– Знаете что? – голос поэта теперь звучал не так мрачно, как в начале разговора. Похоже, он смирился с тем, что его оторвали от любимого занятия. Да и глупой лести, похоже, не заметил, или же она не показалась ему такой уж глупой. – Я, пожалуй, сейчас натяну брюки и спущусь вниз, тут у нас русская лавка неподалёку... Хотя, они скорее всего, ещё не получили. У нас ведь глушь, деревня, бостонская губерния. Почти Норенское... – пошутил лауреат, намекая на ныне всемирно знаменитую деревню в Архангельской области, где отбывал ссылку в 1964-м, с чего и началась его мировая слава.

И хотя сравнение глухого советского захолустья с комфортабельным Массачусетсом, где жил теперь поэт, не показалось ему таким уж остроумным, писатель посмеялся в трубку. На шутки небожителя полагалось реагировать.

Впрочем, смеялся он напрасно. Лауреат, скорее всего, не слышал смеха. Он повесил трубку ещё до него – по-видимому, поспешил в «русскую лавку» проверять насчёт хлеба своего имени.

Довлатов неторопливо вышел из тесной телефонной будки – двухметровый гигант в сером ворсистом пальто. Поднял воротник, затянул шарф. Нью-Йоркский неприветливый ветер гулял по продольным, а также поперечным улицам северо-восточного Квинса. «Хлеб “Бродский” – не без иронии подумал он. – Звучит! А вот, например, хлеб “Довлатов”... » Это была уже самоирония.

Так и шёл он в сумерках по Остин Стрит, бормоча про себя, в такт шагам, какую-то чушь, по-русски и по-английски: «хлеб Brodsky, bread Довлатов, брэд Brodsky, бред Brodsky...»

Вдруг он остановился, что называется, как вкопанный. Жуткое подозрение пронзило его сознание. Идущая сзади женщина греческого вида налетела на него и выпустила из рук собачий поводок, затем выругалась по-английски, с змеиным шипением, и побежала догонять вырвавшуюся на волю собачку.

Секунд пять Довлатов простоял в оцепенении. Он успел заметить, как собачка, подбежав к дереву, с облегчением задрала ногу. «Не задрала, а задрал!» –

автоматически сработал внутренний писательский корректор. Потом он развернулся и, могучим корпусом разнося в стороны прохожих, побежал назад. Высокий, представительный мужчина в модном пальто бежал почти профессиональной трусцой бывшего боксёра, с годами утратившего форму от занятий литературой и прочих вредных занятий. С трудом дыша, открыл дверь русского магазина. Отдышался, прислонившись к стене. Тяжелыми от страха и усталости шагами приблизился к полкам. И, хотя в глубине души ждал чего-то подобного, все же содрогаясь от ужаса, прочёл: «Bread without preservatives. BORODINSKY».

И только тут он вспомнил, зачем ходил в магазин. Купил французский багет. Подумав с минуту, захватил еще буханку бородинского хлеба в полиэтиленовой упаковке и побрёл домой.

«Литература, несомненно, обязана занимать основное место в жизни профессионального литератора, – размышлял он по дороге. – Но не до такой же степени!»

Генерал дядя Юра.

«Занявшись человеком без заслуг...»

Борис Пастернак

Главное действующее лицо этого рассказа (или повести?) отличается от героев предыдущих рассказов тем, что он не поэт, не писатель, не музыкант — вообще, не имеет никакого отношения к искусству. Но есть и общее: герой, военный по профессии, был честолюбив ничуть не меньше, чем большинство писателей и артистов. И, так же, как персонажи первых трёх историй, так же как большинство порядочных людей, сподобившихся родиться в последней на Земле феодальной империи, он окончил свою жизнь в эмиграции.

Вышеизложенное, вместе с некоторыми другими авторскими соображениями, надеюсь, даёт мне право включить историю о моём родственнике дяде Юре в настоящий сборник.

Придумав название истории, я вдруг задался вопросом: а был ли дядя Юра в действительности генералом? Опросил немногих сохранившихся родственников. Никто из них не мог сказать точно. Дело в том, что сам дядя Юра всегда вёл себя так, словно он или уже генерал, или получение генеральского звания — дело одного-двух дней. В крайнем случае, месяцев. Поэтому все мы всегда считали его если не генералом, то как бы одной ногой в генералах. Никто никогда не задавался вопросом, сделан ли, наконец, полный шаг. Притом никто из родственников ни разу не видел дядю Юру в военной форме. Что способствовало поддержанию мифа. Всякий согласится, что иметь родственником генерала гораздо приятней, чем полковника. Тем более подполковника (не исключаю, что таково было подлинное дяди Юрино звание). Нельзя не признать: в воинственных, милитаристских странах типа нашей наличие хотя бы одного генерала в семье придаёт какую-то минимальную, пусть даже мифическую, уверенность.

Вот и сейчас я, усомнившись, всё-таки не меняю названия. Впрочем, из чисто художественных соображений. Кроме того, я уважаю упрямую мечту дяди Юры о генеральских погонах. И, будучи не уверен, что она исполнилась в реальности, волею автора осуществляю её в литературе.

Я решил сохранить за героем его истинное имя. Тут ещё один случай, когда любая выдумка будет беднее действительности. Имена же членов его семьи и других родственников вынужден слегка изменить, чтоб они, чего доброго, не обиделись. Правда, они всё равно обидятся, если догадаются о ком речь. Хотя обижаться, по моему, нет причин. Ну, нечего делать, остаётся уповать на то, что никому из них не попадёт в руки сей скромный труд. Основной недостаток коего в том, что герои и многие события, в нём описанные, не вымышленные. Тут я нарушаю главный принцип художественной литературы, по-английски *fiction* (то есть фикция, вымысел). Но так как, по утверждению классика, жизнь богаче вымысла, то вымысел, стало быть, тем богаче, чем ближе к жизни.

Дядя Юра был мужем двоюродной сестры моей мамы. Назову её тётя Мина. Во-первых, очень похоже на её подлинное имя; во-вторых, на мой взгляд, идеально подходит для жены военного. Дядя Юра и тётя Мина познакомились чуть ли не в

отрочестве и прожили вместе, фактически без перерывов (или с небольшими перерывами) очень долго. Думаю, лет семьдесят, а то и больше. Можно бы вставить здесь дежурную фразу насчёт мира и согласия, верности и преданности, но, как вы уже заметили, я не любитель дежурных фраз. Ещё и потому, что они, как правило, лживы. Хотя, в данном случае, пожалуй, мир и согласие имели место. Возможно, и верность, но лишь отчасти. Главным образом, со стороны тёти Мины.

Тут заключён некий парадокс, в очередной раз доказывающий: жизнь богаче вымысла. Она в молодости, насколько я мог судить по тому, что сохранилось в зрелые годы, была довольно красива: светлые волосы, серые глаза, породистый нос с горбинкой, вообще, печать породы на лице и всём облике. Что редко встречается у представителей того нетитульного народа, к которому принадлежала тётя Мина. А дядя Юра, наоборот, красавцем не был. Более того, в нашей семье имел репутацию «урода». Возможно, незаслуженную, как и многие репутации в нашей семье, однако документально подтверждённую. Привожу цитату из документа, письма моей мамы, полученного в процессе сбора материалов для настоящей главы. Пунктуация (если здесь уместен этот термин) оригинала сохраняется.

«Они познакомились еще школьниками на каком-то вечере она его очень любила по моему до конца жизни но когда ее родители его увидели в первый раз они пришли в ужас он был уродлив на старости лет он уже немного похорошел»

На мой взгляд, такая точка зрения основана на предубеждении. Родители, как я уже говорил, часто проявляют необъективность по отношению к выбору дочек. В результате чего своими руками создают сомнительные репутации собственным зятям.

А теперь — портрет дяди Юры, чтоб вы сами могли составить суждение, вполне объективное. Он был невысокого роста. Скорее, низкого. Притом очень худ. Имел впалые щёки и широкий нос. Правое крыло носа примыкало к правой щеке, то бишь, впадине, а левое — к левой. Вообразили? Кривая впадины щеки переходила в кривую большого уха без мочки, но зато с хорошо развитой верхней частью, стоящей строго перпендикулярно к виску. И так с обеих сторон лица. Между ушами, над невысоким лбом — скудный чубчик.

Перечитав, вижу, что и сам нахожусь во власти семейного мифа и черезчур, так сказать, квазимодимизирую портрет. Но пусть уж так и остаётся, как дань необходимой дозе вымысла.

Парадокс же заключался в том, что красивая тётя Мина никогда не изменяла мужу даже в помыслах, в то время, как он, далеко не красавец... Но об этом речь впереди. Пока лишь скажу, что не склонен в чём-либо порицать своего героя. Уж во всяком случае за то, что дядя Юра, как многие низкорослые щуплые мужчины, повидимому, обладал незаурядной мужской энергией. Подозреваю, что Бог таким образом компенсирует им неказистость и внешнюю непривлекательность.

Тётя Мина, говорят, сильно ревновала мужа ко всем его временным увлечениям, но в результате прощала. Ревновала, может быть, напрасно. Она, видимо, не очень разбиралась в мужской психологии, не учитывала, так сказать, её двойственной природы. Почти уверен, что дядя Юра, романтик в глубине души, с самого начала отношений с тётей Миной дорожил именно романтическим, поэтическим их аспектом, каковой стремился сохранить и уберечь от грубого физического привкуса. Чем и объяснялись его временные увлечения на стороне.

Они жили в городе, где отношения между мужчиной и женщиной неизбежно окрашивались в романтические тона. Тому способствовала атмосфера этого города, одного из самых уникальных в мире. Теперь я имею все основания так говорить, после того, как посетил несколько основных городов планеты и могу судить абсолютно беспристрастно. Несмотря на то, что я сам родился и вырос в том же городе.

Поначалу я не собирался уделять описанию города слишком много места. Но в том-то и уникальность, неповторимое очарование моего родного города: начав вспоминать его, пусть даже не весь, а какой-нибудь уголок, улицу или квартал, ты не в состоянии остановиться.

Таким образом, описание заняло целую главу; глава потребовала названия. После чего пришлось разбивать на главы весь остальной рассказ и придумывать названия для них. Занятие утомительное и неблагодарное, но не лишенное смысла: разделение на главы придаёт литературному произведению эпический вид. И, кроме того, даёт возможность уставшему читателю не заглатывать весь опус целиком, а остановиться в конце любой главы.

Вначале был Город.

Город находился на юге последней империи, на берегу большого моря. Его основала Великая Императрица, как главные южные морские, а значит, торговые, ворота империи. В те времена торговля уживалась с романтикой. Но со временем, по мере превращения торговли в шоппинг, романтика из неё ушла. И город наш, хотя архитектурно оставался почти таким же, постепенно стал утрачивать что-то неуловимое, какое-то, что ли романтическое содержание. В конце концов, после распада империи, он очутился как бы в другой стране. Не знаю, повлияла ли на него перемена гражданства, так как не был в родном городе уже более двадцати лет. Тем не менее, отдаю себе отчёт: одно дело – быть главным южным портом огромной империи. И совсем другое – не слишком развитой, хоть и довольно большой по размеру провинциальной страны.

Впрочем, я, как и все мы, несвободен от имперской спеси. Лучше бы просто пожелать любимому городу процветания и благополучия, независимо от гражданства. Понимая при этом, что он, как и всё на свете, никогда уже не станет таким, как прежде, каким сохранился в нашей памяти. То есть прекрасным, несравненным городом детства и юности. Не стану называть его имя, оно и так всем известно. Пусть будет просто Город, с большой буквы.

Семья дяди Юры жила здесь, по-моему, с незапамятных времён, отец тётки Мины тоже был коренной житель; он и перевёз туда свою жену, младшую сестру моего деда. После чего почти все наши родственники постепенно переселились в замечательный город, давший человечеству много великих музыкантов и писателей, немало выдающихся актёров, пару неплохих поэтов, а также уйму посредственных театральных режиссёров.

Город неоднократно описан в литературе. Однако, чтобы вы почувствовали обстановку, в которой зарождались отношения героев, придётся и мне описать пусть небольшую, но самую поэтическую и живописную часть его. На Земле ещё сохранилось несколько мест, где совместное творчество человека и природы вызывает

этакое умиротворённо-гармоническое чувство и даёт надежду на лучшее будущее. Может быть, обманчивую. Но именно в таких местах начинаются самые длительные и жизнестойкие любовные истории.

Город расположен на плато, высоко приподнятом над морем. Море видно почти отовсюду. Улицы, ведущие к морю, идут не вниз, а как бы вверх и упираются в море, как в стену. Но эта стена не выглядит тупиком. Полоса тёмно-голубой воды и светлое небо над ней плавно уходят за горизонт и вас зовут туда же. Причём, не безуспешно. Местное население отличается двумя противоречивыми качествами: сверхпреданной любовью к своему Городу и неодолимым стремлением уехать из него навсегда. В результате последнего весь мир наводнён бывшими нашими горожанами. Совсем не потому, что слова «преданность» и «предательство» происходят от одного корня. Никакого предательства. Наоборот, самых завзятых патриотов родного Города можно найти именно среди них, нынешних жителей Москвы и Нью-Йорка, Хайфы и Сан-Франциско, Мельбурна и Монреаля, Франкфурта, Парижа, Лондона, Чикаго... Конечно, тут ещё ностальгический фактор сказывается, по себе знаю. Но дело не в нём. А в том, что больше нигде в мире нет улиц, упирающихся в море, которое плавно уходит за горизонт, и вас зовёт туда же.

Говорят, в Сан-Франциско есть что-то похожее — не верю. Какая уж там романтика, в этих США, да и улицы к ихней бухте наверняка идут вниз, а не вверх, да и не море это, а океан, а за океаном что? Всё та же бывшая родина... Причём далеко не лучшая её часть.

Стало быть, наверху город, внизу море, торговый порт, пристани, гавани, пирсы. Если идти в сторону моря по знаменитой на всю Европу Лассалевской улице, то примерно в середине её, слева от вас открывается прямоугольная площадь. Она упирается в одно из немногих сохранившихся чудес света. Не знаю, какое по номеру. Возможно, когда-то было восьмым. Но думаю, уже значительно продвинулось, в ходе развития цивилизации и утраты нескольких номеров первой семёрки.

Итак, в конце площади перед вами возникает... Нет, лучше: вы вдруг обнаруживаете... Или: вашему взору предстаёт... Впрочем, там находится знаменитый не только на всю Европу, но и на весь мир Оперный театр. Сколько тысяч раз видел его на фото и живьём, и каждый раз снова впечатляюсь совершенством этих линий и форм. На него, как на море, можно смотреть без конца. Что и есть признак великого произведения искусства: оно не надоедает, его хочется видеть, слушать, читать всегда.

Так что если вы, дочитав сию повесть до конца, не почувствуете желания когда-нибудь перечитать её, то она, скорее всего, не есть произведение искусства. Тем не менее, не торопитесь от неё избавиться. Может быть, когда-нибудь потом, с возрастом, по мере развития... Ну, не будем загадывать.

В течение ста лет наш Оперный театр считался третьим по красоте театром мира. На мой взгляд, несправедливо. Но в конце концов передвинулся на заслуженное первое место, после того, как номера один и два сгорели. Наш театр тоже горел, в прямом смысле слова, причём несколько раз. И каждый раз восставал из пепла — ещё лучше, чем прежде, сохранив все свои красоты и диковины, включая деревянные широкие кресла партера начала XIX века, нарочно приспособленные для дамских кринолинов.

Театром чудеса не кончаются. Подойдите к нему ближе и увидите, что за или лучше сказать над его куполом справа возвышается море. Впечатление, особенно в

солнечный день, феерическое. Проза тут бессильна, придётся прибегнуть к поэзии:

В сосуд из неба до половины
Налито море.

Полукруглая аллея среди клумб, газонов, статуй и фонтанов огибает театр справа и ведёт к тому романтическому месту, о котором я собирался рассказать. Назову его Бульвар, просто Бульвар, без имени. С именами ему не везёт. Его первое название, в честь Государя, после революции заменили фамилией одного заштатного революционера. Тот принадлежал к нетитульной нации, и фамилия не скрывала, а, наоборот, подчеркивала сей факт. Впрочем, название «бульвар Рабиновича» не прижилось. Звучало как анекдот. Граждане Города обожают анекдоты, но не до такой же степени! Бульвару присвоили нейтральное имя «Приморский». Тоже не совсем подходящее: он расположен не у моря, вдоль берега или как-то ещё «при», а высоко над морем, на краю городского плато, чем отличается от всех бульваров мира. Причём, это отличие — далеко не единственное.

В детстве я полагал, что все другие бульвары выглядят так же, как наш. Но затем, повидав разные города, понял, что нигде нет ничего подобного. Ни в целом, ни в деталях. Убеждаюсь в этом всякий раз, мысленно путешествуя по Бульвару.

Как всякое произведение искусства, Бульвар подчиняется законам композиции: завораживающее начало, впечатляющая кульминация, блестящий финал. И ничего заимствованного, банального, никаких штампов нигде и ни в чём.

Взять хотя бы грандиозный старый платан вначале Бульвара. Его мощные ветви шатром укрывают целую площадь. Площадь невелика, но полна шедевров. Первый из них — здание городской Думы. Оно как бы состоит из одного фасада, длинного ряда элегантных белых колонн на тёмном фоне. Во фронтоне над колоннами куранты, мелодично тренькающие каждые пятнадцать минут, вызванивая гимн Города. И снова вынужден обратить ваше внимание: нигде в мире нет курантов, звонящих каждые пятнадцать минут.

Про гимн нужно сказать отдельно. На самом деле, это никакой не гимн, а песня. Даже не песня, а ария. Ария Тоси из оперетты «Белая акация». Действие оперетты происходит в нашем Городе, и ария Тоси — про любовь к нему.

Есть ли на свете другой город, которому посвящена любовная ария героини оперетты? Есть ли на свете другой город, гимном которого стала бы ария из оперетты?

Дума стоит боком к морю, лицом к Бульвару и начинает его, как увертюра. Как пишут в путеводителях, остановимся тут, прежде, чем ступить на Бульвар.

Южная часть площади открыта в сторону моря. Сразу за низким парапетом обрыв, кроны деревьев колышутся вниз. Там — провал, чёрная дыра, парк с неуместным названием «Пионерский». Не только юным пионерам, но и взрослым не рекомендуется посещать этот парк, а с наступлением темноты даже смотреть в его сторону. Зато над обрывом и далее, до горизонта — бесконечное пространство между Бульваром и небом, морской порт, причалы, корабли, наш знаменитый маяк, весь залив. А за ним — дальние страны, Босфор с Дарданелами, Средиземное море, и далее великий мировой океан.

На площади тихо, звуки тонут в пространстве и в листве деревьев. Задумчиво

тренькают куранты, позвякивают портовые краны далеко внизу. Умолкла навеки чугунная на деревянном лафете пушка с английского фрегата «Тигр», водружённая на пьедестал. Но даже если бы она вдруг выстрелила, то всё равно не нарушила бы здешней тишины и покоя. Поэзия разлита в воздухе и достигает такой концентрации, что материализуется в виде памятника Первому поэту. Он стоит спиной к Думе, лицом к Бульвару и, как вы уже догадались, не похож ни на один другой памятник. Никаких гранитных сюртуков, бронзовых фраков и чугунных панталон, ничего грубо материального. Просто бюст, кудрявая голова на плечах — а что ещё нужно поэту? Голова находится на недостижимой высоте, на пьедестале в два человеческих роста. Когда смотришь вверх, кажется, что лицо поэта летит в облаках. Пьедестал стоит на квадратном постаменте с четырьмя бронзовыми чашами. Вода непрерывно струится из пастей четырёх дельфинов, символизируя вечность.

Первый поэт прожил в Городе в ссылке (Город тогда ещё не числился национальным курортом) больше года. По слухам, имел роман с женой генерал-губернатора. С самим губернатором, естественно, был в натянутых отношениях, что впоследствии трактовали как протест поэта против самодержавия.

Кстати, губернатор и придумал устроить здесь Бульвар. Знал бы он, что через много лет памятник этому наглецу станет одной из главных бульварных достопримечательностей!

Памятник стоит вначале центральной аллеи Бульвара. Всего аллея три. Три ряда старых платанов и каштанов укрывают их густыми кронами. Под платанами — старомодные длинные скамейки. Рядом с главной аллеей неширокая мостовая, за нею фасады домов, парад архитектурных стилей: мавританский, барокко, рококо, модерн. Тем не менее, я предпочитаю путешествовать по Бульвару по крайней аллее, над обрывом, в виду моря и пространств. Двигаясь с запада на восток, постепенно приближаясь к кульминации Бульвара — площади герцога. В центре которой — один из самых известных памятников мира, статуя герцога.

Эта статуя на невысоком постаменте — талисман Города и его лицо, ангел-хранитель, добрый гений. Горожане гордятся ею и относятся как к живому человеку. Возле герцога назначают свидания, фотографируются молодожёны, туристы и демобилизованные солдаты. Школьники выпускных классов узнают у него темы экзаменационных сочинений. С ним советуются, просят помощи, ставят свечки у подножия пьедестала или просто в ладонь. В условиях безбожного социализма памятник служил горожанам чем-то вроде иконы, а тень герцога заменяла им чуть ли не самого Бога.

И тем не менее, большинство жителей города не знает его настоящего имени. Спросите любого, как звали герцога. На вас посмотрят, высоко вскинув брови, якобы от удивления, и ответят, что только дурак не знает, как его звали. А всякому порядочному человеку известно, что герцога звали Дюк.

Не стоит возражать, объяснять, что дюк — не имя, а герцог по-французски. Не поймут, да и слушать не станут. Горожанам нет дела до французского. Природные самоуверенность и апломб вполне заменяют им знание языков, а также все прочие знания. Герцога звать Дюк. Просто Дюк. Есть и фамилия, но кто же станет звать своего человека, любимца, друга по фамилии? Конечно, в торжественных случаях, да, мы говорим полностью, как полагается: герцог Дюк де Ришелье.

На самом деле, у дюка, конечно, было имя. И не одно. Горожанам это

неинтересно, но для Вас, читатель, раскрою псевдоним. Дюка звали Арман Эммануэль.

Дюк Арман Эммануэль — далеко не единственная гордость площади. Прямо перед ним — Лестница. Если не самая большая на планете, то наверняка самая знаменитая. Она описана в книгах и не раз снималась в кино, иногда даже в главной роли. Например, в картине про восставший броненосец, лучшим, по мнению государственных киноведов, фильме всех времён. Кто помнит, как выглядел сам этот допотопный броненосец? Или лицо хотя бы одного из восставших матросов? Или хоть один мутный кадр кинематографического шедевра — кроме тех, где в главной роли наша Лестница?

Лестница широко и медленно, долго и торжественно спускается на Приморскую улицу. Обернитесь и посмотрите вверх — увидите точёную фигурку дюка на фоне неба. А за ней, если поднимитесь чуть выше — знаменитые полуциркульные дома. Архитектор заменил углы домов полукружиями, они мягко обрамляют площадь и памятник Дюку, открывая за его спиной начало городского пространства.

Мой любимый уголок бульвара — здесь же, на площади Дюка, слева от лестницы, над обрывом. Маленькая смотровая площадка со скамьёй под деревьями и чугунной оградой, увитой зеленью. Внизу у ограды — кроны старых акаций; в мае они наполняют площадку неземным ароматом. Раньше отсюда открывался чудесный вид на гавань. Лет пятьдесят назад вид испортили: напротив Лестницы воздвигли здание морского вокзала. Оно похоже на старую картонку из под обуви с продавленным торцом. Так что стоя на площадке, не нужно глядеть вниз. Лучше сесть на скамью, вдыхать запах акаций и смотреть прямо перед собой.

Благодаря морвокзалу Бульвар лишился ещё одной милой сердцу каждого горожанина достопримечательности: старого бельгийского фуникулёра. Катание на фуникулёре было одним из главных удовольствий детства.

По воскресеньям обязательный выход в город с родителями заканчивался прогулкой по Бульвару. От дома шли пешком, иногда ехали в троллейбусе первого маршрута по улице Льва Толстого, затем по Лассалевской до площади Оперного театра. На её левом, если стоять лицом к театру, углу помещался магазин «Кулинария». Я давно собираюсь описать воскресные посещения этого магазина, но как-то всё не было случая. Не уверен, что сейчас именно тот случай, но решил не откладывать. Я считаю, настоящий писатель, если ему хочется описать что-либо для него дорогое или важное, не обязан искать повод, случай или подходящий контекст. Надо помнить, что читатель всегда с удовольствием читает подобные описания, а на контекст он, как выражаются в Городе, чихать хотел. Так что пишите, а контекст, как говорится, приложится.

В магазине у входа помещался прилавок с пирожными и разноцветными соками в трёх стеклянных конусах на стойке: томатный, яблочный и... не помню, кажется, виноградный. Может быть, гранатовый. Но точно не апельсиновый. Апельсины в СССР считались дефицитной едой, деликатесом, превращать их в сок — кому могло придти в голову такое безумное расточительство?

Соки мерцали сквозь стекло рубином, янтарём и малахитом. На деревянном подносе, покрытом вощённой бумагой, рядами лежали пирожные: корзиночка, песочное, бисквитное. Возможно, были и другие сорта, не могу сказать с уверенностью. Я и за бисквитное не ручаюсь. Да и насчёт корзиночки — допускаю,

что память подсунула мне прилавок из какого-нибудь другого магазина. Зато отлично помню ежевоскресное песочное из двух сухих, немилосердно крошащихся во все стороны коржей с прослойкой повидла и бело-салатовой извилиной крема. К пирожному, кроме обязательного «Не кроши! Ешь аккуратно!», полагался подсолённый томатный сок. Почему томатный? Точно не могу сказать. На первый взгляд — странное сочетание, гастрономический курьёз: сладкое пирожное и кисло-солёный сок.

Вряд ли тут имели место экономические соображения. (Томатный сок стоил 11 копеек, яблочный — 14 или 15, аристократический виноградный целых 21 или даже 23 копейки.) Вероятно, томатный, густой, с мякотью, считался наиболее полезным, витаминным. То есть если и присутствовали экономические соображения, то они счастливо совпадали с пользой для здоровья. Так или иначе, мне, дисциплинированному ребёнку, воспитанному в бэбээсовской школе и семье, никогда не пришло бы в голову попросить взамен томатного яблочный. Не говоря уже о виноградном.

Кроме того, я был уверен (и до сих пор так думаю), что лучшего сочетания, чем песочное пирожное с томатным соком и быть не может. Я прекрасно помню этот вкус, ощущаю его в деталях. Особенно когда пью консервированный томатный сок из банок здесь в Америке. Он отчасти напоминает настоящий. Но где взять то песочное пирожное?

Существовала ещё одна причина, из-за которой я не согласился бы променять томатный сок ни на какой другой. Как я уже сказал, его полагалось солить. На прилавке стояли два гранёных стакана. Один с солью, наполовину окаменевшей, другой с водой, слегка розоватой. В последнем содержалась серая от воды и времени алюминиевая чайная ложка для соли. Процедура подсаливания сока составляла важную часть воскресного ритуала, я, к удовольствию (или к раздражению, в зависимости от настроения) родителей, выполнял её не спеша, тщательно, подробно: набирал соль на кончик ложечки, погружал её в пунцовую пену, долго размешивал. Аккуратно возвращал ложку в стакан с водой. Затем, сосредоточенно поедая пирожное, наблюдал, как частицы мякоти отделяются от ложки и медленно опускаются на дно.

И всё же, как я ни старался растянуть удовольствие, оно, как все удовольствия, кончалось. Но без грусти, ибо впереди предстоял Бульвар. Мимо Оперного театра, по полукруглой аллее, мы выходили прямо к памятнику поэту. Я вместе с другими детьми взбирался по лестнице на цоколь, бегал вокруг пьедестала, подставлял руку под струю воды из пасти дельфина. Тогда, вероятно, и заразился поэзией. После чего долго сочинял в рифму, полагая, что это и есть поэзия. Потом прозрел и теперь в рифму пишу только эпиграммы.

По аллее над обрывом мы шли к площади Дюка. Если удавалось упрямить родителей спуститься по Лестнице, обратно возвращались на фуникулёре.

Внизу на Приморской улице, рядом Лестницей, находилась станция, вроде крохотного вокзальчика — небольшая комната, окошечко кассы, пол из метлахской плитки, скамья, выход на перрон. Наверху — только касса и маленький перрон. Проезд стоил то ли три, то ли пять копеек в один конец. Два старых красных вагончика шли навстречу друг другу по рельсам среди зарослей деревьев и кустов. В середине пути рельсы раздваивались на две колеи, чтоб вагончики могли разойтись.

Говорили, что они движутся с помощью какой-то остроумной гидравлики. У каждого вагончика якобы имеется бак для воды. Вода по трубам перетекает из одного бака в другой. Когда вагончик наверху, полный бак с водой тянет его вниз. В то время как трос, перекинутый через блок, тянет нижний вагон вверх. Вода, подчиняясь закону то ли тяготения, то ли сообщающихся сосудов, либо ещё каким-то чудом снова поступает вверх, в бак бывшего нижнего, и тянет его вниз. И так без конца, перпетуум мобиле, круговорот вагончиков в фуникулёре. Но может, то были сказки, и фуникулёр двигался с помощью обыкновенного электричества.

В вагончиках имелись купе, кажется, по четыре в каждом: раздвигающиеся двери, жёлтые деревянные сиденья друг против друга, точно как в поездах старой Европы или Америки. Был и кондуктор. Он обходил вагон перед отправлением, проверял и продавал билеты. После чего становился на открытую площадку, давал сигнал, фуникулёр трогался. Всё путешествие занимало от силы минут десять. Хотя казалось, и до сих пор кажется, что много дольше. Ибо то было настоящее путешествие, с меняющимися картинами за окном. Справа, через заросли и ограду виднелась Лестница, прогуливающийся воскресный люд. Слева — джунгли Пионерского парка, затем, примерно на середине пути, вдруг возникал южный дворик с галереями и бельём на верёвках. Из окна фуникулёра открывалась какая-то чужая, как в кино, жизнь. Я всякий раз удивлялся тому, что тут живут обыкновенные люди, в двух шагах от романтики бульвара, по соседству с таинственным миром опасного Пионерского парка. Я завидовал их счастью. Мне с детства хотелось жить вблизи романтических мест, если уж нельзя в самих этих местах. Что нельзя — я тоже твёрдо знал с детства, хоть и не понимал, почему.

Гораздо позже понял, что в романтических местах нашей планеты, вроде Бульвара, Лазурного берега или хотя бы Нью-Йоркского Центрального парка, живут обычно люди совсем не романтические. А иначе бы они здесь не жили. Но почему их, таких, мягко говоря, практичных, тянет именно в романтические места? Кто знает? Никто, даже они сами. Знаю только, что благодаря им романтических мест на Земле становится всё меньше и меньше.

В фуникулёре было прохладно в летнюю жару, так как он шёл в тёмном туннеле из густой листвы. Чёрные тросы ползли вверх и вниз с мягким звуком, от них вкусно пахло нагретой смазкой. Путешествие заканчивалось на площади дюка, в другом мире, куда я выходил, обалдев от дорожных впечатлений и солнечного света.

Фуникулёр служил не только развлечением. Иногда, в редких случаях, его использовали как транспорт. В старые времена, когда ещё не было уродливой обувной картонки напротив Лестницы, а пассажирские теплоходы и катера приставали к уютной пристани старого морвокзала, мы, возвращаясь домой из морских путешествий, шли с чемоданами пешком по Приморской, садились в фуникулёр и поднимались на Бульвар. С одним из таких возвращений связана романтическая история. Как большинство романтических историй, она началась летом на теплоходе. Зато закончилась весьма нетипично — в купе фуникулёра. Героине истории было лет четырнадцать, герою, то есть мне, пятнадцать, а то и целых шестнадцать. Помню, меня, как всегда в отношениях с женщинами, мучил комплекс неполноценности: казалось, я для неё слишком стар. Конечно, выглядит смешно, но тут ведь главное не причина, а сам комплекс. В том смысле, что был бы комплекс, а причина всегда найдётся. Интересно, что и сейчас, пятьдесят лет спустя, я испытываю тот же

комплекс, знакомясь с дамой лет сорока и даже пятидесяти пяти.

Как-нибудь обязательно расскажу всю ту историю с подробностями, но не сейчас. Сейчас возвращаемся на площадь дюка. Осталось пройти вторую половину Бульвара. И вот мы идём по центральной аллее: представительный папа, ступающий солидно, с чувством собственного достоинства, в костюме, сшитом прославленным портным Затиркой (он тогда ещё жил и работал в Городе): прямые свободные брюки, пиджак — слегка подложенные плечи, ярко-оранжевая огненная подкладка, спина в «рэзыночку» (так произносил великий Затирка). Мама, слегка располневшая, в бежевом чехословацком костюме букле и коричневой блузке. Посередине я, в штанах с манжетой и пуговицей под коленом (мама называла их «гольфы», почему-то во множественном числе), позднее — в зауженных по моде брюках песочного цвета, каковые, вместе с коричневыми румынскими туфлями с узкими носами — папа называл их «джимми» — составляли предмет моей подростковой гордости.

Мы медленно шествуем к финалу Бульвара, к бывшему дворцу того самого генерал-губернатора, наместника края, не поладившего с Первым поэтом. День движется к вечеру. Ветерок шумит в платанах, солнце потихоньку приближается к поверхности моря.

С тех пор, как выражаются в мемуарах, прошло много лет. Давно нет фуникулера. Его разобрали, когда сооружали новый морвокзал, и заменили банальным магазинным экскалатором. Я давно не живу в Городе. Зато повидал много дворцов в других городах. И снова — что делать! — не могу не сказать, что наш дворец в конце Бульвара не похож ни на один дворец в мире.

Вообще-то он мало напоминает дворец. Просто красивый, в строгом классическом стиле довольно скромный двухэтажный особняк. Почти со всех сторон укрытый деревьями, окруженный цветниками, клумбами, полянами с подстриженной травой. Когда-то во дворе бил фонтан. Я ещё застал узорчатую чугунную ограду, отлитую знаменитым столичным мастером два века назад. Её давно разобрали, якобы на металлолом. Говорили, что из соображений демократизма, чтоб не отгораживать Дворец от трудящихся. Но поскольку в родной стране слово «демократизм» имеет особый смысл и означает не что иное, как увеличение масштабов воровства — есть надежда, что ограда сохранилась где-нибудь на даче тогдашнего большого начальника.

Но и без ограды Дворец хорош, виден, как на ладони. Почти квадратный в плане, удивительно соразмерный. Нет, всё-таки не особняк, дворец. Что-то есть в нём благородное, царское. Не знаю, как добился этого умный французский архитектор. Кстати, и сам царь с семейством останавливался во Дворце, когда бывал в Городе, в гостях у губернатора. И ничего, все размещались, на тесноту не жаловались.

Теперь, живя в американском штате Коннектикут и проезжая мимо помпезных замков местных маклеров, брокеров и прочих творцов денег из воздуха, всегда думаю о скромности генерал-губернаторов позапрошлого века. И о том, что чем меньше, мельче человек, тем большего размера дворец стремится он себе отгрохать. Тут, как и во всём, действует, очевидно, закон компенсации — важнейший, на мой взгляд, из всех законов диалектики.

Наконец, заключительный аккорд бульвара: Колоннада. Напротив Дворца, шагах в ста пятидесяти от южного фасада, у самой бровки обрыва на полукруглом подиуме два ряда внушительных колон под крышей. Сооружение совершенно

оригинальное — нигде не видел ничего подобного. Никто не знает его истинного назначения. И я не знал, пока не увидел Колоннаду с моря.

Теплоход медленно входит в залив. Все пассажиры на палубе, у борта. Всматриваемся в даль. Пока ещё видны только высокие берега и полосы пляжей. Дети стараются угадать: Большой фонтан, Десятая станция, Аркадия, Отрада, Ланжерон. И вот мы в акватории порта. Одинокие параходы и танкеры на рейде, затем катера, буксиры; подплываем к маяку. Уже проступают сквозь дымку купол Оперного, крошечная Лестница и, наконец, различимы миниатюрные свечи колонн над кромкой обрыва. Родная, знакомая до последней надписи («Яна + Лёша» на второй колонне слева) Колоннада. Мы дома.

Теплоход ещё плывёт, убийственно медленно подходит к причалу, долго швартуется, пассажиры с чемоданами толкуются у выхода и на трапе — но всё это уже под знаком, посланным Колоннадой: мы дома.

Колоннадой и дворцом, как я уже сказал, завершается Бульвар. Не знаю, удалось ли мне сколько-нибудь ощутимо передать его атмосферу. Я честно над этим работал, причём довольно долго, недели две. Прошёл через нешуточные муки творчества. Но и удовольствие испытал: вспомнил детство, побывал в любимом городе, и всё такое. Безусловно, кое-какие преимущества в профессии литератора имеются.

Хотелось, чтоб и вы, образно выражаясь, вдохнули ни с чем несравнимый воздух нашего изумительного Города, почувствовали обстановку, в которой зарождался роман моих героев и протекала его ранняя стадия. Думаю, что дядя Юра и тётя Мина не раз гуляли по Бульвару ещё в школьные годы. Наверняка, соблюдая городскую традицию, приходили к дюку в дни выпускных экзаменов и в ночь после выпускного вечера.

Первым окончил школу дядя Юра. Он с матерью Басей (она была полька, похоже, из дворян — как и все поляки) и отцом Александром Константинычем (он происходил из старых русских интеллигентов и преподавал начертательную геометрию в Политехническом институте) жили в маленькой квартирке на первом этаже на улице Щепкина, напротив знаменитого Городского университета. Но дядя Юра никогда не искал лёгких путей. Он поступил не в близлежащий Университет, а в Политехнический, причём на химический факультет, не имевший никакого отношения к начертательной геометрии.

Через год закончила школу тётя Мина. И поступила в университет напротив дома, где жил дядя Юра. Прогулки по Бульвару и свойственная ей от природы романтичность обусловили выбор: филологический факультет, русский язык и литература.

Вероятно, то была лучшая пора их жизни: молодость, вера в будущее, вокруг чудесный тёплый Город. Короткая зима. Бульвар, в редкие снежные дни не менее, а то и более красивый, чем летом. А уж летом — море, пляжи. В мае и июне, пока учёба — городские пляжи: Ланжерон и Отрада, иногда Аркадия. Летом — жизнь на даче в пригороде, куда вела старая трамвайная линия вдоль обрыва над морем. Овощи, фрукты, летняя еда: зелёный борщ из щавеля, помидоры и варёная молодая картошка, посыпанная укропом и чесноком. Ну и другие деликатесы.

В те времена молодёжь не слишком стремилась к путешествиям. Да и куда путешествовать? Разве есть где-либо что-нибудь лучшее, чем Город времён нашей

юности? Может и есть, но я пока не нашёл.

Быстро прошли пять лет. Дядя Юра окончил свой химический факультет. Тем же летом они с тётёй Миной поженились. И тем же летом началась Большая война.

Непрочные браки военного времени.

Война сперва началась в Европе, недалеко от границ нашей империи. Но руководители государства не придавали этому большого значения. Они, по обыкновению, воевали с собственным населением, на что уходили немалые силы. Не хотелось отвлекаться, думать о постороннем.

Чем и воспользовался враг. Он напал вероломно, исподтишка. Мудрые руководители сперва даже не поняли, что на них напали. А когда поняли — долго не могли поверить. Поверив, никак не могли опомниться: как это так? Чёрт побери, что за вероломство! Тем временем вражеские войска захватили половину страны. Империю спасли её гигантские размеры. Будь она вполовину меньше, конец её наступил бы на полвека раньше, чем это произошло на самом деле.

Руководители государства не на шутку перепугались и призвали на фронт всё мужское население огромной страны. Миллионы рядовых бойцов с оружием и без были брошены на защиту государства. Однако рядовым нужны были командиры. Их не хватало. Многие были уничтожены самим государством во время очередной войны с населением. Но руководители не растерялись. Они придумали хитрый трюк: военные училища. Юношей, только что окончивших или даже ещё не окончивших институт, призывали в армию и отправляли в училища. Там из них, совершенно штатских инженеров и гуманитариев, никогда не державших в руках оружия, за два-три месяца пекли «боевых командиров» и посылали на фронт, на передовую, драться с хорошо вооруженным и обученным противником. То есть на верную смерть.

И дядю Юру, молодого специалиста-химика, как только началась война, призвали в армию и отправили в военное училище.

Чтоб не держать вас в напряжении, сразу скажу: дядя Юра благополучно прошёл всю долгую войну. Думаю, воевал он хорошо. Кажется, даже не был ранен; если и был, то легко. Имел награды. Продвинулся в чинах. Женился. Конечно, неофициально. Официально он оставался мужем тёти Мины.

Дело в том, что во время Большой войны, как всегда при перемене уклада, возникали новые понятия. Одно из них, «фронтная жена», «фронтная подруга», появилось и укоренилось прежде прочих. Юные и не очень офицеры, надолго оторванные войной от семей, нуждались в женской ласке. Рядовые, конечно, тоже нуждались, но у них было меньше возможностей. Офицеры же находили подруг либо из дамской части медперсонала, либо из других женских военных профессий: связисток, радисток, регулировщиц. Впрочем, об этом много написано в бэбээсовской прозе и стихах, а также снято в кино. Объяснил на всякий случай, для тех, кто не читал всю эту прозу и не видел кино.

Фронтная подруга или жена — понятие временное. По определению. Однако не все одинаково легко мирились с таким определением. Подруги, как правило, не мирились. И вообще, для многих конец войны и радость победы омрачались необходимостью расставания, трудностью предстоящего выбора. С подругой связывало многое: пройденная вместе война, её тяготы, редкие радости. Но и с женой

немало: довоенные воспоминания, мирная жизнь, часто — дети. Ну и закон, в конце концов. Так что тут нередко имели место серьёзные человеческие драмы.

В случае дяди Юры положение усугублялось его преданностью и привязчивостью. Дядя Юра, в отличие от многих других офицеров, не менял боевых подруг. Прошёл всю войну с одной и той же. У них даже родился сын.

Интересно, что привязчивость, привязанность к конкретной женщине часто уживаются в мужчине с тягой к разнообразию. Ничего удивительного. Последнее, если вдуматься, неизбежно вытекает из первого. Нормальные единство и борьба противоположностей. Это я к тому, что война закончилась, вернулась мирная жизнь, и в душе дяди Юры первое постепенно стало уступать место последнему. Но так как характер его не изменился и привязчивость никуда не делась, то тяга к разнообразию потянула его ни к кому иному, как назад к тётке Мине.

К сожалению, из-за недостатка информации мы не можем рассуждать о его, так сказать, психологических мотивах. Могу только предположить, что дядя Юра, человек, по-видимому, склонный к дисциплине, точности или, лучше сказать, определённости (чем и привлекала его служба в армии), предпочитал чёткое разделение сфер. Война есть война, со всеми её атрибутами. Мир есть мир, со всеми его атрибутами. И потому фронтовая жена или даже фронтовая семья как атрибут войны, возможно, казались дяде Юре абсолютно неуместными в мирной жизни.

Впрочем, повторяю, это только предположения. Кто знает, что и как было на самом деле? К сожалению, в данном случае я вынужден смирить воображение и не придумывать коллизий, не существовавших на самом деле. Поскольку имею дело с героем, взятым из жизни. Тут-то и замечаешь преимущество вымышленных персонажей над реальными. С первыми чувствуешь себя гораздо свободней.

Говорили, что вернувшись к тётке Мине, дядя Юра больше не интересовался ни фронтовой подругой, ни их сыном и никогда якобы с ними не встречался. Опять-таки не могу поручиться за достоверность сведений и потому не стану делать выводов насчёт дяди Юриной черствости, либо беззаветной преданности семье мирного времени, либо его нежелания смешивать сферы. Знаю, что бабушка Бася, мать дяди Юры, относилась к его сыну как к родному внуку, заботилась о нём и помогала, чем могла.

Так или иначе (и это известно доподлинно), в конце войны или сразу по её окончании дядя Юра написал тётке Мине письмо.

К тому времени он оказался в столице нашей родины. Продвинувшись на войне в чинах (или чине), амбициозный дядя Юра решил не упускать завоёванного и развить успех. То есть один из атрибутов военной поры, а именно службу в армии, он всё-таки перенёс в мирную жизнь. Не стал возвращаться к штатской профессии химика, где нужно было начинать всё сначала, а решил продолжить военную карьеру. Думаю, уже тогда генеральские погоны и фуражка с большой кокардой и золочёнными косичками на пуговичках путеводной звездой освещали его мечты.

В столице находилось военное училище — не подделка времён войны, а настоящее учебное заведение, кажется, даже не училище, а Академия. Так уважительно именовали в милитаристском государстве высшие военные школы. Там готовили офицеров командного состава для различных родов войск. Не знаю, какой род выбрал дядя Юра, и боюсь, что уже не узнаю никогда. Может быть, артиллерию? Или войска ПВО? Или что-то военно-паралитическое, имеющее отношение к его

первой специальности?

В любом случае, окончание училища гарантировало звание майора, то есть прыжок сразу через два чина. Причём продвижение зависело только от тебя самого, не от чьей-то доброй или злой воли, не от умения интриговать и пресмыкаться перед начальством, а единственно от твоих личных способностей и трудолюбия. Дядя Юра свято верил, что в училище всё обстоит именно так. Главное — хорошо, лучше отлично, учиться. Тут дядя Юра в себе не сомневался. Что-что, а учиться он умел и любил, в отличие от большинства с трудом поддающихся образованию товарищей по оружию.

Оставалось, выражаясь военным языком, обеспечить тылы. И заодно исправить ошибки молодости. И дядя Юра, к тому времени, скорее всего, уже одинокий, готовый к новой мирной жизни, написал письмо тётё Мине. Никому не известен текст письма. Кроме, конечно, самой тётё Мины. Возможно, она до сих пор хранит его. Или же письмо затерялось в переездах из квартиры в квартиру, из города в город, из страны в страну. Что нам до того? — мы, как люди воспитанные, всё равно не стали бы читать чужие письма. Тем более, что смысл письма в общих чертах известен: дядя Юра приглашал тётю Мину приехать к нему в столицу. С целью воссоединения и, так сказать, восстановления довоенной семьи.

Знала ли тётя Мина о фронтовой семье дяди Юры? Думаю, да. Это сейчас мне, постороннему, легко философствовать о диалектике привязчивости и тяги к разнообразию, а он вряд ли мог предвидеть будущее возвращение к предыдущей жене. Кто вообще думает о будущем на войне? Вполне допускаю, что в самом начале фронтового романа, в пылу нового увлечения он мог с помощью полевой почты сообщить тётё Мине о переменах в личной жизни, в надежде на то, что она, с одной стороны, как жена, конечно, огорчится, но с другой стороны, как друг, непременно порадуетсся тому, что его военный быт отчасти налажился.

Наверняка потом, ближе к концу войны, по мере приближения мирной жизни и отдаления фронтовой и созревании решения о воссоединении с первой женой, дядя Юра пожалел о преждевременной откровенности. Ведь его никто не тянул за язык. Но ничего не поделаешь. Он твёрдо решил вернуться к тётё Мине, чего бы то ни стоило, какие бы трудности не пришлось преодолеть. Всё-таки он её любил, причём давно. Ещё с довоенных времён. И решил побороться за неё. Видимо, он как следует взвесил все за и против; учёл и то, что у нас развод, а тем более двоежёнство в начале военной карьеры могут уничтожить онную в самом зародыше, и тогда прости-прощай мечта о штанах с лампасами. Ну и решился, написал то самое знаменитое письмо.

Правда, есть и другая версия. По ней дядя Юра никогда и не думал описывать тётё Мине подробности своего фронтового быта. То есть был гораздо более предусмотрителен, чем следовало из первой версии. А просто в том самом письме, написанном в конце войны, излагая тётё Мине свои планы на их совместную будущую жизнь, он, как бы между делом, вскользь, упомянул о боевой подруге, но тут же, как обычно поступают мужчины в таких случаях, надёжно перекрыл упоминание уверениями в вечной, якобы никогда не прекращавшейся любви к ней, тётё Мине, обещаниями верности до гроба и покаяниями в совершённых ошибках.

Уж не знаю, какая версия ближе к правде. Учитывая рассудительность и уравновешенность дяди Юриного офицерского характера, отдаю предпочтение второй. Хочу заметить: о том, чтоб вовсе скрыть факт измены, дядя Юра не

помышлял. Природная честность, честь и достоинство офицера не позволяли ему лгать. Да и жизненный опыт подсказывал, что тайное всегда выплывает наружу. Уж лучше чистосердечно рассказать всё самому. Так он и поступил, рассчитывая, что тётя Мина не станет заостряться на его мимолётном увлечении, а уделит основное внимание уверениям и обещаниям.

Но тётя Мина оказалась не так проста. Как филолог и романтик, она обладала хорошо развитым воображением и умела читать между строк. Сдержанного упоминания мужа о его фронтовой личной жизни хватило с лихвой. Детали она, по выражению знаменитого разведчика из телесериала, додумала сама. И несмотря на живость воображения и свободный полёт фантазии, недалеко ушла от истины. Не обратив ни малейшего внимания на уверения и обещания. Вопреки расчётам дяди Юры, она не придала им никакого значения.

Нужно сказать, тётя Мина, внешне мягкая, поэтичная, с негромким голосом и интеллигентским грассированием, внутренне была тверда, как кремь. И обидчива, как подавляющее большинство женщин. Её женская гордость была уязвлена. Лучшие чувства и воспоминания — поруганы и растоптаны. Верность и преданность неостребованны. И что же? Забыть всё это, забыть и простить, и как ни в чём ни бывало, по первому зову сесть в поезд «Город-Столица» и мчаться в объятия изменника? Нет, она на такое неспособна. Да и любая уважающая себя женщина... Не говоря уже о героинях великой русской литературы! Взять хотя бы пушкинскую Татьяну. Впрочем, тогда ещё не существовало поездов... Или Анну Каренину. При которой поезда уже были. Или ту же Настасью Филипповну из Достоевского. Хотя, причём тут Настасья Филипповна?

Нет, в данном случае великая литература не поможет. То же говорили все родственники, друзья, подруги. Подруги, те вообще возмущались, особенно незамужние: как можно капризничать, так вести себя с героем войны, тем более сейчас, когда война закончилась, и не только героев, но и вообще мужчин... Как можно так разбрасываться людьми?!

И даже родители тётя Мины, которые, как мы помним, «пришли в ужас», впервые увидев дядю Юру, тоже считали, что да, после войны мужчинами, в особенности мужьями (да даже и женихами) разбрасываться не стоит. Как всяким любящим родителям, им не хотелось, чтоб тётя Мина осталась одна, и это соображение в итоге победило традиционную родительскую неприязнь к избраннику дочери. Да и привыкли они уже к дяде Юре, невзирая на внешность, и вовсе не горели желанием привыкать к кому-нибудь другому — буде другой сыщется, что в послевоенных условиях тоже ещё вопрос. Что же касается ошибок молодости, то кто их не совершает? Вот, например, папа тётя Мины, красавец дядя Исаак, всю жизнь обожавший только одну женщину, тётя Минину маму... Но тут разговор сворачивался, и тётя Мина так никогда и не узнала, совершал ли папа ошибки молодости или только намеревался, но сумел вовремя остановиться.

Что в итоге взяло верх: общественное мнение, благоразумие или просто любовь тётя Мины к мужу — трудно сказать. Но в конце концов, она, наступив на горло своей гордости, купила билет на поезд и приехала в столицу.

За достоверность того, что происходило с дядей Юрой и тётей Миной в столице, могу ручаться, так как при этом присутствовала моя мама, тогда студентка столичного Архитектурного института.

Время было замечательное. Только что, наконец, закончилась долгая война. Победившее население в очередной раз поверило, что теперь всё изменится к лучшему. И в очередной раз ошиблось. Впоследствии многие с теплотой вспоминали военные годы. Тогда люди и государство совместно боролись с общим врагом. Кто мог подумать, что по окончании войны государство возьмётся за старое и примется воевать с победителями? Наоборот, люди верили, хотели верить, что прошлое не повторится. Хотя какие у них для этого были основания?

Основание только одно: свойственный человеку оптимизм, надежда, вера в торжество добра над злом. Надежда и вера буквально переполняли воздух столицы и всей страны, ещё до окончательной победы над врагом.

Люди возвращались из эвакуации. Вместе с заводами, научными институтами, театрами и учебными заведениями. В город возвращалась жизнь. Приведу свидетельство очевидца, моей мамы, тогда студентки, вернувшейся из эвакуации вместе со своим Архитектурным институтом года за полтора до конца войны. Отрывок из её письма, написанного семьдесят лет спустя моему сыну (цитирую с его и её разрешения):

«Москва жила в ожидании Победы, там было полно военных, которые приезжали с фронта на несколько дней, хотели попасть в театр и у входа в театр кричали: любую цену за билет! Тогда уже достать билет в театр было сложно... В день Победы мы с моими подругами побежали на Красную площадь, что там творилось это описать невозможно. Пока, будь здоров, бабушка.»

Естественно, что в таком приподнятом состоянии мало кто обращал внимание на житейские трудности. Их, как всегда в родной стране, было немало. Как всегда, две основные возвышались среди прочих: проблема жилья и недостаток еды. Того и другого никогда не хватало на всех. Тем более, в послевоенное время. Впрочем, положение с жильём и едой на родине всегда было как после войны. Поэтому население привыкло и научилось приспособливаться. Так, в обычной коммунальной квартире, где прежде жило 20-30 человек, после войны спокойно размещалось человек 40, а то и 50. И так далее. То есть проблема жилья так или иначе решалась.

Например, мою маму с подругами по возвращении в столицу поселили — как вы думаете где? Ни за что не догадаетесь. В бомбоубежище. (Клянусь, сие чистая правда, а никакой не литературный вымысел или преувеличение. Поди придумай такое!) Уже не было никаких бомбежек, война шла за пределами империи, но, как всегда, не хватало мест в студенческом общежитии. И восьмерым студенткам-архитекторшам предоставили бомбоубежище. Потом, правда, нашлась комната в общежитии, и их в полном составе, в восьмером, переселили в эту комнату. Где впоследствии они жили вдевтером.

Девятой стала тётя Мина. Тут нужно пояснить для непосвящённых: в нашей стране не принято было останавливаться в гостинице, если вы приезжали в другой город не в служебную командировку, а по личному делу. В таких случаях полагалось жить у родственников или знакомых в их и без того переполненных коммунальных квартирах или общежитиях. Все мирились с таким обычаем. Присутствие одного-двух лишних человек в толпе, как правило, не очень заметно.

И тётя Мина влилась в дружный коллектив комнаты будущих архитекторов, молодых цветущих девушек, полных нерастроченной женской энергии.

В этот цветник и пришёл дядя Юра на первое свидание с вновь обретенной женой. Мне не удалось установить, произошло это в бомбоубежище или уже наверху. Но обратимся к документу:

«Пришёл Юра. Я не помню, это было ещё в бомбоубежище или уже в общежитии. Впрочем, он пришёл. В старой шинели с чужого плеча, страшн-ы-ы-ы-й, уродливый, как всегда.»

Как вы догадываетесь, я привожу отрывок из рассказа мамы, записанный мною почти дословно.

«Нас было в комнате восемь человек, с Миной девять. Мы спали на одной кровати.»

Я тоже сперва удивился, но потом догадался, что на одной кровати спали не все девять, а только мама с тётей Миной. У остальных, несмотря на послевоенное время, имелись свои кровати.

«Юра пришёл, официально представился всем девочкам, каждой пожал руку, познакомился... И Мина ушла с ним. Они несколько раз ходили в театр, приглашали и меня с собой.»

Сколь многое открывается авторскому воображению за скупыми словами документа!

Я представляю дядю Юру в потрёпанной боями чужой шинели, худого, маленького, в пилотке набекрень. И угадываю, как тётя Мина, едва увидев его, отнюдь не потеряла самообладания, а наоборот, тут же на месте выработала линию поведения и поняла, как будет оправдывать примирение с мужем и то, что простила его: «Он был такой (всхлип)... такой... Мне стало его так жалко!» Правда, по возвращении в Город никто не требовал у неё оправданий, и, дабы заготовленная фраза со всхлипом не пропала втуне, тётя Мина сама начинала рассказ: «Он был такой... в этой обшарпанной шинели... по-видимому, с чужого плеча... Мне стало его невыносимо жалко!»

Я теперь, грешным делом, даже начинаю подозревать, что умный дядя Юра не случайно надел такую шинель, может даже специально одолжил у более крупного товарища. Он хорошо знал тётю Мину и как бы помогал ей, подсказывал, облегчал путь к отступлению.

Пока тётя Мина заглывала наживку, дядя Юра, что называется, пошёл по девочкам.

Я думаю, тут случился момент, какой бывает в жизни всякого мужчины, когда перед ним открываются неограниченные возможности. В такие минуты как-то особенно осознаёшь свою мужскую силу и привлекательность и как-то особенно горько начинаешь сожалеть об уже принятом решении, и спрашиваешь себя, не совершаешь ли очередную непоправимую ошибку. Скорее всего, дядя Юра, несмотря на непритязательную внешность, не был исключением из правила.

Я представляю, как он подтянулся, стал выше ростом, оправил шинель, обрёл выправку и чётким, почти строевым шагом подошел к первой — а, может и к последней — из замерших у кроватей семи молодых архитекторш (моя мама, кузина, не в счёт).

— Гвардии лейтенант (или кто он тогда был) Георгий Парамонов! — отчеканил дядя Юра, и это выглядело не столько как официальное представление, сколько своего рода приглашение к танцу. За четырьмя словами, произнесёнными громко вслух,

угадывались ещё три, произнесённые, но само собой разумеющиеся, вытекающие не столько из интонации, сколько из дяди юриного пронзительного артиллерийского взгляда:

— Всегда к Вашим услугам.

Затем ещё раз:

— Гвардии лейтенант Георгий Парамонов! — и молча: — Всегда к Вашим услугам.

И так ещё пять раз. Не могу поручиться, что дядя Юра служил в гвардии, но, зная его характер, уверен, что он никак не мог представиться заурядным лейтенантом без довеска.

О том, как пунцовели, таяли, робели, или, наоборот, с готовностью и не без вызова, в зависимости от характера, отвечали дамы на дяди Юрин посыл, легко догадаться по, казалось бы, невинной, но много говорящей авторскому воображению фразе: «И Мина ушла с ним».

То есть поспешила увести, как говорят в народе, козла из огорода.

Можно, конечно, долго описывать, как ходили они по вечернему праздничному городу, нафантазировать их нервный диалог, выяснение отношений, условия примирения, выдвинутые тётей Миной, обещания и клятвы, данные дядей Юрой. Но тут есть опасность: что, если примирение произошло без долгих разговоров, а просто, увидевшись после разлуки, они мгновенно осознали, что не могут жить друг без друга? В таком случае, сочиняя диалог, я погрешу против истины. Так что уж лучше пусть остаётся белое пятно, а читатель, если захочет, довообразит недостающее.

Но, возможно, выяснения отношений всё-таки имели место, поскольку тётя Мина пробыла в столице недели две, и им с дядей Юрой приходилось же о чём-то говорить в свободное от посещения театров время.

Так или иначе, с выяснениями или без, за те две недели они решили соединить свои жизни, теперь уже окончательно, и, по возможности, более не расставаться. Что и выполнили в точности, прожив вместе следующие почти семьдесят лет.

Тётя Мина вернулась ненадолго в Город: нужно было уволиться с работы, захватить немногочисленные пожитки: пальто, зимние боты, выходное платье. Ну и, конечно, попрощаться с родителями; впервые в жизни она покидала их на столь длительный срок. Скорее всего, до будущего лета... Старики (тогда ещё вовсе не старые) теперь оставались (всхлип) совсем одни. Старший сын, брат Мины, давно, ещё до войны, уехал учиться в большой город, крупный административный центр, там женился, получил работу. А других детей у них не имелось. Тётя Мина жалела стариков (пусть даже вовсе не старых) и проплакала в поезде всю дорогу в Город и обратно в столицу, в общей сложности 48 часов. Конечно, с перерывами на еду и сон. Но, может быть, как всегда в таких случаях, то были не только слёзы жалости, но и печали, прощания с детством и юностью, с родным Городом, с привычной жизнью в родительском доме. Предстояла новая жизнь, совершенно самостоятельная, пугающая, в чужом городе, среди незнакомых людей. Так что ещё неизвестно, кого больше жалела юная тётя Мина в поезде — родителей или саму себя.

Ко всем этим грустным мыслям добавлялась ещё одна: неуверенность в муже. Не говоря уже о его военном прошлом... но и в настоящем... Вон он как, донжуан этаким, распустил хвост перед девчонками в общежитии. Хотя там чуть ли не сплошные уродки, провинциалки. Ни одного интеллигентного лица!

Ну и, конечно, ревность. Всё-таки никак она не могла простить дяде Юре его фронтovou семейную жизнь. Воображение без конца рисовало картины, где на её, законной жены законном месте, находилась какая-то посторонняя женщина — посторонняя для неё, но отнюдь не для него, мужа, самого, казалось бы, близкого ей человека на земле... Какой же он близкий после этого?! (Долго думал, какой знак, вопроса или восклицания, точнее передаст состояние героини, и решил, что нужны оба.)

А ведь там у него ребёнок, причём мальчик, сын! Надежда, продолжатель, единственный продолжатель рода Парамоновых! Тётя Мина хорошо помнила частые, ещё довоенные рассуждения дяди Юры о необходимости продолжить династию, и что вся ответственность за дело продолжения лежит на нём как единственном ребёнке. Ко всему ещё его неуместная (в данном случае) привязчивость... Нет, она почти уверена, что, едва проводив её, он, бессовестный, прямо с вокзала побежал туда, во фронтovou семью, к незаконным жене и сыну! Впрочем, они, кажется, живут в другом городе, где-то на юге, у её родителей. Если он не врёт... А если даже и не врёт — что мешало ему тут же, едва махнув ей рукой на прощанье, взять билет, и на том же — на том же! — перроне, или на другом, через площадь, сесть в поезд и...

Мучимая такими кошмарами, тётя Мина страшно торопилась назад в столицу. Если муж ещё там, она не допустит... Чего? Как чего? Понятно чего — не допустит! Если же он уехал к семье, в чём она была уже почти уверена... Если только посмел! Тогда она... тогда она... Она окажется на месте первой, и если обнаружится его отсутствие, она... Она... выскажет ему всё, что думает о нём, о его донжуанстве и привязчивости, всё до конца! И вернётся домой. Домой, к несчастным старикам, которые... которые... (всхлип, всхлип, и т.п.).

Короче говоря, тётя Мина буквально в один день уволилась с работы, побросала в старый фанерный чемодан пальто и боты и, как ни уговаривали «несчастливые старики» задержаться хоть на пару дней, назавтра умчалась назад в столицу. В дороге она всё ещё торопилась, но уже как бы внутренне, подгоняя поезд. Уж больно хотелось прибыть на место раньше неверного мужа и бросить обвинения в ему лицо. Не то, чтоб она стремилась к разрыву или проявляла чрезмерную агрессивность — нет. Просто за три дня уже как-то свыклась с ролью обвинителя, неоднократно сыгранной в воображении.

Дядя Юра, которого она на всякий случай (вдруг негодяй окажется на месте) предупредила телеграммой, встречал её на перроне, как полагается, с большим букетом цветов.

То есть он, по-видимому, никуда не ездил, просто не успел бы за три дня. Хотя ещё неизвестно... Впрочем, если и не ездил — тоже мало утешительного. Ибо сие могло означать, что коварная фронтová семья притаилась где-то поблизости, в столице или области.

Поэтому тётя Мина холодно приняла букет, не отвечая на поцелуй, сохраняя суровое, типа «я ещё ничего не решила» лицо. На что дядя Юра не обратил внимания и поспешил обрадовать подругу: он нашёл для них прекрасную комнату «почти в самом центре». И тётя Мина немного успокоилась. Хоть и ненадолго.

На следующий день поехали смотреть комнату на другой конец огромного города. Ехали трамваем, потом пересели на троллейбус. От конечной остановки прошли ещё пару кварталов пешком, хотя можно было доехать на автобусе, но

автобусы ходили редко. Дядя Юра объяснил, что это не так далеко, как кажется, если считать не от того места, откуда они ехали, а от центра города. А если учесть, что комната совсем недорогая, то и вообще... можно сказать, она от центра в двух шагах.

В двух шагах от центра Земли.

Войдя в недорогую комнату, тётя Мина ужаснулась не меньше, чем её родители, впервые увидев дядю Юру. Комната оказалась почти без окон. То есть в подвале. Коммунальная квартира в подвале — были и такие в нашей замечательной стране. Образованной тёте Мине сразу пришло на ум бессмертное произведение классика «Жители подземелья». Повесть описывала тяжёлую жизнь угнетённых рабочих до революции и входила в школьную программу. Тётя Мина сама, как преподаватель родной литературы, разъясняла ученикам на примере повести страшные пороки капитализма. И вот теперь, в стране победившего социализма... Правда, в подземной коммунальной квартире, в отличие от наземных, проживало не пятьдесят человек, а всего четверо: семья из четырёх человек. Видимо, подвалы всё-таки не пользовались популярностью, даже среди непрехотливого нашего населения. У этих же четверых, возможно, имелись некие резоны селиться подальше от поверхности. И действительно... Но не будем забегать вперёд.

Лучше в очередной раз изумимся магическому свойству молодости примирять нас с жизнью, какие бы условия она не предлагала. И склоним головы перед чудесной способностью памяти освещать прошлое золотом рассветного солнца.

Четыре года в тёмном подвале «в двух шагах от центра» для тётя Миной и дяди Юры впоследствии оказались одним из самых светлых воспоминаний их долгой совместной жизни.

Тётя Мина, конечно, категорически отказалась жить «в этой землянке» и перевозить туда свой фанерный чемодан. Дядя Юра с ней согласился, но потом постепенно переубедил. Он всегда придерживался такой тактики, ещё на войне: соглашался с дураком-начальником, с тем, чтоб потом мягко, незаметно навязать ему своё мнение. Благодаря чему спас от верной смерти немало подчинённых ему бойцов.

Во-первых, подвал действительно оказался не так далеко. Просто они слегка заблудились, когда ехали туда впервые, так как дядя Юра перепутал номер троллейбуса. Во-вторых, соседи оказались замечательными людьми, уживчивыми, интеллигентными, прекрасно знающими литературу, и не только родную. Семья состояла из отца, матери и «двух чудных мальчиков». Так неизменно аттестует их моя мама, вспоминая то время: «Там жила ещё одна семья, муж с женой и два чу-у-дных мальчика.» Перед словом «семья» она обычно вставляет известное прилагательное. Какое? Вернёмся к этому через несколько абзацев.

Конечно, подвал есть подвал, условия быта в нём непросты и мало отличаются от фронтовых. Но прошедший войну дядя Юра имел опыт и постоянно делился им с тётей Миной. И всё же, для выживания в таких условиях очень важно было иметь хороших соседей. Как гласила коммунальная народная мудрость: ничего нет лучше хороших соседей и ничего нет хуже плохих. Ибо плохие соседи в условиях победившего социализма... Но по порядку.

Я уже упоминал, что сразу после войны с внешним врагом родное государство возобновило войну с врагом внутренним, то есть с собственным населением. Казалось

бы, какой смысл государству воевать с собственным населением? Я долго раздумывал над этим вопросом и пришёл вот к чему.

Руководители государства, в отличие от населения, привыкли жить в достатке и в роскоши, несмотря ни на что, ни на какие их злодеяния или ошибки, часто роковые, допущенные в политике, в экономике, и т.д. Причём они, конечно, сознавали, что их благополучие целиком построено на неблагополучии населения. И хотя они делали всё возможное, чтоб заморочить населению голову посредством пропаганды, идеологии и прочих трюков, и хотя они держали население в страхе с помощью тайной полиции, тюрем и лагерей — а всё равно боялись послушного своего, безропотного, запуганного, забитого населения.

Боялись по одной простой причине: поскольку сами они, руководители, знали, лучше, чем кто-либо другой, меру своих преступлений и степень своих бесчинств. Конечно, они умели оправдывать себя, наводить тень на плетень, но в глубине души... Ведь каждый несправедливо живущий, как бы ни преуспел в самооправдании, в глубине души (если тут уместно такое слово) знает про себя *всё*. Во всяком случае, больше, чем кто-либо другой. И одно лишь знание сие порождает страх. Каковой имеет обыкновение иногда, особенно в ночное время, выплывать на поверхность. Вместе с мыслями типа: «Ну не может же, не может быть, чтоб эти бараны без конца терпели то, что мы над ними вытворяем. Должны же они когда-нибудь опомниться. Опомниться и...» Не додумав страшную мысль, мыслитель в ужасе закрывает глаза и пытается уснуть. Но какой тут сон!

Такого рода страх не даёт человеку покоя и заставляет его принимать, как теперь говорят, превентивные меры. Не ищите тут логики, каких-либо рациональных объяснений или внятных причин политического или другого характера. Один лишь страх, физический или биологический, как вам больше нравится, владеет человеком безраздельно и заставляет его совершать всё более и более безумные поступки. Знающий меру своих преступлений всегда живёт в ожидании возмездия. Так устроен человек — даже самый безнравственный из нас каким-то образом осознаёт неизбежность возмездия. И чтоб спастись, наносит упреждающие удары. А что ему ещё остаётся?

Война государства с населением и была таким упреждающим ударом. Или серией оных, причём бесконечной.

Но так как нельзя воевать со всем населением сразу, государство поступало расчетливо: всякий раз выбирало определённую группу, с какой надлежит бороться в первую очередь. Таким образом ему удавалось привлечь на свою сторону тех, с кем борьба пока не началась. Из чувства благодарности за то, что их пока не трогают, нетронутые на радостях вместе с государством обрушивались на несчастных с невероятным энтузиазмом. Хотя через некоторое время сами попадали на их место, и другие нетронутые обрушивались уже на них, и т.д., и т.п.

Вы спросите, как, по каким признакам государство назначало группы для борьбы. Собственно, тут не существовало каких-то жёстких принципов. Ведь главное — не с кем именно бороться, кого именно преследовать, высылать, сажать в тюрьмы и лагеря или просто уничтожать. Главное — количество врагов. Так что государство не слишком заботилось о строгости критериев отбора. Например, сразу по основании государства после победы революции пришедшая к власти чернь, естественно, в первую очередь избавилась от лиц благородного происхождения. Затем как-то

получилось, что вражеские группы стали составлять по профессиональному признаку.

Началось с того, что первый послереволюционный государь, считавший себя философом, решил избавиться от конкуренции. Он, как известно, посадил всех философов страны на пароход и... нет, что вы, не утопил, всё-таки то были коллеги, товарищи по профессии. Выслал в другую страну. И с тех пор в течение семидесяти лет в нашей стране миллиардными тиражами издавали произведения только одного философа.

Следующими на очереди были инженеры. Потом военные. Потом композиторы, за ними писатели и поэты. Затем врачи. И так далее. Но поголовно всех представителей какой-либо профессии извести не представлялось возможным. Всё-таки некоторых инженеров и врачей, пару-тройку писателей-композиторов и прочих дармоедов не мешало оставить на развод. И вот, чтоб наверстать количество, тогдашний Государь придумал назначать группового врага ещё и по национальному признаку. Что было удобно с чисто технической точки зрения, так как в империи люди одинаковой национальности обычно жили в определённой её части. За исключением одной нетитульной национальности, самой зловредной, представители которой имели наглость селиться в разных местах и перемешиваться с коренным населением титульной нации или любой другой, обитавшей в данном регионе.

Интересно, что за решение национального вопроса государство взялось сразу после победы, одержанной над страной, чьей государственной идеологией был нацизм. «Мы победили нацизм!» — гордо заявляла государственная пропаганда, в то время как государство организовывало травлю, высылку и перселение куда подальше народов нетитульных наций. Что ж, давно замечено, такое случается на войне: в результате длительного совместного пребывания на театре военных действий победители как бы заражаются идеологией побеждённых и начинают проводить её в жизнь на собственной территории.

Тут уместно заметить, что свою антинародную политику государство не могло бы осуществлять столь успешно без поддержки самого народа. По крайней мере, значительной его части.

Во-первых, как я уже сказал, государство в его борьбе с врагами поддерживали граждане, временно оказавшиеся вне вражеских групп. Во-вторых, государство всегда поддерживали те представители титульной нации, которым нечем было гордиться, кроме как принадлежностью к титульной нации. Эту принадлежность они возводили в ранг особых заслуг и пользовались ею как щитом и мечом одновременно. И в-третьих, государству сильно помогали лица, использовавшие его борьбу с населением в своих мелких корыстных целях.

Например, обитатели коммунальных квартир. Где, в силу перенаселённости, градус обычной для наших людей взаимной ненависти достигал максимума. И если какой-нибудь сосед стремился избавиться от другого, ему следовало просто сообщить куда надо, что тот является злейшим врагом государства или тайно принадлежит к той группе населения, с каковой государство борется в данный момент. Что было ещё одним способом решения жилищного вопроса. Подобным образом удавалось решить также многие другие вопросы.

Вот потому-то некоторые предусмотрительные семьи из, как выразились бы теперь, группы повышенного риска, предпочитали пусть худшие, в смысле комфорта, но сравнительно малонаселённые места проживания. Как, например, соседи дяди

Юры и тётки Мины по подвалу. Они, как и тётка Мина, принадлежали к той самой зловредной нетитульной нации и не хотели раздражать своим присутствием сплошь титульных обитателей коммунальной квартиры, где прошли их детство и юность, где состарились и умерли их родители, где... Короче, смилив ностальгию, они решили не искушать судьбу и соседей и неравноценно обменяли свои две комнаты в центре на две комнаты в подвале. Рассудив, вполне разумно, что подвал всё-таки лучше, чем тюрьма или лагерь.

И вот теперь стали соседями дяди Юры и тётки Мины и вместе с ними переживали непростое послевоенное время. Переживали дружно и даже весело. Несмотря на государство. Им пока как-то удавалось не попадаться ему в лапы. Соседи были по профессии врачи, а в тот момент государство боролось с писателями. До врачей дело ещё не дошло.

Дядя Юра учился в своём Высшем училище, учился на «отлично», завоевал уважение педагогов и авторитет среди товарищей и предвкушал головокружительную военную карьеру. Тётка Мина с помощью соседей — у них, коренных жителей города, было много друзей и знакомых среди врачей и учителей — устроилась на работу в школу, где преподавала любимый предмет, родной язык и литературу.

Конечно, война государства с населением так или иначе влияла на жизнь обитателей мирного подвала. В стране, как всегда, не хватало продовольствия. Государство, впрочем, нашло выход из положения: решило провести денежную реформу. Рассчёт был на то, что если обесценить деньги в десять раз, то и продуктов обедневшее население станет покупать в десять раз меньше. Реформа не помогла. То есть, денег у ограбленного в очередной раз населения действительно стало меньше, но количество продуктов не увеличилось. Тогда государство придумало новую экономическую меру: решило не продавать продукты вообще. А выдавать их. Но не всем, а только тем, кто работал на государство. Тут пришёлся как нельзя кстати любимый коммунистический девиз: «кто не работает, тот не ест». В самой что ни на есть буквальная интерпретация. Теперь для покупки еды кроме денег нужен был ещё специальный выданный по месту работы документ, квадратик бумаги с печатью, называемый «продуктовый талон» или «карточка». Таким образом ограничивалось количество продуктов питания, выдаваемое в одни руки, и регулировалось их потребление. Систему с карточками придумали во время войны и с успехом использовали в мирное время. Причём неоднократно.

Но продуктов всё равно не хватало на всех. Однако неизбалованные наши граждане научились приспособливаться. В конце маленького подвального коридорчика соседка устроила «кухню»: столик, на нём керосинка «грец». Чудом поместился ещё один столик и «грец» для тётки Мины. В этом весьма ограниченном подвальном пространстве порой творились чудеса: буквально из ничего создавались обеды и ужины. Соседки по-братски, вернее по-сестрински, делились продуктами, какие удавалось «достать»; раз в неделю, по воскресеньям, готовили общий, на шестерых, обед. Не говоря уже о праздниках, когда в их в какой-то степени автономный от государства подвал приходили гости, друзья и родственники. Людям, как ни странно, нравилось бывать в подвале, где в воздухе, наряду с сыростью и плесенью, чувствовался дух некоей минимальной автономии. Я бы употребил другое, менее иностранное слово «независимость», но боюсь, тут оно чрезмерно.

Соседи, выросшие в северном краю, в полосе лесов приучили дядю Юру и

тётю Мину к осенним поездкам в лес по грибы. То был популярный среди жителей средней части империи промысел, хоть как-то помогавший решить проблему продовольствия. Грибы создавали иллюзию присутствия деликатеса на столе. Впрочем, почему иллюзию?

В лес по грибы выезжали рано утром в воскресенье. Ещё затемно — чтоб опередить других сборщиков. Хотя лесов вокруг столицы в то время хватало на всех, и у каждой семьи имелись излюбленные места промысла. С собой брали еду: хлеб, варёный картофель, солёные огурцы. Возвращались тоже в темноте, вечером; часть грибов тут же чистили, мелко резали и жарили с картошкой и луком — вот уж точно деликатес из деликатесов, особенно под водку. Водка, нужно заметить, в империи никогда не была дефицитом и продавалась в любое голодное либо сытое время в любом количестве и по низкой цене. Но основную часть грибов, конечно, запасали для голодной зимы: сушили, нанизав гирляндами на нитки и подвесив над керосинками, чтоб зимой приготовить наваристый без всякого мяса суп; солили и мариновали, в расчёте на праздники и всегда доступную водку. К тому же, собирание грибов у нас считалось не только добычей пропитания, но и здоровым отдыхом. Действительно, существует ли отдых более приятный, нежели многокилометровое шатание в тяжёлых резиновых сапогах и дождевиках по сырым лесам, среди коряг и бурелома, в окружении мошкары и рискуя заблудиться. Последнее, правда, не грозило, так как соседи прекрасно, ещё с детства, знали семейный грибной маршрут.

Выросший у моря дядя Юра не остался в долгу: приучил соседа к рыбной ловле. В те времена в реках и лесных озёрах вокруг столицы ещё водилась живая рыба. Рыбалка — чисто мужское занятие, без участия жён, и тётя Мина тут же насторожилась. Но соседка поручилась, что в присутствии её мужа ничего страшного, никаких отклонений от рыбной ловли произойти не может, а если дядя Юра попытается отклониться, а мужу не удастся его удержать, то ей, соседке, тут же станет об этом известно от мужа, а от неё — тётю Мине. Тётю Мину, впрочем, мало устраивал такой порядок — то есть оповещение о случившемся после того, как оно уже случилось. Она бы предпочла узнать о намерениях мужа заранее, чтоб принять меры тогда, когда их ещё можно принять. И вообще, наученная горьким опытом, не очень она, в отличие от соседки, верила в откровенность и честность мужской породы. Но что поделаешь? Не запереть же его дома, тем более перед лицом соседей — не хотелось выглядеть какой-то фурией с высшим филологическим образованием. И приходилось, скрепя сердце... Особенно тревожно бывало весной и летом, когда случались эти кошмарные рыбалки с ночевкой, якобы в палатке, у костра. Они там якобы варили уху — сами, что ли, варили? Конечно, оба утверждали, что сами, и соседка — какие, однако, были у неё основания, откуда такая уверенность! Конечно, когда возвращались с уловом... Впрочем, и это не доказательство. «Улов» можно приобрести каким-то иным способом, скажем, купить... Ну да, в обычных магазинах свежей рыбы отродясь не водилось, но ведь существовали всевозможные коммерческие рынки... не знаю...

— Что ещё за рынки, вы что, Миночка! — хохотала коренная жительница столицы. — И какие же только фантазии не приходят человеку в голову от ревности...

Тут тётя Мина начинала соображать, что да, уж больно далеко она зашла, ну таких уж глупостей навоображала насчёт какой-то мифической торговли свежей рыбой, что даже стыдно становилось. Оставалось только извиниться перед соседкой и

приняться за совместное изготовление всё той же ухи, каковая шла под водку ничуть не хуже грибов, не говоря уже о мелкой рыбёшке — её тоже нанизывали на верёвку и развешивали над керосинками, в результате чего получали ещё одну потрясающую закуску, правда, не к водке, а к пиву. Последнее, хоть и исчезало иногда на короткое время, но в принципе тоже не считалось дефицитом, и многим даже заменяло еду.

Из всего сказанного вы можете заключить, что еда в нашей стране существовала не столько сама по себе, как в других странах, сколько в качестве закуски к водке и пиву. И будете недалеко от истины.

Что же касается рыбалки, то фантазии тёти Мины сыграли и свою положительную роль. В том смысле, что мужчины постепенно сдались, вернее сдали, так сказать, крошечное пространство своей независимости и стали брать с собой на рыбалку жён и детей.

И всё-таки, были ли подозрения тёти Мины беспочвенны на сто процентов? Трудно утверждать со всей определённойостью. Но я всё же склоняюсь к тому, что процентов 99 её фантазий не имели под собой основания. Я сужу об этом опять таки по одному из рассказов моей мамы — его я услышал впервые совсем недавно и подивился тому, как такое незначительное событие отпечталось в женской памяти и не стирается вот уже в течение семидесяти лет. Притом, что вообще маман в свои девяносто два не отличается отменной памятью. К примеру, никак не может запомнить, что для ответа на полученное электронное письмо достаточно кликнуть «ответ», ну и так далее. Впрочем, она начала осваивать компьютер не так давно.

Так вот, из её рассказа напрашивается вывод, что дяди Юрина недюжинная мужская энергия оставалась в те годы почти нерастроченной или если и тратилась, то недостаточно широко. Следовательно, он, похоже, хранил верность тёте Мине, сублимируясь на учёбе и добыче пропитания.

Вот что произошло — цитирую по первоисточнику.

«Однажды мы пошли в Третьяковку (художественный музей «Третьяковская галерея»). Мы с Миной стояли лицом к картине, спиной к залу. Юра вдруг подошёл сзади и обнял нас обеих и сказал, что не мог отличить.»

Подобное объяснение, признаюсь, не кажется мне убедительным.

Действительно, мама и тётя Мина одинакового роста, почти одинаковой комплекции, имели тогда (как и сейчас) одинаковый цвет волос и вообще были похожи, тем более сзади. Да, их нетрудно было перепутать. Однако если ты ошибся и принял другую женщину, пусть даже кузину, за свою жену, то и обнять должен был только её. Зачем же обнимать обеих? Для верности, что ли, чтоб действовать наверняка? Странная логика! Нет, скорее всего, дядя Юра просто соврал, что «не мог отличить». От полноты чувств и напора мужской энергии захотелось ему обнять сразу двух. Что он и сделал, второпях придумав такое неудачное оправдание.

Сей, казалось бы, незначительный инцидент наводит на мысль о не востребованности, точнее не полной востребованности дяди Юриной мужской энергии в те времена. Что, в свою очередь, косвенно подтверждает факт его тогдашней верности тёте Мине.

В общем, всё складывалось удачно для семьи Парамоновых в те «подвальные» времена. Одно огорчало: у них пока не было детей. Казалось бы, чего тут огорчаться, люди ещё молодые, куда спешить? Тем более, в подвале — не лучшие всё-таки условия для малолетних. Но тут надо учесть, как говорится, специфику ситуации.

Близкое, ну или пусть хотя бы далёкое присутствие фронтовой семьи дяди Юры не давало тётке Мине покоя. Нужен был противовес, нечто, способное отвлечь, отвести мужа от «той», отвести навеки, насовсем, чтоб даже мысли... И привязать, тоже насовсем, к ней, тётке Мине.

Да и подруги, с которыми тётя Мина без конца советвалась, устно и письменно, обсуждала положение, щедро делилась тревогами и опасениями, тоже в один голос утверждали, что, конечно, противовес в виде своего, «родного» ребёнка необходим. А тётя Мина была из тех женщин, кто не просто слушает советы подруг, но воспринимает их как директиву, как руководство к действию. Причём к немедленному.

И вот тётя Мина, подстёгиваемая советами и собственным паническим состоянием, давила на дядю Юру. В основном мысленно и словесно. Давление, однако, как часто бывает, привело к диаметрально противоположному результату. Дядя Юра стал возвращаться из училища всё позже; тут ещё весьма кстати подоспели весенние экзамены, так что он засиживался в военной библиотеке до упора, чтоб придти домой уже после того, как жена заснёт. Подозрительная тётя Мина пыталась, конечно, выяснить, когда закрывается библиотека, но безуспешно: часы работы военных библиотек являлись государственной тайной и были строго засекречены.

Итак, несмотря на все усилия тёти Мины и пресловутую мужскую энергию дяди Юры, у них ничего не выходило. В смысле, не получалось с рождением ребёнка.

Помогла гуманная соседка. Она работала врачом в роддоме и часто рассказывала тётке Мине о безответственных матерях, отказывающихся от своих новорожденных детей. Тётя Мина не верила:

— Неужели есть такие? Что же это за матери? Просто нелюди!

— Есть, Миночка, — усмехалась соседка. — Никакие не нелюди, обыкновенные советские гражданки.

Постепенно тётя Мина стала заражаться соседкиным гуманизмом. Семена упали на почву, подготовленную великой отечественной литературой. И взошли сразу, как только соседка дала дружеский (вернее, подружеский) совет: усыновить брошенного малютку. Мы уже знаем о безотказном воздействии советов подруг на тётю Мину.

Идею об усыновлении дядя Юра поначалу воспринял как дикость. Можно представить себе ход его мыслей. Не так давно бросив одного малютку, своего собственного сына, он теперь вдруг ни с того, ни с сего должен сделаться отцом некоего малютки, не имеющего к нему никакого отношения.

Не могу поверить, что дядя Юра был настолько холодный и безчувственный человек, что никогда не думал о своём сыне от фронтовой жены. Наверняка вспоминал, возможно даже тосковал о нём, но не подавал виду, щадил ревнивую тётю Мину. А сейчас, когда начались эти дурацкие разговоры об усыновлении, всё как-то особенно... всколыхнулось, разбередилось... Благодаря усилиям тёти Мины, конечно же. На сей раз она снова, как часто происходит с настойчивыми дамами, добилась результата, прямо противоположного желаемому.

Однако со временем дядя Юрины мысли приняли несколько неожиданный оборот. Вероятно, невольно разбуженные тётей Миной отцовские чувства сыграли свою роль. Он стал понемногу сдаваться под натиском жены. Во-первых, она всё равно не отстанет. А во-вторых, что ж, пусть этот усыновлённый мальчик (обязательно

мальчик!) заменит ему... ну или не заменит, а как бы станет компенсацией... нет, конечно, не оставленному сыну, ему-то всё равно, а как бы кому-то или чему-то высшему... ну, не знаю, собственной совести, или Богу, или кто там ещё есть... Короче, гвардии курсант, атеист, отличник боевой и политической подготовки немного размяк под воздействием сентиментальных раздумий и уже как-то более спокойно выслушивал за обедом тёти Мининой, со слов соседки, рассказы о несчастных брошенных малютках.

Тут необходимо сказать, что в стране победившего социализма усыновление чужих детей не было таким же обычным делом, как в цивилизованных странах. Здесь люди много чаще отказывались от своих детей, нежели брали на воспитание чужих. Все эти проблемы с жильём, питанием и всем остальным... Самому дай Бог прокормиться.

К счастью, так рассуждали не все. Многие всё-таки рисковали и, родив детей, несмотря на трудные условия, брали на себя их прокорм и воспитание. Дети же родителей, считавших себя свободными от обязательств, попадали в так называемые детские дома. Туда же попадали дети, оставшиеся без родителей в результате борьбы государства с населением.

Из сказанного видно, что детские дома в родной стране были в числе самых востребованных, необходимых заведений. И тем не менее, у государства никогда не хватало денег на их содержание.

У государства, чрезвычайно богатого ресурсами и территорией, как я уже говорил, никогда не хватало средств и места для собственного населения. Но особенно не хватало денег почему-то именно для детских домов. А также для домов престарелых. О причинах подобного предпочтения можно только догадываться. Вероятно, брошенные дети и старики интересовали руководителей государства ещё меньше, чем остальное население. Ну и, конечно, степень безответности и беззащитности тех и других также учитывалась.

И потому обе категории домов владели жалкое, нищенское существование. На моей памяти не существовало более страшной угрозы в ссорах пожилых матерей со взрослыми дочерьми, чем полное неподдельного отчаяния:

— Вот уйду от тебя в дом престарелых!

Срабатывало безотказно. И даже если уставшая от старческих капризов дочь в глубине души не возражала против такого варианта, то фактически ни за что бы не пошла на преступление. Во-первых, что скажут люди! Ну и жалко, всё-таки мать... Нет, конечно, никуда она не пойдёт, не отпущу, уж перемереваемся как-нибудь, доживём вместе, не так уж долго... Тьфу, типун мне на язык!

Попав из родной в другую страну, несколько более цивилизованную, чем родная, я с большим удивлением наблюдал, сколь бесстрашно, иногда совершенно добровольно поселяются пожилые люди в таких домах. Впрочем, там и дома другие. Таких, как на родине социализма, нет нигде.

Что же до наших детских домов и домов малютки — редкая женщина могла сдержать слёзы, впервые туда попав. Да и многие мужчины не выдерживали. Тут же хотелось забрать оттуда всех этих несчастных детей, что, к сожалению, было невозможно.

Тётя Мина не стала исключением. Она плакала в самом доме малютки и потом, говорила, что хочет взять не одного ребёнка, а нескольких. Но трезвомыслящий дядя

Юра её отговорил. Он, правда, хотел было воспользоваться моментом и предложить тётке Мине усыновить ещё одного ребёнка — своего сына от фронтовой жены. Но сдержался. То же здравомыслие подсказало, что вряд ли тётки Минино великодушие зайдёт так далеко; да и фронтовая жена своего сына, скорее всего, не отдаст. Хотя... И всё-таки на стоит, молчи, — приказал себе разумный гвардии курсант.

Короче говоря, количество жителей подвала увеличилось до семи. Малютку звали Дмитрием, Митей; тётка Мина была в восторге и говорила всем, что Дмитрий — прекрасное имя, одно из самых распространенных в великой отечественной литературе.

Тут необходимо добавить, что существует ещё одна версия, имеющая своих сторонников — в их числе моя мама. Она утверждает, что Митю взяли то ли из дома малютки, то ли чуть ли не прямо из роддома вообще без имени. И что имя ему дала тётка Мина в честь одного из братьев своей матери, родной сестры моего деда.

В каждой советской семье имелось своё горе; не было семьи, где бы кто-нибудь не пострадал от государства в результате войн или репрессий. А государство не могло, не умело существовать без того или другого. Если поблизости не находилось какого-либо внешнего объекта для нападения, послабее да побезответнее, государство либо воевало с собственным населением, либо натравливало одну его часть на другую и затевало так называемую Гражданскую войну. Сей, на первый взгляд, оксюморон — Гражданская война — на самом деле не содержал никакого противоречия, а, как известно, обозначал войну друг против друга граждан одной страны. И вот в такой войне, случившейся в начале прошлого века, погибли, пропали без вести совсем молодыми оба старших брата моего деда и тётки Мининой мамы, тётки Манюси, — Митя и Абраша. Из пятерых детей в семье остались две сестры, Вера и Манюся, и младший брат, мой дед Мотя. Дед прошел всю первую отечественную войну, затем плавно перешедшую в далеко не первую гражданскую, заслужил Георгиевский крест и другие награды и вот теперь красуется в полном обмудировании на старом фото, которое я вожу с собой из страны в страну. Однако мой дед Матвей Григорьевич — тема другого романа, не менее увлекательного и эпичного. А пока возвращаемся к Мите.

Так вот, по второй версии тётка Мина назвала безымянного мальчика Митей в честь погибшего брата матери. Почему из двух имён братьев Мити и Абраши тётка Мина выбрала первое, сказать не могу. Но почти уверен, что назови она мальчика Абрашей, судьба его сложилась бы совсем по-другому.

Конечно, можно позвонить тётке Мине в Калифорнию и узнать, как всё было на самом деле. Однако мне не хотелось бы говорить с ней на эту тему. Читатель, уверен, поймёт меня, если наберётся терпения и проследит за ходом повествования.

Я бы погрешил против отечественной литературной традиции, если б не сказал, что Митя, кудрявый мальчик со смышлёнными глазами, стал любимцем подвала. Но больше всех, конечно, любил его дядя Юра. Он просто обожал мальчика, как родного, и гордился его смышлённостью, словно тот унаследовал его, дяди Юрины, гены.

На лето, время каникул в школе и училище, поехали в Город к родителям. Тётка Мина с Митей жили у её стариков, дядя Юра — неподалёку, через четыре квартала, у своих. С утра, запасшись южными продуктами, уезжали на целый день на обязательный пляж. Митя загорел, окреп, подрос. И приобрёл сразу двух бабушек и двоих дедушек. И те, и другие тут же привязались к мальчику; провозая детей в

Москву в конце августа, долго махали вслед уходящему поезду, причём глаза у всех четверых были, что называется, на мокром месте.

В столицу возвращались, как водится, не с пустыми руками. Тётя Мина волокла чемоданы и подростого Митю, который шёл почти самостоятельно, держась за ручку одного из чемоданов. Дядя Юра тащил два тяжелых ящика с яблоками и грушами.

Конечно, южные фрукты, слегка подгнившие, изредка появлялись в столичных магазинах. За этой гнилью приходилось выстаивать многочасовые очереди. Население предпочитало фрукты, самостоятельно привезенные с юга по железной дороге. Считалось, что москвичи, вернувшиеся из отпуска без фруктов, зря съездили. Для перевозки фруктов использовались специальные ящики из фанеры с проделанными в стенках дырками. Конечно, несмотря на дырки, в долгой дороге кое-что могло испортиться, приходилось выбрасывать — но зато фрукты настоящие, не мусор из магазина, и намного дешевле и без очереди.

Дядя Юра, изнывая под тяжестью ящиков в дороге от вокзала до подвала, представлял, как обрадуются соседи настоящим южным плодам, и с удесятёрённой энергией поднимал груз на подножку трамвая, втаскивал на заднюю площадку, в то время как тётя Мина с чемоданами и Митей протискивалась в набитый вагон с передней площадки, не забывая покрикивать с характерным грассированием: «Юра! Юра!». Желая удостовериться, что мужу с ящиками удалось втиснуться в тот же трамвай. Титульных пассажиров, конечно, раздражало её грассирование, они бросали на тётю Мину осуждающие взгляды, однако дядя Юра, нимало не смущаясь, кричал в ответ: «Миночка, я здесь! Всё в порядке!»

Забыл сказать, что дядя Юра никогда не называл тётю Мину, как во втором, так и в третьем лице, иначе, чем Миночка. При мне, во всяком случае — ни разу.

Второй год в подвале прошёл ещё веселее, чем первый. Соседи не надоели друг другу, наоборот, подружились ещё крепче. «Чудные мальчики», соседские братья-близнецы, возились с Митей в свободное время, приучали к физкультуре и спорту и однажды подарили ему большой лист ватманской бумаги и цветные карандаши. Митя трудился целый день и к вечеру завершил картину — фрагмент подвального интерьера, «кухню» с двумя столиками и керосинками. Натура была выбрана, очевидно, потому, что мальчик проводил здесь большую часть времени в первый год жизни в подвале. Картина потрясла сходством с оригиналом, отдавала кубизмом, но имела правильную перспективу и необычный ракурс. Гордость дяди Юры не знала границ. Он опять заговорил о генах и упомянул своего отца, преподавателя начертательной геометрии, но осёкся под ироническим взглядом жены.

В конце декабря на зимние каникулы в столицу приехала мамина младшая сестра. В подвале она пользовалась бешеным успехом. Оба «чудных мальчика» изъявили желание жениться на ней. Однако моя тётка смолоду славилась практичностью и, рассудив, что идея не имеет под собой никакой практической базы, вернулась в Город, где училась в Медицинском институте на гинеколога. В чём также проявилась её практичность: то была единственная врачебная профессия, где пациенты (-ки) предпочитали женщин-врачей врачам мужчинам. Тётя Мина, души не чаявшая в соседях и мечтавшая породниться с ними, ужасно расстроилась, но её быстро успокоила мать мальчиков. По-видимому, не спешившая обзавестись невесткой.

Кстати сказать, в течение долгого времени я задавался вопросом, какого же

возраста были «чудные мальчишки». Я как-то всегда представлял их детьми. В лучшем случае, подростками. Но вот на днях спросил у мамы — выяснилось, что близнецы родились на год раньше маминой сестры, то есть юным обитателям подвала перемахнуло к тому времени за двадцать. А то и за двадцать пять.

Четыре года жизни в подвале промчались как один день. Дядя Юра и тётя Мина тогда ещё не предполагали, что и вся оставшаяся жизнь проскочит так же стремительно. Молодые не подозревают о наличии у жизни сего коварного свойства: проскакивать мгновенно, как экспресс мимо полустанка, и потому они смотрят в будущее с оптимизмом — им кажется, что всё ещё впереди.

Дяди Юрина учёба подошла к концу. Ему, как отличнику, предложили для прохождения службы несколько военных округов на выбор в разных концах страны. В том числе — округ, к каковому принадлежал родной Город. Нужно ли говорить, что Парамоновы предпочли его всем остальным? Ведь оба так любили наш Город, живших там своих стареющих родителей, море, Бульвар...

Конечно, наш военный округ находился на краю империи и представлял собою не лучшее место для осуществления дяди Юриных амбиций. Он сознавал это и колебался между мечтой о брюках с лампасами и чувством семейного и сыновнего долга. В конце концов, под влиянием тётки Мины, выбрал последнее. Окончательным аргументом в пользу Города послужило то, что «у моря ребёнку будет гораздо лучше».

Нужно ли говорить, что самым драматическим моментом переезда было прощание с соседями? Все семеро рыдали. Обе соседки-подруги в голос, мужчины украдкой промокали влажные глаза. Слезы возобновлялись, после кратких пауз, и во время упаковки и погрузки накопившегося за четыре года имущества Парамоновых в контейнер, и по дороге на вокзал, и во время прощания, не говоря уже о моменте отхода поезда, когда общее горе достигло кульминации. Они как чувствовали, что расстанутся навсегда.

Невостребованная подполковничья папаха.

Так начиналась следующая полоса жизни семьи Парамоновых, полоса жизни в родном Городе, в окружении родителей и многочисленных родичей, особенно со стороны тётки Мины. К каковым принадлежал и я.

Дело в том, что к тому времени моя будущая мама тоже переехала в Город к своим родителям. По окончании Архитектурного института она как отличница учёбы получила престижную работу в столице. Однако наличие работы в столице отнюдь не подразумевало наличия жилья. Родственников в Москве у мамы не имелось, на съёмную комнату мизерной зарплаты молодого специалиста не хватало, и после года скитаний по знакомым и ночёвок у подруг она ушла с престижной работы и уехала домой.

В Городе она, как столичный специалист, с лёгкостью устроилась на работу в проектный институт, где познакомилась с моим будущим папой. В результате чего родился я.

Кстати сказать, и мой будущий папа, оказавшийся после войны в столице, в итоге тоже вернулся в Город к родителям, после того, как в Москве его дочиста обокрали высоко-квалифицированные столичные уголовники. Вы спросите, где он взял денег на билет до Города? Это уже другая история, как-нибудь расскажу.

Я считаю, мне здорово повезло, что волею судеб мои родители не встретились в столице. Ведь тогда я не родился бы в любимом Городе, не узнал бы про Бульвар, фуникулёр и песочные пирожные в магазине «Кулинария» (вдруг вспомнил: они назывались «лодочка»). И про многое другое.

Не говоря уже о том, что в моей памяти не сохранились бы пусть далёкие детские, но всё же воспоминания о жизни семьи Парамоновых в Городе. Я даже помню их квартиру, вернее комнату в малонаселённой комквартире на улице Уютной, в одном из самых поэтических районов Города. Район располагался между санаторием имени Второго поэта и парком имени поэта Т. Кобзаренко. Улицу Уютную тоже впоследствии переименовали в честь известной поэтессы Надежды Зингер, чьё детство прошло в Городе.

Но этого мало. Курорт имени Второго поэта, улицу поэтессы Зингер и парк поэта Кобзаренко соединяла улица имени великого литературного критика Мифусаила Чернявского. Клянусь, что это никакой не художественный вымысел, а чистая правда — я сочинил только фамилии, чтоб не беспокоить тени классиков.

От улицы имени критика в направлении моря шли тихие тенистые переулки с полным набором примет европейского средиземноморья: каменные ограды, увитые плющом и диким виноградом, за ними особнячки с башенками, эркерами и черепичными крышами, узенькие тротуары и мостовые из лавы и бульжника, акация, шелковица, кипарис. Переулки как-то неожиданно выходили к обрыву над морем. Идёшь по такому переулку, озираясь по сторонам, раскрыв рот от удивления — ещё бы, другой мир, Сен-Тропе, Сорренто, Утрилло — и вдруг раз: горизонт, синева моря пополам с голубизной неба. Вдоль обрыва — неширокая улица. На ней два-три трёхэтажных дома, принадлежавших военному округу. Из окон — вид на море. В одном из этих домов, на углу Уютной и улицы над обрывом (кажется, она называлась Отрадная – неподалёку находился парк и пляж Отрада), на верхнем этаже получили комнату Парамоновы.

Контраст между видом на море и видом из окна подвала был разительный. И столь же разительный контраст подвальным соседям являли соседи нынешние. Они хоть и были сослуживцами и коллегами дяди Юры, но в остальном... Впрочем, не помню подробностей взаимоотношений Парамоновых с соседями по Уютной, да и вряд ли я, в силу юного возраста, вникал в такие вещи. Исхожу из простой логики: провидение не только заботится о том, чтоб жизнь наша состояла из контрастов, но и о том, чтоб контрасты шли, что называется, по всему фронту. Так что будьте уверены: выиграв за счёт одного контраста, обязательно проиграете за счёт другого.

С тех пор надолго, на несколько лет — огромный срок для малолетнего пацана, каким был я тогда, — слово «Уютная» в моём сознании слилось с семьёй Парамоновых.

— В воскресенье идём на Уютную, — говорила мама, и я, юный романтик, начинал, пусть бессознательно, предвкушать путешествие в уголок южной западной Европы.

Впоследствии я сообразил, что, вероятно, район живописных переулков (Уютная была одним из них) когда-то считался одним из самых аристократических в городе. Здесь над морем строили себе виллы новые богачи. Побывав в Старом свете и прикоснувшись к западной цивилизации, они захотели у себя на родине устроить что-то похожее. Победа революции разрушила их иллюзии. Виллы тут же превратили в

обычные коммуналки, и они быстро приобрели тот запущенный вид, в коем я их застал.

Следующее поколение отечественных нуворишей оказалось умнее. Наученные горьким опытом предшественников, они отказались от безнадёжных попыток привить цивилизацию на родине и, за редким исключением, не рискуют строить что-либо дома, а предпочитают пользоваться тем, что построено на чужбине.

Жизнь Парамоновых в родном Городе текла спокойно и размеренно. Родители тёти Мины жили в нескольких остановках троллейбуса. Точнее, минут двадцать троллейбусом и немного пешком, и ты дома. Тут же все подруги в свободном доступе — советуйся, сколько хочешь! Хотя, решающее слово оставалось всё-таки за папой тёти Мины, кряжистым гигантом с лицом римского патриция дядей Исааком. Когда-то он служил в тайной полиции. Но не начальником оперативного отдела, как можно было предположить с первого взгляда, а всего лишь бухгалтером. Хотя, почему всего лишь? Ещё неизвестно, какая из двух профессий требует большего личного мужества.

Тётя Мина, как жена военного, получила работу преподавателя родного языка и литературы в Городском артиллерийском училище. Не очень понимаю, зачем нужны были эти предметы артиллеристам, которые во время стрельбы по целям если и пользуются родным языком, то далеко не литературным.

Дядя Юра, начиная с весны и кончая глубокой осенью, в свободное от защиты родины время занимался любимой рыбалкой. Почти не выходя из дома. То есть, конечно, из дома он выходил, спускался ему одному известными тропками по склону обрыва на скалистый берег и со скал ловил бычков и ставридку. Свежая рыба в доме не переводилась. И, главное, никаких костров и палаток, никаких отлучек с ночевкой неизвестно где!

По воскресеньям дядя Юра с Митей с утра пораньше брали лодку на соседнем пляже, выходили за волнорез на рассвете, когда на поверхности моря нестерпимо блестящими осколками зеркала колеблются солнечные пятна. Заплывали подальше и ловили скумбрию прямо с пальца, на самоллов без удилища. В те времена скумбрия ещё не покинула раз и навсегда воды Городского залива. Тётя Мина выходила на балкон, вглядывалась; ей казалось, она различает дяди Юрину и Митину гичку среди других гичек и плоскодонок, чёрточками темневших на бледно-голубой с золотом поверхности. Обильным уловом, скумбрией, бычками и ставридой тётя Мина делилась с родителями и подругами. Последние щедро расплачивались советами. В коих тётя Мина, правда, теперь не очень нуждалась.

И вот, наконец, то ли от обилия рыбы в рационе, то ли от налаженности жизни, то ли от отсутствия рыбалок с ночевкой у тёти Мины и дяди Юры родился первый (и последний) собственный ребёнок — дочь Кира. Я незначительно изменил настоящее имя, в сторону большего соответствия её характеру. Хотя и настоящее имя Киры говорило о многом.

Кире предстояло сыграть определяющую роль не только в судьбе своих родителей, но и в карьере её отца дяди Юры. И она сыграла её с блеском. Как именно — увидите из дальнейшего повествования.

Кира сочетала в себе лучшие черты членов семьи с обеих сторон: рассудительность, волю и деловитость, а также subtilность и любвеобильность отца. Авторитаризм и непререкаемость деда Исаака. Польскую гордыню и достоинство бабушки Баси. Начертательную чёткость и логику мышления дедушки

Александра Константиныча. Настойчивость матери и её голос, вместе с грассированием. И лицом она походила на мать, хотя и с некоторой примесью папы. Что, конечно, не добавляло ей красоты, но и не слишком портило — в женском варианте особенности папиного лица как-то смягчались и не производили столь неизгладимого впечатления.

Нужно ли говорить, что майор Парамонов, теперь уже отец двоих детей, служил родине верой и правдой, хоть и с перерывами на рыбалку. Я, впрочем, не очень себе представляю, в чём состояла верная служба офицера нашего спокойного южного округа, не имеющего границ ни с какими странами, кроме одной давно поработанной нашим государством маленькой страны. Но в добросовестности, инициативности и профессионализме дяди Юры не сомневаюсь. У него, во всяком случае, имелись все основания рассчитывать на повышение в чине и погоны подполковника. То был бы значительный шаг вверх. Подполковнику, как и полковнику, уже полагалась каракулевая папаха в качестве зимнего головного убора, вместо младшеофицерской ушанки. Дядя Юра, признаться, давно присмотрел себе такую в магазине Военторга на бывшей улице Герцога. И поведал об этом тётке Мине в приступе откровенности. И она, признаться, тайком от мужа сходила в Военторг и купила ему папаху в качестве новогоднего подарка, рассчитывая на то, что уж в эту их вторую зиму в Городе муж, наконец, получит заветный чин. Но ни в эту зиму, ни в следующую подполковника дяде Юре не дали.

Можно только гадать о причинах, и всё равно не угадаешь. Они могли быть самые разные. Мать — полька, жена — ещё хуже, отец — доцент... Или же начальство не могло себе представить дядю Юру в папаше, опасаясь, что его маленькая голова утонет в ней. Опасение, на мой взгляд, напрасное: торчащие уши дяди Юры наверняка удержали бы головной убор на должной высоте.

Но если говорить серьёзно — думаю, дело заключалось в том, что разрядка офицерских званий на наш периферийный округ была крайне низкой — от силы два-три звания в год на всех военных Города. И доставались они, скорее всего, тем, чьи жёны, как бы это выразиться, придерживались менее пуританских правил морали, нежели тётка Мина.

Кстати, о морали. Меня всегда интересовал вопрос: насколько активно реализовал дядя Юра свою избыточную мужскую энергию в те времена?

Сразу признаюсь, об этом ничего не известно не только мне, но и вообще никому. Возможно, кое-какие сведения имеются у тётки Мины. Но где гарантия, что они правдивы, а не навеяны всегдашней её подозрительностью и ревностью? Звонить же 95-ти летней тётке Мине в Калифорнию с тем, чтоб задать прямой вопрос, мне представляется неэтичным.

Так что снова возвращаемся в область догадок и предположений. Существует некий факт, наводящий на мысль, что в течение если не всего, то большей части того периода дядя Юра опять-таки оставался верен жене.

Дело в том, что я забыл упомянуть ещё об одном увлечении дяди Юры. Из представителей фауны его интересовали не только водные позвоночные, но ещё и теплокровные яйцекладущие, то есть птицы, а также мелкие млекопитающие и насекомые. Увлечение он унаследовал от отца. По-видимому, не одна заумная начертательная геометрия (никогда не понимал, для чего она нужна) была страстью Парамонова-старшего. Но ещё и зоология. В их доме я ни разу не видел ничего,

относящегося к начертательной геометрии, например, большого циркуля или линейки. Но навсегда запомнил обширную коллекцию бабочек в ящиках под стеклом. Бабочки настолько поражали богатством красок, что вы как-то не задумывались о том, что все они были изуверски проколоты длинными булавками, каковые, с нанизанной бабочкой, втыкались в белоснежное шёлковое дно ящика. Не помню, кому принадлежала коллекция — папе Парамонову или дяде Юре, обученному папой ловить божественные эти создания и прикалывать их под стекло, или подростку Мите; он тоже не избежал фамильного хобби.

Так вот, я полагаю, дядя Юра в те годы не слишком интересовался посторонними женщинами. Он сублимировался на рыбе и на бабочках (каламбур невольный). А также на передаче сыну мастерства их поимки и прокалывания. Всё лето гвардии майор бегал с мальчиком и сачком по склонам обрыва и полянам парка Кобзаренко в поисках редких экземпляров. И, может быть, поймав порхающую красавицу и проколов ей брюшко, он испытывал удовлетворение, близкое тому, что испытывает Дон Жуан, пленив очередную жертву.

Но наступала зима, и майора, в отсутствии бабочек и рыбы, вновь одолевали грустные мысли о недостижимой папаше. И он старался на службе, проявлял добросовестность, аккуратность и инициативу, не будучи в состоянии примириться с мыслью, что в доблестных имперских вооруженных силах звания получают не с помощью инициативы — она как раз никого не интересует, наоборот, только раздражает — а с помощью жён, подхалимажа, взяток, а лучше — того, другого и третьего вместе.

Дядя Юра бодрился, старался скрыть от тётки Мины неудовлетворенность и разочарование, но она любила мужа и чувствовала его состояние. Они иногда по ночам обсуждали сложившуюся ситуацию, тётка Мина старалась утешить дядю Юру, поддержать морально. Нужно ли говорить, что ни один из трёх вышеуказанных способов продвижения мужа по службе тётке Мине, воспитанной на великой отечественной литературе, никогда не приходил в голову. Так же, конечно, как и дяде Юре, который от мира грязной и грубой реальности всё чаще сбегал в чистый и прекрасный мир плавающей и порхающей природы.

Отечественная литература, впрочем, в силу своего тематического богатства, отражала многое, в том числе и то, как делается карьера в отечественной армии. Но госпропаганда давно убедила население в том, что все подобные безобразия творились лишь до революции и мгновенно прекратились, как только революция победила.

Так бы и остался дядя Юра пожизненным майором Городского военного округа, если бы Бог, в которого дядя Юра не верил, не помог ему. До Бога ведь всегда доходят наши просьбы, даже подсознательные, только ему нужно время, чтоб убедиться, что мы сами действительно хотим того, о чём просим.

Короче, Бог распорядился, и в наш военный округ пришла разрядка: одно место для поступления в Академию Генерального штаба. Окончание Академии обеспечивало сразу всё, о чём так мечтал дядя Юра: чин подполковника или даже полковника, службу в самом Генеральном штабе в столице, скорый генеральский чин, карьеру и все возможные льготы, недоступные рядовым гражданам.

Всем было ясно, что единственное место по праву принадлежит майору Парамонову. Своей безупречной службой он заслужил его: начальство давно мечтало

избавиться от инициативного добросовестного майора, но не знало, как. А тут такой случай!

Как ни странно, в семье дяди Юры известие о зачислении восприняли без особого энтузиазма. Так уж устроен человек. Несбыточная, на первый взгляд, мечта манит нас гораздо сильнее, чем мечта осуществлённая.

Тёте Мине не хотелось расставаться с родителями и налаженной жизнью, она грустила; дядя Юра понимал её настроение; да он и сам как-то не очень ликовал по поводу грядущего переезда в чопорную государственную столицу. Он чуть ли не был готов отказаться от Академии, но как тут откажешься... Начальство бы не позволило. Да и сама тётя Мина ни за что не допустила бы такой жертвы со стороны мужа.

В общем, все сознавали, что деваться некуда, надо ехать. Но какое-то дурное предчувствие всё же не давало дяде Юре покоя. К тому времени он уже смутно начал догадываться, что такое государство и его армия, и понял, что за любое продвижение вверх по служебной лестнице приходится платить. И что добросовестность, преданность делу, честность, талант и т. п. в расчёт не принимают, а принимают лишь такую валюту, которой не располагает — и не должен располагать — никакой порядочный человек.

Предчувствие не обмануло дядю Юру. Но — по порядку.

Подвиг Киры Парамоновой.

Итак, предстояли сборы и возвращение в столицу. Она, как я сказал, ничем более не привлекала Парамоновых. Они не надеялись застать там соседей по подвалу. Переписка с ними оборвалась по непонятной причине почти в первый же год жизни на Уютной. Пытались навести справки через общих столичных знакомых, но безуспешно. И решили — хотя боялись, не хотели думать о худшем — что соседи-врачи пострадали в очередной кампании по борьбе государства с населением, так называемом процессе врачей. Стало быть, поиски бесполезны.

В столице милитаристского государства военный люд, всякие высшие офицеры, чиновники многочисленных военных учреждений и управлений, а также низшие офицеры — адъютанты и денщики высших — составляли процентов семьдесят всего населения. Слушателю (так почтительно именовали студентов Академии), почти подполковнику или даже полковнику, полагалось более или менее приличное жильё. Все они были люди взрослые, семейные, и государство стремилось обеспечить их сравнительно хорошими жилищными условиями. К этому времени не слишком далеко от центра столицы образовался район, застроенный домами помпезной архитектуры. Все улицы района назывались именами маршалов. Некоторые из них прославились в последней войне. Некоторые не успели. По той причине, что не дожили до неё. Как раз перед самой войной (*good timing*, как говорят англичане) их объявили врагами народа и расстреляли. Однако потом реабилитировали и даже нарекли улицы в их честь. Такие перемены во внутренней политике государства случались нередко, так что если вас в нашей стране когда-нибудь репрессируют или расстреляют, не стоит отчаиваться: вполне возможно, что у вас ещё всё впереди, и есть вероятность, что ваше имя в конце концов будет увековечено в названии какой-либо улицы или проспекта. Правда, без гарантии, что вашу улицу или проспект в дальнейшем, при очередной перемене политики, не переименуют в честь того, кто командовал вашим

же расстрелом.

Квартиры в помпезных домах были просторные, с высокими потолками, двух- либо трёхкомнатные, с кухней, туалетом и ванной. Однако у государства не хватало духу поселить в каждой квартире по одной семье. Ну не могло, не могло оно допустить, чтоб собственное население, пусть даже не совсем рядовое, купалось в роскоши и существовало без соседей! Так что и эти новые, по бэбээсовским меркам чуть ли не дворцы немедленно превратили в коммунальные квартиры, хоть и малонаселённые.

Дядя Юра, глава семьи из четырёх человек, получил в одном из таких домов комнату в трёхкомнатной квартире. Две другие комнаты занимала семья из трёх человек: полковник, почти генерал, который был большой шишкой то ли в Генштабе, то ли в Военном министерстве, его жена и дочь, ровесница Киры.

Шишка был убеждён, что его преданное прислуживание государству достойно отдельной квартиры из трёх комнат, и на подселение майоришки из провинции реагировал, как на плевков в лицо. Но так как он не привык высказывать обиды и недовольства по адресу, то есть начальству, то отыгрывался на дяде Юре и его семье. В основном, на тётке Мине. Которая, как представитель нетитульной нации, вообще, понимаешь, не имела никакого права тут, понимаешь... И так далее. Гордая тётка Мина ради мужа терпела притеснения со стороны шишки и его жены, сознавая, что пикни она, хоть слово скажи против хамства и несправедливости — и Юра вылетит из Академии в два счёта, никто не станет разбираться, кто прав, кто виноват. И терпела, старалась не выходить на кухню, когда там распоряжалась горластая соседка, и пореже посещать места общего пользования, как называли в на родине ванную и туалет (о существовании персональных мест гигиены на родине в те времена ещё не подозревали).

Нужно признать, что в стране, где население питалось, готовило, стирало и т. п. исключительно дома, жизнь в условиях, вроде тех, в каких оказалась тётка Мина, если и отличалась от ада, то в худшую сторону.

Можно себе представить, с какой ностальгией Парамоновы, ныне жильцы престижного дома по улице Маршала артиллерии Грохотова, вспоминали годы, проведенные в тёмном подвале.

Они, между прочим, чуть ли не в первый день поехали туда, где находился старый дом с родным подвалом. Ни подвала, ни самого дома уже не существовало в природе. Весь этот квартал и несколько соседних снесли под ноль. Всюду возвышались строительные краны, рычали бульдозеры. И Парамоновы поняли, что та полоса жизни канула в лету, прошла безвозвратно. Грусти их не было предела. Тогда ещё довольно молодые, они не подозревали, что вся жизнь, собственно, и состоит из таких уходящих безвозвратно полос. Что, с одной стороны, не так уж плохо: со временем привыкаешь и с каждым разом грустишь всё меньше и меньше.

На месте дома с подвалом шло строительство нового жилого района. Дело в том, что политика государства тогда сделала поворот — в сторону небольшого потепления. То есть государство несколько снизило масштабы всегдашнего своего зверства. Что обычно вызывало ликование интеллигенции и оптимистично называлось «оттепелью».

Государство наконец таки решилось расселить население по отдельным квартирам, но строго следило за тем, чтоб размер каждой квартиры не слишком

превышал размеры самих будущих жильцов.

«Оттепель», к сожалению, никак не отразилось на нравах обитателей большей части квартиры на Маршала Грохотова. Как, впрочем, и на нравах большей части населения страны. Количество всенародного хамства и вражды в транспорте, магазинах и любых других местах скопления нисколько не уменьшилось, оставалось постоянным, независимо от той или иной внутренней политики. Что наводит на неприятный вопрос: а только ли государство было повинно в бедах населения? Или же оно, в поисках лучшей, так сказать, модели государственного поведения, стремилось удовлетворять вкусы подавляющего большинства?

Дядя Юра оставался верен себе: учился, как всегда, на круглые пятёрки и считался одним из лучших, если не лучшим, слушателем того набора. Он уговаривал тётю Мину потерпеть «ещё чуть-чуть», зато потом, по окончании Академии... Дальше его фантазия пока не шла, ибо он уже знал, что загадывать так далеко живущий в этой стране не должен.

Обстановка в квартире на Грохотова тем временем накалялась не по дням, а по часам. Несмотря на буквально ангельское терпение тёти Мины. А может, именно терпение её, плюс военная выдержка и корректность дяди Юры стимулировали агрессивность соседей. Известно, что хам и бандит понимает только язык силы, ему необходимо давать отпор; интеллигентность и воспитанность тут неуместны, бандит воспринимает их как трусость и готовность к капитуляции. Однако интеллигенту трудно переменить привычки и говорить со жлобом на его языке — чем тот и пользуется.

Короче, взрыв приближался неотвратимо. Дядя Юра начинал понимать, что дурное предчувствие его не обмануло. Развязка наступила почти перед самым окончанием Академии. Её главным действующим лицом суждено было стать четырёхлетней Кире, чей независимый характер и чувство собственного достоинства, унаследованные от бабушки Болеславы Михайловны, внучки польского шляхтича, проявились уже в раннем возрасте.

Чтобы читатель ясно представил себе весь, так сказать, антураж, необходимо небольшое техническое пояснение.

Я уже где-то говорил, сравнивая СССР и США, о гигантомании, свойственной обеим великим державам. Она проявлялась на всех уровнях, включая бытовую. Но бывали исключения. Например, у нас на родине гигантомания ни в коей мере не распространялась на размеры квартир в новых жилых домах. Американская же гигантомания в качестве исключения почему-то избрала такой неудачный предмет, как унитаз. Миниатюрность унитазов в Соединённых Штатах особенно бросается в глаза на фоне индустриальной широты и размаха пейзажа.

В то время, как у нас, как говорится, на чём на чём, а на размерах унитазов не сэкономили никогда. Уж не знаю, почему. То ли из всегдашнего духа противоречия по отношению к США. То ли просто потому, что понимали: ключевой атрибут мест общего пользования должен обладать вместительностью, надёжностью и солидным запасом прочности. Идея, в принципе, здравая. Но в условиях новых малогабаритных квартир порождала конфликт. Туалеты размером с карцер вмещали, кроме унитаза, только сидящего на нём человека. Сидящего, но не стоящего. Чтоб встать, необходимо было открыть дверь туалета — предварительно, полусидя на унитазе, исхитрившись надеть штаны.

У больших унитазов имелся ещё один недостаток: пользуясь ими, советские дети рисковали провалиться внутрь и, чего доброго, утонуть. Всякие сменные сидения и т. п. достижения западной сантехнической мысли до страны развитого социализма тогда ещё не дошли. Потому любящие родители приобретали для детей привычные ночные горшки. Их обычно держали в туалетах коммунальных квартир, по соседству с гигантами-унитазами.

Теперь возвращаемся в квартиру на Маршала Грохотова. Нужно сказать, младшее поколение её жильцов до известного момента удерживалось над схваткой. Такое случалось часто: дети коммунистических квартир, пока ещё не пропитанные взрослой коммунальной ненавистью, проявляли несвойственные старшим поколениям незлобивость и миролюбие. Одногодки Кира и шишкина дочь дружили, несмотря на окружающую фронттовую обстановку. Девочки использовали туалет как бункер, часто уединялись там и, сидя на горшках, мирно болтали о всякой всячине.

Тем не менее, обрывки разговоров взрослых залетали в сознание детей и настраивали его на определённую волну. Родители соседской девочки не имели ничего против Киры лично — ребёнок, что с него возьмёшь. Но вот против Кириной матери, ителлигентной тёти Мины...

В нашей стране существовало одно распространённое в обиходе слово, по сути безобидное, обозначающее этническую принадлежность или, как выражались у нас, национальность. Однако многие представители титульной нации умели так произносить это слово, что оно звучало как самое обидное и унижительное ругательство по адресу представителей одной из нетитульных. Которые так его и воспринимали. Что совпадало с намерениями титульных. Первые обижались, к восторгу вторых, а некоторые, особо гордые, могли и по морде вмазать. Так что титульные хоть и пользовались ругательным словом весьма широко, но всё же с некоторой оглядкой.

Имею все основания полагать, что в семье шишки тётю Мину не аттестовали иначе, как «эта ...» (на месте многоточия красовалось ругательное обозначение этнической принадлежности). Ребёнок, конечно, слышал термин много раз и запомнил его. Вполне возможно, не очень понимая его значения, но угадывая функцию.

И вот однажды, беседуя в «бункере», подружки затронули какой-то спорный вопрос. Разгорелся обычный чепуховый детский спор. Подружка настаивала, упрямая Кира не сдавалась. Тут шишкина дочь, привыкшая, что окружающие, учитывая папу, потакают ей во всём и лебезят, рассердилась. И решила наказать неуступчивую Киру. Она, без всякой связи с содержанием спора, неожиданно, не в качестве аргумента, а просто так, лягнула: «А твоя мама — ...».

Впервые я услышал эту историю от самой тёти Мины. Она рассказывала её нашей семье во время летнего отпуска. И хоть история чуть ли не стоила свободы, а то и жизни её мужу и ей — а уж карьеры наверняка — рассказывала тётя Мина совершенно спокойно и с таким сдержанным юмором, что я, глупый подросток, буквально валялся по полу и едва не задохнулся от хохота.

И ещё вспоминаю, что в рассказе тёти Мины присутствовала гордость за независимый характер её четырёхлетнего чада. Посмевшегося совершить поступок, акцию, направленную, пусть косвенно, против ненавистного государства, бросить ему, в лице одного из его сатрапов, своего рода вызов, осуществить дерзкий жест — то, о

чем в тайне мечтали, но на что никогда, ни при каких обстоятельствах не решились бы ни сама тётя Мина, ни миллионы других запуганных интеллигентов огромной страны.

В ответ на ругательство в адрес матери маленькая Кира замолчала. Она не стала продолжать спор. Не стала браниться и обзывать в ответ, подыскивая для подружкиной матери нечто столь же обидное. Нет.

Она молча, сжав детский ротик, поднялась с горшка. Аккуратно и тщательно привела в порядок одежду. Затем резко наклонилась, подхватила горшок, и — аллегро! — ночной сосуд в мгновение ока увенчал голову обидчицы и воцарился на ней, совсем как полковничья (или подполковничья) папаха.

Я не берусь описывать эффект, произведённый этим незамысловатым действием. Ибо не считаю возможности своего пера, да и вообще чьего-либо пера, достаточными, чтоб достойно воплотить последующую сцену. Так что целиком полагаюсь на ваше воображение.

Но думаю, автор в данном случае обязан высказать своё отношение.

Как гуманист, я далёк от безоговорочной поддержки Кириногo поступка. Считаю расправу чрезмерной и не совсем по адресу. Ребёнок, в конце концов, не виноват. К счастью, обошлось без физических травм, а с точки зрения моральной соседская девочка даже, возможно, оказалась в выигрыше и больше никогда не обижала чьих-либо мам.

В тот момент она, однако, вряд ли задумывалась о моральном выигрыше. Она издала дикий и продолжительный крик, перешедший в рёв. Тётя Мина, жившая в непрерывном ожидании худшего, моментально бросилась в туалет. Но и шишкина жена не дремала...

Когда внешние последствия были ликвидированы, тётя Мина вызвала по телефону дядю Юру. Он пришёл через час и, узнав о случившемся, едва не лишился рассудка. Всегда такой спокойный и рассудительный, теперь он бегал по комнате, как буйнопомешанный и рвал на голове и без того немногочисленные волосы. Пытался куда-то звонить. Рвался куда-то поехать. Но тётя Мина стояла насмерть, не выпускала его из дому, опасаясь попытки самоубийства.

И только к ночи, когда шоковое состояние более или менее улеглось, дядя Юра попросил тётю Мину пересказать историю снова, в деталях. После чего стал хохотать и кататься по полу — совсем, как я. Тётя Мина тоже хохотала. Вместе с родителями хохотали Кира и Митя. И, вполне возможно, коллективный парамоновский смех не прошёл мимо ушей затаившихся перед страшной местью соседей.

Забыл сказать, что за весь этот день, вероятно, один из самых непростых в жизни семьи, ни отец, ни мать ни разу не упрекнули виновницу торжества Киру. Никому не пришло в голову отругать или наказать её. Впрочем, тётя Мина, верная гуманистическим принципам родной литературы, понимала, что Кира не совсем права, и потому подавляла, хоть и с трудом, желание расцеловать дочь. И даже заметила, почти строгим тоном, что расправа была чрезмерно жестокой, что ребёнок соседей всё-таки ни при чём, что, в конце концов, существуют другие, так сказать, методы...

— Методы? — легко повторила девочка незнакомое слово. — Методы? — И заключила не по-детски трезво: — Нету на них, мамочка, других методов!

Но особенно гордился дочерью человек, больше всех пострадавший от её выходки — гвардии майор. Он, правда, ничего не говорил про гены, хотя на сей раз

имел полное право, а только сокрушался, что не с кем поделиться отцовской гордостью, кроме как с женой.

Сосед-шишка, конечно же, поклялся сжить майоришку со свету, подвести его под расстрел, в крайнем случае, засадить в тюрьму пожизненно. Он пошёл по начальству с жалобами и доносами, но безрезультатно. Дело даже не в том, что началась «оттепель» — репрессивная машина в стране работала безостановочно в любую погоду. А в сути предмета. Излагая суть жалобы, приходилось пересказывать эпизод с горшком. Начальство начинало бешено хохотать. К несчастью, именно такой сорт юмора пользовался в армии наибольшим успехом. Некоторые высшие командиры задавали вопросы, уточняли детали, затем приглашали секретарей и адъютантов и просили повторить всю историю с самого начала. И тогда целые этажи оборонных ведомств буквально сотрясались от могучего воинского гогота. После чего шишку с его жалобой никто не воспринимал всерьёз.

Особенно долго, со слезами, взмахами рук и безуспешными попытками подняться из кресла хохотал Военный министр, к которому шишке удалось попасть на приём. Предприняв очередную неудачную попытку встать, он снова рухнул в кресло в приступе смеха, но затем взял себя в руки, сделал страшные глаза и сказал тихо, но так, что мороз прошёл по шишкиной коже:

— Ты, бть, полковник, к кому пришёл? Ты, бть, сидишь тут в кабинете Военного министра великой державы и рассказываешь про что?

Не дождавшись ответа, министр нажал звонок, вошёл адъютант и шишка, бормоча извинения, не по-военному пятясь отставленным задом, покинул кабинет.

Но, конечно же, история с горшком не прошла для дяди Юры без последствий. Смех смехом, но ежели всякий низший по чину будет со всяким высшим по чину вытворять, понимаете... Чинопочитание, основополагающий принцип не только армейского, но и всего государственного устройства, не мог быть поколеблен ни на йоту, нигде и ни в чём. Государственные люди понимали, что стоит лишь допустить хоть малейшую, пустяковую слабинку — и пойдёт, и пойдёт, и рухнет тут всё к чертовой матери, и нас погребёт под обломками.

Отличника учёбы едва не отчислили из Академии. За него вступился генерал-лейтенант, проректор Академии по учебной части. Однако Генеральный штаб, служба в столице, повышение в чине — всё это прошло мимо амбициозного дяди Юры. Случилось невероятное: впервые за историю Академии её выпускник получил назначение не в штаб и не в саму Академию на преподавательскую работу, а в далёкий пограничный округ, в самую южную точку империи, горный посёлок Лентаракань. Для прохождения дальнейшей службы в качестве заместителя начальника пограничной заставы.

Тётя Мина безутешно рыдала несколько дней. Стоило ради этого покидать родной город, родителей, ночи не спать над артиллерийскими учебниками, три года терпеть издевательства соседей... Ради того, чтобы в конце концов оказаться у чёрта на куличках, в диких горах, за гранью цивилизации, в условиях не то что феодального, но, скорее всего, ещё первобытного уклада! Она умоляла мужа тут же выйти в отставку и никуда не ехать. На что тот отвечал сдержанно:

— Миночка, не стоит так расстраиваться. Укрепление южных рубежей нашей родины сейчас является одной из первостепенных задач вооружённых сил. Естественно, что для выполнения этой задачи отбирают лучших и наиболее

образованных офицеров.

Похоже, в глубине души он всё ещё верил, что действия чиновников государства опираются хоть на какую-то более или менее нормальную логику. Или прикидывался.

Дядя Юра скрыл от жены, что перед самым окончанием Академии его вызвал проректор, тот самый генерал-лейтенант, чудом уцелевший после репрессий довоенного, военного и послевоенного времени. Он благоволил к талантливому младшему коллеге и сказал так:

— Георгий Александрович, я бы не простил себе, если б не сделал попытки... Иначе говоря, я обязан обратить ваше внимание на тот, так сказать, шанс... ну или как хотите его назовите...

Генерал вышел из-за стола и пересел на другой стул. Вынул карандаш из стакана, но писать ничего не стал.

— Я не сторонник того, чтобы вооружённые силы теряли способных офицеров из-за какой-то там ерунды, нелепой... Да. Решать, в конце концов, вам. Но, видите ли, есть способ сохранить вас для отечественной военной науки. Я был бы рад видеть вас в числе педагогов моей кафедры. Но для этого необходимо, если можно так выразиться... Вы понимаете, о чём идёт речь... — не то вопросительно, не то утвердительно вымолвил он.

— Нет, — честно сказал дядя Юра.

— Видите ли, Георгий Александрович, я, конечно, пытался сделать всё, что в моих силах, но я не всемогущ... Короче говоря, есть возможность... если это можно так назвать... В общем, вас простят, если вы, ну что ли, отделите своё имя от прямых виновников...

— Виновников чего? — опять не понял дядя Юра.

— Виновников этого глупого происшествия.

Наступила пауза. Секунд десять-пятнадцать понадобилось гвардии майору, чтоб сообразить, кого генерал деликатно называет виновниками, во множественном числе, происшествия. Ещё столько же, чтоб догадаться, какой смысл он вкладывает в обтекаемый глагол «отделить». Догадавшись, дядя Юра оценил дипломатический такт и умение генерала подбирать слова. И испытал к нему нечто вроде чувства благодарности.

— Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, большое спасибо. — Дядя Юра лихорадочно соображал, что бы ещё такое приятное сказать генералу, чтоб смягчить отказ. — Я глубоко... То есть, хочу сказать, что прохождение службы... я имею ввиду, учёбы под вашим руководством... Ну, большая честь... как говорится, счастье... для каждого офицера... который... — Дядя Юра изо всех сил тянул фразу, поскольку ещё не придумал, как дать понять старику, что не может принять его предложение.

Но тёртый генерал-лейтенант понял его без лишних слов. Он поднялся и пробормотал как-то неофициально:

— Ладно, майор, хватит... больше вопросов нет. — Помолчал и добавил: — Я, собственно, и не рассчитывал... Ну и слава Богу.

Он хотел бы сказать что-то тёплое хлипкому майору, не пожелавшему ради карьеры «отделиться» (слово-то какое гадкое подобрал, мудака я старый!) от родных людей — много ли таких видел он в этом кабинете, да и во всей этой долбаной стране! Но поосторожничал — мало ли... И просто пожал дяде Юре руку.

Дядя Юра тоже хотел сказать генералу что-то сердечное, в благодарность за понимание. Но поостерегся прослушки. И потому громко щёлкнул каблуками и выдал совершенно неуместное, но зато уставное:

— Служу родному государству!

Стали готовиться к отъезду. Митя и Кира предвкушали путешествие «в горы» не без восторга. Митя мечтал о пополнении коллекции бабочек новыми экзотическими экземплярами. Четырёхлетняя Кира, учуяв своё судьбоносное значение в жизни семьи, возгордилась и при каждом всхлипе тёти Мины изрекала наставительно где-то услышанную фразу:

— Вышла замуж за военного — терпи!

В конце концов она так достала мать избитой этой сентенцией, что та перестала всхлипывать, раз и навсегда.

Отъезд из столицы был гораздо менее драматичен, чем предыдущий, несколько лет назад. В чём проявилось единственное преимущество плохих соседей над хорошими: с ними совсем не жалко расставаться. И свойственное нам чувство печали при прощании с очередной прожитой полосой жизни сильно скрашивается радостью от мысли, что больше никогда, никогда выйдя утром на кухню или в любое иное место не увидишь эти ненавистные рожи.

Тётя Мина испытала ни с чем не сравнимое чувство освобождения от гнёта, от непрерывно поджидавшей опасности, от всегдашнего подавленного состояния и дурного настроения. Стало как-то легко на душе, действительность снова обрела краски. Дядя Юра, видимо, тоже испытывал нечто подобное. Даже предстоящая затерянная в далёких азиатских горах Лентаракань уже не казалась такой страшной ссылкой.

Часть вещей отправили в Лентаракань малой скоростью; кое-что захватили с собой в Город, где провели ещё одно счастливое пляжно-фруктовое лето. В августе, выражаясь по-военному, отбыли по месту назначения, в районный центр Лентаракань Лентараканского района одной из южных республик, принадлежащих великой империи.

Благословенная Лентаракань.

Южная республика была присоединена к империи в качестве окраины давным давно, одним из прежних Государей. Нужно сказать, что, в отличие от других империй, наша завоевывала окраины и поработщала их народы вовсе не для того, чтоб превратить их земли в цветущий сад и привить аборигенам начатки европейской культуры. А с одной только целью: увеличить свои и без того бессмысленно гигантские размеры. Ну и, конечно, чтоб поддержать миф о собственном могуществе. В него, кстати сказать, давно никто не верил. Включая само государство. Которое только делало вид, что верит, из последних сил надувая щёки и вбухивая огромные средства в финансирование гигантской армии и ненасытного военно-промышленного комплекса. Сотой доли процента этих средств хватало бы на то, чтоб содержать в порядке и сытости все детские дома и дома престарелых. Но надувание щёк представлялось руководителям государства делом гораздо более первостепенным и осмысленным.

Государство мало интересовалась завоеванными окраинами. Захватив какую-

либо очередную окраину, оно тут же забывало о её существовании. Вспоминало, если только хотело кого-то туда выслать. Ну и, конечно, если у окраины имелись какие-либо природные ресурсы, например, нефть или, скажем, рыба ценных пород, государство их реквизирировало. Но в целом окраина, пользуясь значительной удалённостью от почти вездесущего центра, жила своей жизнью, причём большинство населения даже не всегда знало, к какой замечательной стране и к какому могущественному государству оно принадлежит. Они и не подозревали, что являются частью великой империи, и объяснить им это было невозможно, так как они не понимали общеимперского языка.

По прибытии в Лентаракань Парамоновы некоторое время находились в состоянии шока. Поражало полное отсутствие в этих местах каких-либо признаков цивилизации. Даже самых примитивных, какие, худо-бедно, всё же имелись в центральной части страны.

Но возможности человека поистине безграничны. А самая безграничная из всех — приспособляемость. По-видимому, жажда жизни и страх нежизни настолько сильны в нас, что заставляют принимать всё, что бы ни подсунула беспощадная действительность.

Так и Парамоновы: постепенно смирились с окружающей обстановкой. Потом стали к ней привыкать. И в конце концов — находить преимущества и даже поводы для восторга.

Со временем дядя Юра (а отчасти и тётя Мина) осознал, что чувствует себя здесь совершенно счастливым. Во-первых, сбылась его давнишняя мечта: он освоил верховую езду. «Что ж это за воин без лошади?» — думалось ещё на фронте, но там было не до лошадей. Зато теперь — лошадь оказалась не только необходимым, но и вообще единственным средством передвижения. Дядя Юра полюбил добрых, покладистых, работающих животных. И они любили дядю Юру, прежде всего за малый вес и размер. Похоже, они принимали лёгонького всадника за одного из своих, то есть за жокея. Научившись управлять животным, майор тут же посадил на коня сына Митю. И, мечтая о семейных горных погулках верхом, стремился залучить в седло жену и дочь, но тётя Мина отказалась категорически. К тому времени несколько располневшая, она опасалась, что не сможет выглядеть в седле настоящей амазонкой. Как, например, Наташа Ростова или хотя бы Кити Щербацкая, из того же автора.

В радиусе нескольких сот километров от Лентаракани не было почти никакого жилья. Два-три горных аула, куда вели невнятные лесные тропинки. Сама застава находилась высоко в горах. Настолько далеко от чего бы то ни было, что даже диверсанты обходили её десятой дорогой. Что было нетрудно. Впрочем, какие, в самом деле, диверсанты? Чего им тут взрывать, в этом Богом забытом захолустьи?

Окружающий пейзаж, по слухам, напоминал легендарную Швейцарию, где Парамоновы никогда не были, но знали из книг и путеводителей. Причём Швейцарию, совершенно не испорченную цивилизацией. На горных альпийских лугах росла горная альпийская трава, но без обязательных швейцарских коров. В горных ручьях посверкивала форель, дядя Юра и Митя ловили её чуть ли не сачком.

— Да уж, форель и цивилизация несовместимы! — с видом знатока замечала просвещённая тётя Мина.

Она ошибалась. Во-первых, потому, что никогда не бывала в Швейцарии. Во-вторых она, как житель наглухо закрытой страны, имела всё-таки довольно смутное

представление о цивилизации.

Тем не менее, существовало кое-что поважней лошадей, пейзажа и форели. А именно, обилие кислорода. Оказавшись на заброшенной заставе, дядя Юра полной грудью вдохнул разреженный горный воздух, ощутил низкое давление, почти полное отсутствие начальства — и вдруг почувствовал неслыханную свободу. Ничего похожего он не чувствовал никогда за все годы жизни на родине, ни до, ни после Лентаракани. Пережить такое же чувство свободы и независимости от ненавистного государства выпало ему ещё только раз в жизни — в городе Санта Джессика, США. Но это случилось много позже.

Я погрешу против истины, если скажу, что в горах у дяди Юры совсем не было начальства. Любой, кто хоть немного знаком с жизнью в нашей стране, знает, что начальство там вездесуще и, как микробы или тараканы, моментально заводится везде, где поселяются люди. В горах, в тундре, в глухой тайге и даже в пустыне. Ибо быть начальником, то есть получать от государства большую зарплату, ничего не делать и иметь свободный доступ в закрома родины мечтает втайне почти каждый житель необъятной страны.

Имелось начальство и у дяди Юры. Вернее, начальник, в единственном числе. Командир пограничной заставы, старший лейтенант из местных дехкан. Как удалось дехканам, жителям аула, воспитать в своей среде лейтенанта великой армии, да ещё старшего, осталось для дяди Юры загадкой. Старший лейтенант изъяснялся на великом общеимперском с большим трудом, понимал ещё хуже, читать же и писать не мог совсем. И потому из всего текста дяди Юриного направления на службу понял только одно: круглую печать в правом нижнем углу. Печать он опознал. И поначалу решил, что майора с большой звездой на погонах с двумя полосками (у него самого было аж три звезды, но маленькие, и полоска всего одна) прислали на заставу ревизором. Поэтому долго притворялся, что не понимает, чего дяде Юре нужно. Когда же удалось объяснить с помощью пальцев и старшины-сверхсрочника, женатого на местной и немного знавшего её язык, что майор прибыл сюда для прохождения службы, лейтенант страшно обрадовался. И на радостях решил, что дядю Юру прислали ему в качестве начальника. Вообще-то не без оснований: во-первых, большая звезда на погонах. Во-вторых, на ихнем языке знает гораздо больше слов. В-третьих, старший лейтенант никак не мог взять в толк, чем он сам должен заниматься на посту начальника заставы. И его всё время тянуло в родной аул помогать старикам-родителям по хозяйству. И хоть ему нравилось начальственное своё положение, но в глубине души честный горец сознавал, что тут имеет место некая ошибка. И вот теперь, наконец, ошибку исправили, прислали настоящего начальника, хоть и совсем маленького, но с большой звездой, а он сам пока отдохнёт немножко заместителем.

В течении первого месяца службы правдивый дядя Юры ещё старался объяснить старшему лейтенанту, что это он прислан на заставу в качестве заместителя, то есть второго лица. Но безуспешно. Старший лейтенант упорно отказывался понимать, на все объяснения отвечал радушной улыбкой и безостановочно кивал. И постепенно до дяди Юры дошло, что дело тут не в языке. Нет на свете такого языка, с помощью которого можно заставить человека понимать то, чего он понимать не желает.

И дядя Юра взял руководство заставой в свои руки. С тех пор лошади, форель и даже бабочки отошли на второй план. Основное место в жизни гвардии майора заняла

его основная специальность, воинская служба. Которую он теперь нёс не только добросовестно, но вдохновенно, с инициативой и с удовольствием.

Он и раньше подозревал, что присутствие в советской армии начальства чаще всего не способствует её процветанию и боеспособности. Долго не мог понять, почему начальники, при каждом удобном случае вопящие патриотические лозунги, на деле делают всё для ослабления родной армии. Потом понял, что нет людей, более равнодушных к судьбе своей страны и народа, чем те, кто этими страной и народом руководит. Но только здесь, на далёкой Богом забытой заставе дядя Юра постиг, каких результатов можно добиться в отсутствии всех этих тупых вечно поддатых полковников и малограмотных спесивых генералов.

Номинальный начальник заставы всё реже и реже стал появляться по месту работы. По пятницам он уезжал в родной аул с ночевкой. Недели на две. Возвращался в среду и, убедившись, что в его присутствии нет особой необходимости, в пятницу, прихватив с собой мешок перловой крупы, снова исчезал. Перловка, основной и почти единственный продукт питания солдат бэбээсовской армии, в ауле использовалась исключительно как корм для домашней птицы. Дехканам и в голову не приходило, что ею может питаться человек.

Тут имеет смысл сказать несколько слов о том, как снабжалась провиантом родная армия. Впрочем, снабжение — не совсем правильный термин. Правильней было бы употребить пусть более грубое, но точное слово: разворовывание. Оно осуществлялось в несколько этапов.

Сперва происходило разворовывание денег, отпущенных государством на армейское продовольствие. То был самый высокий уровень воровства, уровень Военного министерства и его главков. Прибыль распределялась между высшими чинами и размер её соответствовал высоте их положения. На оставшиеся от высшего уровня воровства деньги закупались продукты. Начинался следующий этап, где воровали, спекулировали и жульничали уже не только чиновники, но и поставщики. Третий этап разворовывания назывался доставкой: продукты крали при погрузке, в дороге и при разгрузке. И последний этап — склад, откуда таскали уже кладовщики и продавали местному населению.

Чтоб сохранить хоть какие-то остатки продовольствия, в армии существовало негласное правило: не брать на работу профессиональных поварих, чья kleптомания была частью профессии. Иначе весь рядовой состав армии давно бы вымер от голода. Поваров набирали из числа солдат. Поскольку солдаты, даже если и захотели бы воровать, не смогли бы реализовать краденное: их не выпускали за пределы воинской части. Да уже, в принципе, и нечего было красть: из всех закупленных продуктов по назначению доходили только перловая крупа и хлеб. Из крупы варили кашу на воде на завтрак и суп на обед. Хлеб заменял всё остальное: мясо, овощи, яйца и прочие белки, жиры и углеводы.

Дядя Юра, где бы ни служил, старался не заглядывать в солдатскую столовую. Видеть этих вечно голодных девятнадцатилетних мальчишек, дорвавшихся хоть до какой-то еды, он не мог. А изменить что-либо был не в силах. Пытался, но скоро понял, что воров в его стране во много-много раз больше, чем честных людей. И потому борьба с ними, выражаясь по-военному, есть противостояние значительно превосходящим силам противника. Что по всем законам военной науки обречено на поражение.

Другое дело — в горах, на далёкой заставе, ставшей постепенно дяди Юриной вотчиной. Здесь ратный труд майора начался с решения совершенно гражданской задачи: обеспечения личного состава продовольствием.

Он не то, чтобы особенно верил во все эти прописи типа «рядовой есть основа всякой армии» или «голодный солдат есть плохой солдат». Нет, к тому времени дядя Юра, человек неглупый, к тому же женатый на гуманитарной тётке Мине, уже начал осознавать, что армия, гигантская машина для истребления одних людей другими, есть одно из самых мерзких изобретений человечества. И заботился о личном составе вовсе не из каких-то там стратегических соображений. А просто ему было жаль насильно забритых в солдаты ребят, попавших под нож сохранившейся в империи с феодальных времён всеобщей воинской повинности. В возрасте, когда растущему молодому организму необходимо нормальное питание, они постоянно мучились от недоедания. Многие заболели дистрофией. К концу службы приобретали хронический гастрит либо язву желудка. От отсутствия витаминов их кожа покрывалась нарывами, фурункулами и прочей дрянью. «А ведь любой из них мог бы быть моим сыном!» — говорил себе дядя Юра. Хотя, конечно, гвардии майор уже давно, ещё во времена службы в Городе, поклялся себе, что сделает всё возможное, чтоб сын Митя никогда не попал в славную советскую армию, рассадник всяческого безобразия, бесчинств и воровства. И клятву сдержал.

К концу первой недели службы на заставе майор разработал «Распорядок работ и занятий по несению охранно-караульной службы охраны Государственной границы нашей Родины». В названии содержалась некоторая тавтология, но опытный дядя Юра нарочно сохранил стиль, для вящей административности и дабы придать заголовку тот оттенок запутанности и бессмыслицы, который так ценили в родной армии. В верхнем правом углу стояло: «Утверждаю. Начальник заставы старший лейтенант Беймулатов. Заместитель начальника майор Парамонов.» Беймулатов, впрочем, так никогда и не узнал, что написано в «Распорядке работ», поскольку не мог его прочитать, а слушать объяснения дяди Юры в некачественном переводе старшины у него не было времени. Торопился в родной аул, к курам и гусям, нетерпеливо ожидавшим очередной порции перловки. И подписал, не читая, так как полностью доверял умному маленькому человеку с большой звездой.

Первым пунктом «Распорядка» стояло: «п.1. 7 сентября 19** года. 8:00. Километровый учебно-заготовительный марш-бросок в юго-восточном направлении.»

В юго-восточном направлении находилась бамбуковая роща, обнаруженная дядей Юрой во время конной прогулки. Туда и отправился личный состав для заготовки удилиц. И так как вторым пунктом стояло: «п.2. 14:24. Оснащение рабочего инструмента присущей принадлежностью. Ответственный зам. нач. заставы майор Парамонов.», то после обеда гарнизон заставы под руководством дяди Юры и привлечённого Мити принялся оснащать удилица леской, крючками и грузилами из личных дяди Юриных запасов.

При составлении «Распорядка работ и занятий» дядя Юра получал добавочное удовольствие, пародируя принятый в государстве идиотский язык военных уставов и инструкций, и особенно гордился «присущей принадлежностью», каковую считал стилистическим перлом сочинения.

Думаю, вы уже догадались, что стало третьим пунктом. Наутро гарнизон почти в полном составе отправился на «заготовочно-оздоровительные учения» в район

ближайшего озера, соблюдая указанную в примечании форму одежды: «сезонно-облегченную, в соответствии с местными погодно-дислокационными условиями». Дядя Юра считал, что ультрафиолетовые лучи горного солнца — лучшее лекарство от кожного авитаминоза. И под сезонно-облегчённой формой подразумевал отсутствие штанов и гимнастёрки. Так и маршировал гарнизон по горной тропе от заставы к озеру в трусах и кирзовых сапогах, с неизменными автоматами Калашникова через плечо и с удочками в руках.

Рыбы в горном озере и впадающих в него и вытекающих из горных ручьях было множество. Она прекрасно клевала на ту же перловую крупу, размоченную в воде. Кстати, с легкой руки начальника заставы перловка стала популярна в окрестных аулах. На неё перешла вся домашняя птица — куры, гуси, даже индюки. И потому дехкане охотно меняли на перловку овощи, фрукты и специи для ухи. Уха из свежей рыбы стала неотъемлемой частью рациона заставы. Кроме того, рыбу жарили, вялили, сушили на зиму. Но всё равно оставалось, поэтому дядя Юра через начальника заставы наладил обмен с крестьянами рыбы на баранину. Мясо также вошло в солдатский рацион и заготавливалось на зиму в виде солонины.

Уже к ноябрю лица солдат-пограничников разгладились, покрылись загаром и полностью утратили следы авитаминоза. Глядя на поздоровевших мальчиков, тётя Мина кончиком среднего пальца незаметно промокала слезу и испытывала тайное чувство гордости за мужа. Она больше не посмеивалась над его пристрастием к рыбной ловле. Любящим женским сердцем тётя Мина чувала, что в жизни дяди Юры наступил тот редчайший момент, когда личная страсть и общественно-служебная польза гармонически сливаются в одно и дают неоценимый результат. Благодаря такому слиянию рождаются великие произведения искусства и литературы, совершаются подвиги во имя гуманизма, как, например тот, что сейчас совершает её муж, на свой страх и риск спасая от голодной смерти и болезней несколько десятков молодых человеческих жизней.

Решив проблему продовольствия, дядя Юра занялся жилищным вопросом.

Старое кирпичное здание казармы, где жил рядовой состав, развалюху с прогнившей крышей, он решил не ремонтировать. За несколько дней «фортфикационно-строительных занятий» развалюху разобрали, кирпичи превратили в крошку для посыпки дорожек и «полигона учебных стрельбищ». И на том же месте под руководством старшины, в прошлом деревенского плотника, поставили прочную большую избу-сруб с надежной крышей из бамбука и камыша. Неподалёку соорудили баню.

Работы окончили вовремя, к началу декабря. Выпал первый снег. И в «Распорядке» заставы из всех пунктов остался один, наименее интересный: «Несение погранично-караульной службы по охране Государственной границы нашей родины».

Но молодая энергия сытых бойцов требовала выхода. Завершив заготовительные и строительные работы, изучив все возможные виды построения и ружейные приёмы, гарнизон маялся от скуки. Коллектив привык к тому, что майор генерирует всё новые и новые идеи благоустройства и жаждал продолжения. Дядя Юра, увидев ожидание в глазах подчинённых, озадачился. Похоже, на ближайшее время он исчерпал свою фантазию. Ребята сыты, получают витамины, живут в тепле — чего ещё тут придумывать?

Своей обеспокоенностью он поделился с женой. Ребята, мол, сыты, получают

витамины... и т. д. Тётя Мина, как всегда в подобных случаях, отвечала мудро, наставительно-проницательным тоном, свойственным провинциальным учителям родной литературы:

— Человеку недостаточно быть сытым и жить в тепле! Едва получив то и другое, он начинает задумываться о чём-то более высоком...

Неожиданная эта мысль произвела на дядю Юру впечатление. Он обдумывал её минуты три, затем спросил:

— Например?

— Например? Господи!.. Ну, Господи... Ну, я не знаю... ну... вспомни себя в их возрасте!

Видимо, она не имела никаких конкретных предложений и просто хотела увильнуть от ответа. Но добросовестный дядя Юра стал вспоминать себя двадцатилетнего. И забеспокоился.

Тётя Мина, конечно, тоже прекрасно помнила, каким был Юра в те годы. Молодым, энергичным, активным... Его несокрушимая настойчивость определённого рода доставляла ей тогда немало хлопот!

Дядя Юра встал с дивана, подошёл к окну. Присел к столу. Он встревожился не на шутку. Если личный состав вверенного ему подразделения... Если его мальчишки, все, как один, озабочены тем же, чем в их возрасте был озабочен он сам... Залепетал лицемерно:

— Насколько я помню, Миночка...

— Вот-вот...

— То есть я, конечно, не особенно помню... Могу ошибаться...

— Да, к сожалению, так уж устроен человек! — не унималась расфилософствовавшая тётя Мина. — С возрастом он забывает увлечения юности и подчас так никогда и не возвращается к ним...

«О чём это она?» — спросил себя дядя Юра. «О каких именно увлечениях? Если о...»

В его голове мелькнуло несколько женских имён.

«Если о... — то зачем ей нужно, чтоб я к этому вернулся? Тем более, здесь это и невозможно, никого же нет вокруг, одни лошади.» Он имел ввиду лошадей в прямом смысле, не в переносном.

— А ведь ты так бредил, так горел горел своей химией!

В первый момент дядя Юра не сообразил, о чём она и что значит «гореть своей химией». Он давно позабыл о первой профессии.

— Я до сих пор помню твои просто безумные глаза, когда ты характерным движением взбалтывал реторту... — продолжала тётя Мина грассируя, мечтательно устремив глаза в ту часть пространства, где по её представлениям располагалось прекрасное прошлое.

— Да. — кратко ответил дядя Юра, довольный, что избежал выяснений и упрёков.

— Человек только тогда и живёт полной жизнью, когда чувствует себя профессионально востребованным, когда может всего себя подчинить... посвятить...

Обычно тётя Мина, впав в педагогический тон, никак не могла из него выйти. Но сейчас, дядя Юра знал, за её риторикой крылось нечто наблевшее. Он подспудно давно уже испытывал некоторое чувство вины перед женой. В то время, как он

предавался любимому делу, купался, что называется, в профессии, с удовольствием выполняя свой воинский долг, жена буквально мучилась от профессиональной неудовлетворённости.

Тётя Мина работала в местной школе учителем имперского языка и литературы. Но, как я уже сказал, несмотря на обязательность титульного языка для всех жителей империи, никто из здешних детей его не знал. Не говорил и, что ещё хуже, не понимал. Ну и как при таких обстоятельствах прикажете раскрыть ученикам всё богатство родной литературы, все её художественные красоты и высочайший морально-этический строй? Не говоря уж об элементарных правилах правописания, грамматике там, фонетике, морфологии... То ли дело в столичной средней школе, где изучение имперского языка... Однако любая мысль о жизни в столице влекла воспоминания о кошмаре квартиры на Грохотова, что моментально снимало приступ профессиональной ностальгии. После чего тётя Мина гораздо снисходительней относилась к туземным детям и их непониманию великого общеимперского вместе с его морфологией и синтаксисом, кстати сказать, довольно запутанным. А со временем она и вовсе приспособилась (мы уже отмечали неистребимое умение человека приспособливаться ко всему на свете).

На уроках языка начинала с малого: показав на любой из имевшихся в классе немногочисленных предметов, называла его на общеимперском и добивалась, чтоб дети запомнили. Многие запоминали. Когда все предметы в классе кончились, стала приносить из дому. Затем в ход пошли части одежды — не все, конечно. Затем пейзаж за окном. К концу первого года дети выучили много слов и тётя Мина решила, что пора переходить к склонениям. Тут она столкнулась с непреодолимыми трудностями. В местном языке, как и в большинстве языков мира, не существовало склонений, и бедные дети никак не могли взять в толк, что это такое. И главное — для чего это нужно. А тётя Мина, несмотря на высшее филологическое образование, не могла им объяснить. Дошло до того, что она, в тщетных своих попытках, и сама усомнилась в пользе склонений. Иногда по ночам просыпалась в холодном поту. Ей снился кошмарный сон: глава Городской филологической школы, блестящий знаток русского языка и литературы профессор Циля Харитоновна Боярская, ныне покойная, ожив, требовала её, Мину, на экзамен, где задавала каждый раз один и тот же вопрос: кто и зачем придумал склонения и падежи. И всякий раз во сне ставила тётё Мине, в реальности круглой отличнице, двойку за то, что та не могла ответить.

В конце концов тётя Мина оставила тщетные усилия и перешла к более простым, как ей казалось, вещам: к мужским и женским окончаниям. Однако тут её ожидало фиаско ещё более сокрушительное. Оказалось, что все существительные, имеющие в общеимперском мужской род, в языке туземцев относятся к женскому, и наоборот. Из этого правила не было исключений. И попытки заставить детей поверить, что рука, дорога или овца — она, а палец, путь или баран — он, порождали дикую путанницу в их головах, они вообще переставали думать и забывали даже то, чему уже выучились.

В конце концов тётя Мина вернулась к названиям предметов. А на уроках литературы просто читала детям стихи — в надежде увлечь их музыкой великой отечественной поэзии. Дети засыпали под убаюкивающий размер бесконечного романа в стихах сочинения Первого поэта, и человеческая тётя Мина не будила их, так как знала, что многие приходят в школу пешком из далёких аулов, встают затемно и

регулярно не высыпаются.

В такой ситуации, понятно, о раскрытии художественных красот и глубокого нравственного смысла речь не шла. Тёте Мине приходилось довольствоваться малым, но мысли о собственном призвании педагога-просветителя, неустанно несущего в народные массы светоч или, лучше сказать, идеал, или даже идеалы добра и справедливости, так ярко воспетые родной литературой, не давали ей покоя.

Забегая вперёд, скажу, что дядя Юра, переживавший в лентараканские времена небывалый жизненный подъём, в конце концов решил и эту проблему. Но всё-таки для него как для настоящего командира забота о подчинённых была на первом месте.

Он всерьёз задумался над словами тёти Мины и понял, что и в самом деле недостаточно заботится о росте профессионального мастерства солдат пограничного гарнизона. Но что такое профессиональное мастерство пограничника? Не очень он в этом разбирался, к сожалению. Ведь он по специальности был артиллерист. А на заставе, как назло, ни одной пушки! Не говоря уже о современных ракетных установках. Даже и заваливающей зенитки, или хотя бы гаубицы, или просто элементарного миномета — и то не имелось.

Находишься гвардии майор в нормальных условиях, сходил бы в ближайшую военную библиотеку, почитал бы литературу. Но в радиусе тысяч километров — ни одной военной библиотеки! А выписывать книги из центра — жди, пока почта доберётся до самой крайней окраины, через горные перевалы и снежные заносы... Поэтому дядя Юра решил воспользоваться своей головой. Он стал вспоминать всё, что когда-либо читал и смотрел в кино о жизни и быте пограничников. И сразу нарвался на важную деталь, присущую классическому стражу рубежей, но отсутствующую на его заставе. Как мог он упустить такое!

Ведь стоит лишь произнести вслух слово «пограничник» и мысленно представить живой, так сказать, образ, как сразу видишь стальную фигуру в фуражке и гимнастёрке с «калашниковым» через плечо, биноклем у глаз и поводком в руке. А на поводке он, четвероногий друг, непримиримый враг диверсантов всех мастей, служебная собака.

С той минуты, как дядю Юру посетило это видение, жизнь на заставе снова забила ключом. В Распорядке появился новый пункт: Военизированной-селекционная операция «Четвероногий пограничник». Начались регулярные поисковые экспедиции в аулы по отбору щенков, будущих стражей государственной границы. Щенков выменивали всё на ту же перловую крупу. Местные же пастухи, прослышав об операции, приносили щенков на заставу безвозмездно.

Неподалёку от избы-казармы построили вольер. Щенков решили дрессировать с детства. Способные животные быстро усвоили простейшие команды «сидеть-лежать-стоять». Настала пора переходить к главному номеру программы: «Захват нарушителя границы, вооружённого ножом, пистолетом, палкой и проч. видами огнестрельного либо холодного оружия». Тут начались проблемы. Дело в том, что поколения местных собак знали только одну работу: сгонять в стада разбредшихся по пастбищу овец. Для чего не требовалось никаких особых умений, кроме как быстро бегать и громко лаять. В то время как для захвата нарушителя приходилось «издавать угрожающее рычание», осуществлять «разоружение противника путём захвата в пасть кисти вооружённой руки последнего», валить нарушителя на землю в прыжке «путём упора передних конечностей в грудь или спину стоящего, идущего, а также бегущего

(убегающего) объекта».

Нужно ли говорить, что цитируемую здесь «Служебную инструкцию по овладению основами и необходимыми навыками дрессировки для военнослужащих и служебных собак» дядя Юра разработал самостоятельно?

Но миролюбивые местные щенки ни за что не хотели бросаться на человека. Тем более на хорошо знакомого — за время совместной жизни на заставе люди и собаки сдружились, и щенки тут же признавали своего в любом переодетом на время дрессировки в дранный ватник бойце-«нарушителе».

Дядя Юра пришёл в отчаяние — операция «Четвероногий пограничник» оказалась под угрозой срыва. Долго думал и придумал: вместо тренировочного ватника «нарушителя» стали одевать в безрукавку из овечьей шкуры. Учувя запах овцы, собаки начинали бегать вокруг «диверсанта» с весёлым лаем; это хоть и не по инструкции, но всё же лучше, чем ничего. Ну и, так или иначе, дневное время бойцов гарнизона, свободное от заготовки еды, дров и несения службы, было теперь занято.

Пора подумать о вечернем времени. Дядя Юра снова применил собственную голову, в результате чего родилось новое начинание, на этот раз военно-культурно-просветительное. Почему впереди стояло обязательное слово «военно», вы догадываетесь. Без него никак нельзя обойтись в воинской части, принадлежащей Украинному военному округу Военного министерства государства, вечно находящегося в военно-осадном положении.

Кажется, я ещё не говорил об одной важной особенности имперской армии. В неё, конечно, призывались молодые люди всех без исключения народов великой страны. Но место их службы всегда выбиралось с учётом географии. Жители южных окраин служили, как правило, на далёком севере. Северяне — на юге. И так далее. Тут имелся государственный умысел. Так как государство панически боялось собственного народа и всегда ждало от него каких-нибудь бунтов, восстаний и прочих пакостей, то главной задачей армии являлась не столько борьба с потенциальным внешним врагом, сколько с гипотетическим внутренним. Доблестные вооружённые силы всегда должны быть готовы к подавлению возможных беспорядков и волнений среди мирного населения. Но годны ли рекруты из местных для выполнения такой воинской задачи? Станут ли они с должным рвением подавлять, разгонять, а если понадобится и отстреливать бунтовщиков из числа своих родственников, друзей и знакомых? Государство опасалось, что нет.

Другое дело — незнакомые, просто посторонние люди, не связанные с молодыми бойцами узами родства либо дружбы. Тут, конечно, гораздо больше шансов, что у воина родом из дальнего аула, целящегося в какого-нибудь демонстранта в столице, как в песне поётся, «не задрожит рука».

Этот-то варварский обычай и был использован дядей Юрой в самых что ни на есть гуманных, просветительских целях. Вот что значит сила профессионального вдохновения в сочетании с творческой энергией добра и сострадания! Она творит чудеса; едва прикоснувшись ко всяческому негативу, тут же превращает его в позитив.

Читатель уже сообразил, на основании вышеизложенного, что на заставе дяди Юры, расположенной на крайнем юге, служили ребята с севера, северо-запада и северо-востока страны, светлоглазые и светловолосые представители титульной нации. Все они, так или иначе, владели родным языком. Во всяком случае, понимали без проблем.

И кому, как не им, обустроенным бытово, накормленным, постоянно повышающим профессиональное мастерство, неустанно отрабатывая и совершенствуя вместе с четвероногими питомцами приём «захват нарушителя, вооруженного палкой» — кому же, как не им самое время теперь поведать о высоких идеалах добра и справедливости, воспетых великой отечественной литературой?

И кто, как не Мина, высококвалифицированный педагог со стажем работы как в столичных школах, так и в воинских частях, включая Краснознамённое Ордена Боевого Красного Знамени Городское артиллерийское училище, может выполнить эту культурно-воинскую (дядя Юра подумал и всё-таки поменял местами: воинско-культурную) задачу на должном уровне? Да и вообще, честно говоря, поднадоело ему её ежевечернее нытьё и сетования, что «не для того она посещала лекции великой Цици Харитоновны, чтобы на старости лет объяснять туземным детям, как называется стул».

Он долго думал, как преподнести свою идею жене. Нет, он не сомневался, что она воспримет её с восторгом. Лекции о родной литературе для личного состава, говорящего на одном и том же с тётёй Миной, одном единственном языке — чего ещё желать? Но был также уверен, что восторг она попытается спрятать как можно глубже. Так уж устроены женщины, да и вообще все люди, за небольшим исключением, — они редко радуются чужим идеям, а если и радуются в глубине души, то стараются не подать виду.

Между прочим, многие довольно здравые идеи погибли по такой совершенно нелепой, глупейшей причине.

И вот дядя Юра решил применить старинное средство. Средство безотказное, поскольку оно состояло в том, чтоб повернуть дело так, словно предлагаемая идея не ваша, а того, кому вы хотите её навязать. Ведь своя идея — это совсем не то, что чья-нибудь чужая! Она ведь пришла в вашу собственную голову, а не в голову какого-нибудь постороннего, к сожалению, не слишком умного, вобщем-то вполне заурядного... хотя бы и мужа, но тем не менее...

Вобщем, дядя Юра стал вслух в присутствии тёти Мины регулярно сокрушаться насчёт того, что вот, мол, всем хороши мои ребята, но их культурный уровень... Страшно подумать... Очень низкий и падает с каждым днём. Тётя Мина поначалу не обращала внимания. Так как была занята своим («А я ведь была лучшей ученицей самой Цици...»). Но постепенно стала прислушиваться и вовлеклась. И в конце концов, предложила дяде Юре его же собственную идею.

— А что, если... — сказала она однажды, — ну... попытаться что-то предпринять в этом направлении.

Дядя Юра насторожился.

— То есть в плане культурного уровня твоих бойцов...

— Например? — спросил он скептически.

Интонацию скептицизма продумал заранее и применил намеренно, чтоб раззадорить тётю Мину. Она, конечно, попала на крючок.

— Например? Ну, я не знаю... — Она знала, но зачем-то делала вид, что импровизирует. — Ну, может быть, что-то вроде каких-то лекций, не знаю, там курсов повышения...

— Повышения? Чего? — Дядя Юра тоже прикидывался, работал под дурачка. Не хотел играть в поддавки. Пусть она выскажется определённо, сформулирует без

недомолвок.

Это-то и раздражало тётю Мину, которая почему-то стеснялась называть вещи своими именами. Но она думала, что раздражает её мужнина несообразительность.

— Ой ну я не знаю! Чего-чего! Того самого!

— Что ты имеешь ввиду, Миночка? — Спросил дядя Юра как бы испуганно, не выходя из роли.

Вопрос сам по себе и тон, каким этот кретин его задал, подразумевали нечто... некую, что ли, двусмысленность, такого, что ли, нелитературного, чуть ли не скаб... да-да, скабрезного! Скабрезного оттенка!

Скабрезностей неиспорченная тётя Мина не терпела. Просто их ненавидела! Они выводили её из себя.

— Идиот! — закричала она. — Мужлан! Солдафон! Сексуальный маньяк!

Похоже, она до сих пор не могла простить мужу старую фронтовую измену. Ибо никаких других видимых причин инкриминировать ему сексуальные излишества у неё не было. Особенно теперь, когда вся его мужская энергия отдавалась работе.

В другое время дядя Юра бы обиделся и ускакал на заставу. Но сейчас помнил о высокой своей задаче и потому проявил терпение. Однако все же он никак не мог пропустить мимо ушей последнее обвинение, особенно обидное — тем более обидное, что совершенно незаслуженное! Он, можно сказать, как дурак... Ладно.

Дядя Юра выдержал паузу, придал лицу выражение сдержанной обиды и сказал тихо:

— Мне кажется, я не заслужил подобных обвинений. Сексуальный маньяк! Это, Миночка, по-моему, черезчур. По-моему, я никогда, особенно в последнее время...

Тут он понял, что рулит не туда. Остановился, сглотнул, изображая крайнюю степень обиженности. Снова сделал паузу.

— Стремлюсь... Стремился... всегда стремился... — Он снова сглотнул. И замолчал. «Ладно, пусть теперь крутится...» — подумал не без злорадства.

Но тётя Мина тоже не хотела, как говорят шахматисты, упускать инициативу.

— В последнее время!.. — произнесла с максимально возможным сарказмом. — В последнее время...

И тоже замолчала.

Молчали оба. Молчание затянулось. Оба понимали, что нужно как-то вернуться к теме повышения культурного уровня солдат гарнизона, но не знали, как. Подобное часто случается во взаимоотношениях между людьми, состоящими в браке: личное вытесняет общественное, в результате чего последнее постепенно отходит на задний план, а затем и вовсе растворяется во мраке.

Тётя Мина, однако, как человек по природе не злой, отходчивый, понимала, что накричала на дядю Юру напрасно. То есть, не совсем, конечно, напрасно, но всё-таки черезчур. Но разве могла она признаться в этом мужу? Как! Признать такое, уронить в грязь своё женское достоинство? Ни за что! Пусть лучше... пусть лучше... Что? Тётя Мина не знала. И потому применила испытанное средство: стала потихоньку всхлипывать.

Дядя Юра приуныл. Не то, чтоб он принимал её всхлипы близко к сердцу, нет; слава Богу, привык за годы совместной жизни. Но ведь на них нужно было как-то реагировать, ибо отсутствие реакции влекло к дальнейшим всхлипам, постепенно переходящим в рыдания, а после рыданий наступало самое

страшное: тётя Мина замолкала. И надолго. На неделю, иногда на месяц. Причём она не прекращала выполнять домашние обязанности — готовку, стирку и т. п. Но выполняла их молча, с неприступно-каменным лицом и глазами великого стратотерпца. Чего дядя Юра не переносил. Несколько раз в подобной ситуации, в начале их семейной жизни, пытался объявить — не вслух, конечно — голодовку. То есть питаться вне дома. Легко догадаться, чем это заканчивалось для тщедушного дяди Юры в условиях советской системы общественного питания. Он буквально на глазах терял последние свои киллограммы. Пришлось научиться реагировать на всхлипы. То есть притворяться, изображать всю эту... Бр-р!

Но сегодня!.. После совершенно неза заслуженного сексуального маньяка — главное, были бы хоть какие-то основания, а так, без всяких оснований, когда он уже, можно сказать, несколько лет, как дурак... Нет, это слишком. Нельзя позволять унижать себя до такой степени, надо оставаться... быть... да!

И потому, впервые за много лет, дядя Юра, набравшись выдержки, молчал, не реагировал на всхлипы тётя Мины.

И произошло чудо. Она заговорила. Профессиональный педагог внутри тётя Мины, похоже, одержал победу над женской её природой, и сквозь всхлипы донеслось, как бы через силу:

— А ведь я хотела... Я же не ради себя! Я же для тебя старалась, для твоих же солдат!

Тётя Мина набрела на интонацию укора и держалась её, постепенно переводя в обвинительную:

— Как же можно было так! Так... поглумиться... так оплевать!.. оплевать...

Снова последовала солидная порция всхлипов, во время которой тётя Мина лихорадочно подыскивала новые обвинения, а дядя Юра не столько дивился способности жены преворачивать всё с ног на голову (к чему он тоже привык), сколько тому, с какой находчивостью и неисчерпаемой фантазией всякий раз выполняет она сей нехитрый трюк. «Вероятно всё-таки — думал он — тут сказывается и начитанность её незаурядная, и образование, и... »

Тем временем тётя Мина, не найдя обвинений, перешла, наконец, к сути:

— А ведь я всего только и хотела, что предложить литературную лекцию — пусть короткую, небольшую, но для начала... для начала... — сказала она сквозь слёзы и снова вернулась к всхлипам. Но уже не столь интенсивным.

Вобщем, дядя Юра добился своего. На заставе, в красном уголке начались сперва отдельные, потом регулярные ежемесячные, а затем и еженедельные лекции о родной литературе. На родном языке. Тётя Мина подробно, по памяти и с цитатами пересказывала бойцам многочисленные рассказы, повести и романы, читала стихи. Бойцы слушали, как замороженные. Правда, во время лекций они не столько вникали в содержание, сколько поедали глазами тётю Мину, находившуюся в те годы в расцвете лет и женской красоты.

Дядя Юра опять вспомнил себя в возрасте своих солдат и опять забеспокоился. В результате договорился с директором местного клуба и перенёс лекции туда. Теперь тётя Мина пересказывала романы по воскресеньям в большом зале, куда для заполнения зала кроме воинов-пограничников допускались местные жители. Из жителей интерес к русской литературе проявляли, в основном, лица женского пола не старше тридцати лет. Они не понимали многого из того, что говорила тётя Мина, но

не слишком расстраивались. Так как приходили на лекции не для того, чтоб послушать тётю Мину и уж во всяком случае не ради великой литературы.

И снова дядя Юра проявил проницательность, психологическое чутьё и заботу о подчинённых. Он и тут придумал, как сочетать полезное с приятным. После литературных лекций стали устраивать танцы.

Теперь, наконец, наступила полная гармония всего и вся. Дядя Юра ходил среди всеобщего праздника как автор и главный герой. Так продолжалось до весны, пока горные перевалы и тропы, засыпанные снегом, отделяли Лентаракань от остального мира. Ближе к лету дядя Юра забеспокоился. Он боялся, что восстановившаяся связь с внешним миром нарушит созданную им на отдельно взятой заставе гармонию и торжество здравого смысла. Что, если об этом прознает начальство? Что, если кто-нибудь донесёт, сообщит наверх обо всех его... художествах? И дядя Юра, не сделавший ничего дурного и противозаконного, а, наоборот, творивший добро и соблюдавший законодательство, занервничал. Он чувствовал себя как человек, совершивший тайное преступление и ждущий расплаты. Слишком хорошо понимал к тому времени, в какой стране выпало ему родиться и с каким государством приходится иметь дело.

Однако страхи его оказались напрасны. Он недооценил местные условия. Во-первых, здешние жители не могли бы заняться доношением, даже если бы захотели — в силу незнания общеимперского, единого для всех доносов, языка. Во-вторых, они были людьми честными, весьма далёкими от моральных принципов, исповедуемых титульным большинством, и потому в их среде доношение считалось занятием подлым и не практиковалось.

В конце лета, когда спала жара, на заставу приехала инспекция из Центрального Управления охраны границы. Дядя Юра знал заранее и подготовился. Прежде всего, с точки зрения краеугольного, так сказать, аспекта советской жизни — питания. Мысли начальства были заняты едой ничуть не в меньшей степени, чем головы рядовых граждан. У начальства просто имелось больше возможностей; ну и соответствующий аппетит и размер желудков.

И вот, едва выйдя из автомобиля, начальство оказалось за накрытым прямо во дворе заставы столом. А на столе закуски: форель холодного и горячего копчения и вяленая, форель простого и пряного посола, икра форели малосольная. Два первых блюда: уха из форели, суп харчо из баранины. На второе: форель разварная под польским соусом, форель жаренная с картофелем фри, молодой барашек в молодом вине, баранья нога. Вернее, ноги. Ну и фрукты и овощи из летне-осеннего урожая — начальство знало, в какое время года лучше всего инспектировать заставы на южных окраинах своей великой и обильной страны. В больших бутылках между блюдами стояла ключевая вода — то есть, конечно, местная водка, по чистоте и прозрачности ключевой воде не уступавшая, и по виду такая же. Была, впрочем, и вода, причём в таких же бутылках. К ней начальство не притрагивалось, каждый раз безошибочно наливая себе и другим из бутылок с водкой. Дядя Юра просто поражался наметанности глаза и чутью, с которым начальство отличало водку от воды.

Застолье продолжалось до глубокой ночи, так что в день приезда проинспектировать заставу не удалось. На следующее утро, ближе к полудню, когда начальство проснулось, гарнизон выстроился вдоль посыпанных битым кирпичом дорожек. Дорожки, посыпанные битым кирпичом, дядя Юра знал, почему-то всегда

приводили отечественное военное начальство в неопиcуемый восторг. На гарнизоне была почти новая, ни разу не надёванная за лето военная форма. Начищенные сапоги и ременные пряжки сияли на полуденном солнце. Рядом с каждым пограничником смиpно сидел четвероногий друг на поводке.

Когда из построенной за лето гостевой избы появилось, отпрыгивая вчерашним барашком, проспавшееся начальство, собаки весело залаяли. Они реагировали на знакомый запах, но начальство восприняло их лай как приветствие. Видимо, дяди Юрин расcчет оказался точен: после вчерашней трапезы инспекция обрела позитивный настрой по отношению ко всему, происходящему на заставе.

— Вольно! — скомандовал дядя Юра. — P-разойдись!

Воины стремительно разошлись, и взору проверяющих открылось — что бы вы думали? Ну конечно — стол, накрытый для завтрака. Но так время было ближе к обеду, то завтрак естественно перешёл в обед, а затем и в ужин.

Начальство отбывало на следующее утро. Ближе к полудню. Так что успели ещё раз позавтракать, заодно и пообедать. Пока обедали, воины грузили в начальнический джип ящики с сушённой форелью и бараниной, и, натурально, другие ящики побольше, с южными фруктами. Дырки в стенках ящиков проделывали под личным руководством опытного дяди Юры. Бутыли с водкой укладывали в особые плетённые корзины с соломой.

До конца сезона сбора урожая на заставе побывало ещё две инспекции из Центрального управления. Слухами, как говорится, земля полнится. На ныне легендарной заставе Парамонова кормили даже лучше, чем в элитарной спецстоловой Министерства, да ещё давали с собой.

Так дядя Юра, радевший исключительно о благе своих солдат, неожиданно для себя стал любимцем начальства и одним из самых известных людей в Управлении охраны границы. Ему присвоили звание «Отличник пограничной службы», портрет его повесили на доску почёта в коридоре Главка. Особых похвал, благодаря своему суконно-военному языку, удостоилось незабвенное «Расписание работ». Оно также было вывешено в коридоре управления как образец, а выражение «присущая принадлежность» стало идиомой и непременно использовалось при составлении всех уставов и циркуляров. Ну и, конечно, в частных разговорах — но уже несколько в другом смысле.

За годы дяди Юриной службы у него побывали многие ключевые фигуры управления. Совместные трапезы и, главное, возлияния сделали своё дело. И к концу третьего года в жизни майора произошло знаменательное событие: он получил чин подполковника.

Сбылась давняя мечта. В душе дяди Юры, казалось бы, должны зазвучать трубы и фанфары. Но ничего не звучало. То ли он, что называется, перегорел — слишком долго ждал повышения и оттого охладел. То ли интересы его изменились под влиянием обилия кислорода. То ли его прошлые молодые дерзкие мечты поутихли и уступили место более зрелым.

Во всяком случае, он больше не мечтал о подполковничьей папахе. Хотя бы потому, что папаха у него уже имелась. Получше подполковничьей. Местные пастухи, в благодарность за заботу о потомстве их собак, подарили дяде Юре полный горский набор: лохматую папаху и такую же бурку из чёрной овечьей шерсти. Не то, что какой-то там поддельный каракуль из военторга. В холода папаха и бурка согревали

лучше всякой шубы. Особенно папаха. Небольшая дяди Юрина голова помещалась в ней целиком. Почти. Снизу немного выглядывал подбородок. Дядя Юра считал, что так даже лучше: лицо полностью закрыто от горного ветра. Тётя Мина, не без ехидства, предложила сделать в папaxe прорези для глаз. На это дядя Юра невозмутимо ответил, что не стоит портить мех.

С буркой также возникли небольшие проблемы. Она была дяде Юре сильно не по росту. Однажды в холодную погоду он сделал попытку отправиться в бурке на пешую горную прогулку. Не пройдя и нескольких шагов, запутался в бурке и упал. С трудом выпутался, встал, снова пошёл и опять упал. Проезжавший мимо знакомый старик-пастух, отсмеявшись, вытер слёзы и сказал, что бурка не для ходить, а для ездить. Он имел ввиду, верхом. Для тренировки предоставил свою лошадь. Выпростав из-под бурки левую ногу, дядя Юра поставил её в стремя и попытался вскочить в седло. Тяжелая шкура тянула вниз; к тому же он не заметил, что вместе с ногой засунул в стремя край бурки. И не успел всадник запрыгнуть в седло, как бурка, натянувшись, дёрнула, и дядя Юра оказался на земле. Повторив трюк с тем же результатом и обнаружив свежие синяки на руках, ногах, плечах и других частях тела, он отказался от дальнейших попыток. Домой добирался с помощью пастуха, на его лошади, так как идти самостоятельно, даже без бурки, теперь не мог. В конце концов бурку спрятали в чемодан, хорошенько пересыпав нафталином. Вспомнили о ней несколько лет спустя, в обстоятельствах скорее комичных, чем драматических, о чем читатель узнает в своё время.

Очередные три года жизни семьи Парамоновых подходили к концу. Что означало близкие перемены. Чин подполковника не соответствовал скромной должности дяди Юры. Собутыльники из начальства поговаривали о новом назначении. Дядя Юра печалился, но не слишком. Многие из его ребят, с кем начиналась служба на заставе, демобилизовались всвязи с окончанием срока и уехали домой на север. Некоторые, женившись на слушательницах тёти Мининых лекций, остались на сверхсрочную. Они поддерживали заведенный дядей Юрой порядок, в который сразу же втянулись новобранцы, и никому не позволили бы сменить его на другой. Да никто и не пытался. Руководство заготовительными работами взял на себя бывший старшина-сверхсрочник, получивший по представлению дяди Юры младшего лейтенанта.

Все, конечно, грустили, когда пришёл приказ о новом назначении любимого командира, но больше всех горевал человек, о существовании которого читатель, боюсь, успел подзабыть — начальник заставы старший лейтенант Беймулатов. Он к тому времени совсем перестал бывать во вверенном ему войсковом подразделении. Начальство же, наоборот, зачастившее на заставу, никогда не спрашивало о нём. Похоже, оно, как и читатель, забыло о Беймулатове. А дядя Юра, из соображений товарищества, деликатно не напоминал.

Но тут, узнав от пастухов о надвигающихся переменах, старший лейтенант вскочил на коня и через два часа бешеной скачки появился перед дядей Юрой со слезами на глазах. Долго рыдал у подполковника на плече, после чего отпечатки двух больших звёзд два дня не сходили с его щеки. Успокоился только после того, как узнал, что должность его заместителя теперь займёт бывший старшина, о чём дядя Юра договорился в управлении. И ушел обратно в аул пешком, ведя на поводу лошадь с перекинутыми через седло мешками с перловкой.

Ну и, конечно, плакала, по обыкновению, тётя Мина. На этот раз — по причине расставания со своими слушателями, особенно местными девушками, регулярно посещавшими её лекции перед танцами. Они ведь только-только стали понимать кое-какие слова! И даже научились, хоть и путаясь немного в согласных, выговаривать фамилию Первого поэта.

Бывшая заграница.

И вот с крайне южной границы империи дядю Юру перевели на крайне западную. То есть близко к тому самому западу, который хоть и подвергался бесконечной обструкции и, как сказала бы тётя Мина, оплёвыванию госпропагандой, тем не менее обладал неизъяснимой притягательной силой для всех без исключения граждан империи. В первую очередь, для самих пропагандистов, начальства, ну и, конечно, для всех этих прохвостов и мерзавцев, которых у нас на родине называют себя патриотами.

Запад, куда перевели дядю Юру, был не совсем настоящий. Скорее, бывший — кусок, отхваченный нами у соседней страны в результате последней войны. Кусок быстро терял западный вид за годы пребывания в составе империи. Однако к тому времени, когда дядя Юра приступил к службе в тамошнем военном округе, кое-какие следы западной цивилизации ещё сохранялись. Несколько аккуратных чистых улиц. Маленькие магазинчики, когда-то принадлежавшие хозяевам, так называемым частникам. Некоторые невиданные в совке удобства, вроде холодильных шкафов, всяких бытовых приспособлений и санитарно-гигиенического оборудования. Здесь, в приграничном западном городке, Парамоновы впервые узнали о том, что такое по-настоящему индивидуальные места общего пользования и с восторгом рассказывали об этом родне во время летних каникул в Городе. Те, привыкшие за долгую жизнь к удобствам во дворе и не представлявшие, что возможна для человека иная участь, не верили в эти сказки.

Что же касается всего того, что тётя Мина, вслед за великой родной литературой, называла высшими целями бытия — тут с этим было похуже, чем в Лентаракани. Казалось бы, цивилизованный быт и комфорт, удовлетворив физические нужды человека, должны неизбежно привести его к потребности духовного самоусовершенствования. Однако, подобное происходит крайне редко. Гораздо чаще дикари, попав в цивилизованные условия, либо превращают весь этот комфорт в помойку, либо, обуянные жаждой ещё большего комфорта и роскоши, начинают воровать, грабить и убивать. Так что нет никакой связи между духовными запросами человека и условиями, в которых он живёт. Рискну не согласиться с устаревшими философами, утверждавшими, что бытие определяет сознание. По-моему, совсем даже наоборот.

Я уже писал о любви советского начальства ко всему западному. Самой заманчивой должностью для воина-патриота была должность военного атташе при каком-нибудь посольстве на западе. В некоторых западных странах со времён войны оставались наши войска — о службе в них, то есть жизни на западе, также мечтали офицеры доблестной родной армии. Назначение в родные войска, расквартированные на западе, стоило больших денег, да ещё приходилось платить высшему начальнику ежемесячно за то, чтоб там оставаться.

Но, конечно, далеко не все желающие могли получить заграничную должность. Те, кому не удавалось, стремились в тот приграничный западный округ, где теперь служил дядя Юра. Хоть и бывшая, но всё-таки заграница. Лучше, чем ничего. То есть лучше, чем жизнь и служба на родине. Защитники отечества, таким образом, одними из первых осознали, что сколько-нибудь нормальная жизнь в самом отечестве невозможна. А уж за ними — все остальные.

Вобщем, чего-чего, а начальства в Западном округе хватало. Дядя Юра сразу почувствовал это, едва вдохнув спёртый местный воздух. К счастью, воздух оказался таким не во всём округе, а только в областном центре. Где располагался штаб и всё командование с семьями, адъютантами, ординарцами, денщиками, шоферами, горничными в погонах и прочей обслугой.

Городок окружали ухоженные буковые рощи и леса. В них пока ещё водились олени и дикие кабаны. Не говоря о зайцах и прочей мелочи. Округ имел выход к морю — небольшой участок пляжа, утыканный пограничными вышками. Ни о какой рыбалке тут речи идти не могло. В холодном и мелководном северном море у берегов рыба не водилась, выходить же в море на каком бы то ни было плавсредстве запрещалось строго-настрога. Особенно доблестным офицерам непобедимой родной армии, которые, выйдя в море, могли, чего доброго, пристать к чужому берегу и выдать противнику все военные секреты.

И дяде Юре пришлось сосредоточиться на охоте. Вскорости количество битой птицы в доме стало значительно превышать потребности семьи. Подруг в городке у тётки Мины пока не имелось, а попытки пристроить дичь в гарнизонную столовую кончались ничем: начальство строго следило, чтоб рацион «контингента» состоял исключительно из хлеба и перловки. И тогда дядя Юра переключился на мелких хищников и грызунов. В пищу они не годились, но подполковник нашёл выход. Он вспомнил ещё об одном хобби отца. Старик Парамонов, кроме ловли и накалывания на булавки бабочек, увлекался также изготовлением чучел из мелких хищников и грызунов. Чучела выходили как живые. Некоторые из них до сих пор красовались в Городском музее природоведения. Дядя Юра под руководством отца овладел мастерством чучельщика ещё в детстве. И теперь передавал своё умение сыну Мите.

Конечно, у этого дяди Юриного хобби имелись свои недостатки. Чучела нужно было куда-то девать. О том, чтоб хранить их дома, речь не шла. Тётя Мина, увидев первого набитого дядей Юрой и Митей совершенно «как живого», но неподвижного суслика сперва закричала от испуга, а потом, не понижая силы звука, заявила, что пока она жива, в доме не будет ни одного «мёртвого животного». Каламбур получился случайно. Но подействовал. Дяди Юрины чучела стали появляться в местных школах, учреждениях и даже в Штабе округа. А одно самое большое, чучело дикого кабана, плотоядно сверкало глазами в зале ресторана местного Дома офицеров.

Что же касается служебных обязанностей — их дядя Юра старался избегать. Решил придерживаться такой тактики сразу, как попал в городок и по недостатку кислорода в воздухе определил степень концентрации начальства. От коего на заставе он совершенно отвык. Конечно, там ему приходилось общаться с начальниками, но только в качестве собутыльников. А начальник-собутыльник — это ведь совсем другое дело. От него никакого вреда и урон минимальный.

Совсем другое — начальник при исполнении. От таких лучше держаться подальше. К счастью, дяди Юрина административная должность при штабе округа и

чин подполковника это позволяли.

Дядя Юра как человек по природе правдивый, добросовестный, чуждый всякого лицемерия, не любил притворяться и лгать. Но сейчас не было выхода — он защищал свой досуг. То есть свою независимость и свободу. И ему пришлось научиться быть на виду. В переносном, конечно, смысле. Иначе говоря, быть на виду, появляясь на службе как можно реже. Его видели в штабе только в дни совещаний, заседаний и прочих мероприятий с грифом «явка обязательна». Мероприятий без такого грифа дядя Юра не посещал.

Но зато на совещаниях и собраниях выступал регулярно. Причём разработал собственную схему выступлений, служившую безотказно. Благодаря чему завоевал репутацию «думающего офицера», мыслящего хоть и «нелицеприятно», но «боевито и конструктивно». «Думающий офицер» — такая характеристика дорогого стоила в условиях советской армии и употреблялась крайне редко. Многие штатские вообще считали, что это оксюморон. А тут... Дядя Юра на какое-то время даже возгордился. Но скоро, не без помощи тёти Мины, пришёл в себя.

Вот в чём состояла дяди Юрина нелицеприятность и боевитость. Во-первых, он на заседаниях штаба никогда не выступал первым, старался высказаться ближе к концу, когда мнение начальства по обсуждаемому вопросу окончательно прояснилось. Во-вторых, всегда брал слово после младшего по званию. Какого-нибудь майора, а лучше капитана. И начинал очень интеллигентно, терпимо, что само по себе производило впечатление в косноязычной и прямодушной армейской среде:

— Я, пожалуй, не соглашусь с предыдущим оратором... — произносил он негромко. Или же запускал ещё позабористей:

— Боюсь, не могу позволить себе присоединиться к вашей... — Следовало имя-отчество майора или капитана. — К вашей, Степан Кондратьич, точке зрения. Она представляется мне... Ну что ли... — Дядя Юра выдерживал паузу, чтоб создать некоторое напряжение. — Не совсем... Как бы это... м-м-да... — Снова пауза.

И после паузы дядя Юра продолжал энергично, напористо, словно не в силах совладать с распирающим его несогласием с капитаном:

— Ведь вот только же что все мы выслушали товарища генерал-лейтенанта! — Дядя Юра называл чин председательствующего, затем снова делал паузу. Опять-таки от распирающего несогласия. Во время паузы дядя Юра для убедительности либо ломал зажатый в пальцах карандаш, либо потрясал листками с заметками. Либо вытворял ещё какую-то штуку, демонстрируя нервозность, идущую от кровной заинтересованности общим делом.

— Ну да, да, есть какие-то частности, шероховатости...

Тут дядя Юра подвирал — ни о каких шероховатостях не заикался никто, включая предыдущего капитана. Вообще, всё, что говорил дядя Юра, к словам капитана не имело ни малейшего отношения. Он, правду сказать, и не слышал, что там лепетал этот бедняга.

— Но в основном же... В общем, так сказать и целом... В главном, то-есть... В наиглавнейшем, смысловом и основополагающем... Впрочем, как и в частности...

Дядя Юра особенно любил такие почти демонстративно нелепые моменты своих выступлений. Ему нравилось нагромождать одно на другое бессмысленные прилагательные, нравилась острота ощущений, балансирование на грани фола, то есть откровенной, издевательской пародии.

— В целом и общем, и, вместе с тем, жизненно конкретном, насущно необходимым, как для самой нашей армии, так и для всей страны аспекте... — вырубив дядя Юра на нужную магистраль и снова слегка приостанавливаясь, разводил руками. — В этом отношении, конечно... Ну как можно не согласиться с тем, что сказал тут Вадим Никодимыч?!

Задав страстный, хоть и риторический, вопрос, дядя Юра медленно обводил глазами всех участников совещания. И хотя ни у кого и в мыслях не было не соглашаться с председательствующим Вадимом Никодимовичем, тем не менее храбрые офицеры, как низшие, так и высшие, поёживались под пристальным взглядом подполковника.

В результате верно избранной тактики поведения дядю Юру побаивались младшие по званию и ценили старшие, что, вкупе с приобретённой уже популярностью в Управлении, обеспечивало ему безбедную, безопасную и необременительную службу в западном округе. Мало того — способствовало некоторому продвижению по службе и осуществлению одной дяди Юриной мечты, казавшейся поначалу несбыточной. Но — по порядку.

Итак, Дядя Юра отвоевал своё право на свободу и независимость. Соответственно, его досуг рос не по дням, а по часам. К концу первого года службы на западной границе небольшой областной центр был заполнен чучелами дяди Юриного и Митиноного изготовления до отказа. Сарай во дворе их дома, переоборудованный в чучельную мастерскую, ломился от непристроенных зайцев, барсуков, белок, хорьков, хомяков и полевых мышей, сверкавших в темноте стеклянными кропотливо разрисованными Митей бусинками глаз.

Наступила очередь родного города, куда Парамоновы регулярно ездили каждое лето. Вначале тётя Мина как литератор провела подготовительную рекламную кампанию. С мягкой улыбкой сдержанного восхищения рассказывала она о мастерстве двух умельцев, отца и сына, о чудесах чучелонабивания, творимых ими в сарае. Родичи и подруги выслушивали дифирамбы, изображая на лице интерес. По-видимому, тётя Мина, запретив мужу держать чучела в доме, теперь мучилась чувством вины. И изживала его таким путём.

Вскоре в Городе появилась первая партия неподвижных мелких грызунов. Тётя Мина нарочно отбирала помельче. С одной стороны, чтоб не испугать размерами будущих владельцев, а с другой — так больше помещалось в чемодан.

Первый чучельный десант высадился в доме стариков Парамоновых. «Живой уголок» (если тут уместно такое название), группа навеки застывших грызунов, размещённая над коллекцией наколотых бабочек, стал предметом гордости вышедшего на пенсию доцента начертательной геометрии и главным его утешением на старости лет.

С родителями тёти Мины было чуть сложнее. В то время, как твердокаменный дядя Исаак держался невозмутимо, лишь иронически кривил рот — кроткая, но чувствительная тётя Манюся, заходя в спальню, где на старинной этажерке дочь художественно расставила произведения мужниного искусства, каждый раз тихонько вскрикивала и хваталась за сердце.

Что касается подруг и остальных родственников — «мёртвые животные» вызывали у них гораздо меньший энтузиазм, чем живая рыба.

Таким образом, исчерпав весь рынок сбыта, основное хобби дяди Юры,

заполнявшее его честно завоеванный досуг, постепенно стало сходиться на нет. Производство чучел остановилось, поскольку их стало некуда девать. Охота потеряла смысл, так как отпала надобность в охотничьих трофеях.

По выходным дням всей семьёй ездили к северному морю. Тётя Мина, всюду находившая отзвуки множеству прочитанных ею произведений прозы и поэзии, восторгалась пейзажами «почти что скандинавской» природы, всеми этими дюнами и растущими «прямо из песка» соснами и кустами. Дяде Юре же поездки на побережье казались бессмысленными. Купаться в холодном море можно было только в июле и начале августа, когда Парамоновы находились в отпуске в Городе. Ловить рыбу без лодки — бесполезное занятие, с лодкой — запрещено. И в то время, как Тётя Мина и дети собирали на косе оставшиеся после прилива мелкие кусочки янтаря, дядя Юра сидел на берегу и злился на тупых и злобных чиновников государства, запрещающих всё и вся и видевших в каждом офицере собственной армии мерзавца и потенциального изменника родины.

Постепенно дошло до того, что дядя Юра возненавидел всё начальство лютой ненавистью. Он, правда, научился это скрывать, даже получал дополнительное удовольствие от своих скрыто издевательских выступлений на совещаниях штаба. В этом отношении мастерство его постоянно совершенствовалось. Но ничто не проходит бесследно для человека. Всё труднее становилось совмещать хвалебные речи в адрес начальства и одновременно презирать его до глубины души. Дядя Юра чувствовал что-то вроде раздвоения личности. Он часто стал впадать в подавленное, чуть ли не депрессивное состояние. К тому же досуга по-прежнему оставалось много, но заполнить его было нечем. А появляться на работе в штабе чаще, чем прежде, дядя Юра не мог. Там уже привыкли к редким визитам подполковника Парамонова, его постоянное присутствие на службе повлекло бы ненужные подозрения, повредило бы его имиджу...

Но тут вмешался случай. Случай — это то, что Бог посылает человеку, когда у того кончается терпение. Случай подсказал дяде Юре новое увлечение, заменившее рыбалку, охоту и ловлю бабочек.

Дяде Юре по должности полагался личный шофер и автомобиль. Машина была нужна дяде Юре только по выходным, в дни поездок на побережье. Но как раз по выходным шофера использовать не разрешалось. Поэтому дяде Юре пришлось научиться водить машину самому. Что было несложно, при его техническом образовании и опыте верховой езды.

Нужно сказать, что в нашей стране автомобиль, несмотря на знаменитый лозунг, был не столько средством передвижения, сколько роскошью, редкостью. С доисторических времён, с конца прошлого века, когда в огромной империи имелось всего несколько автомобилей, только у членов царской семьи. Уже во всем цивилизованном мире простой народ разъезжал на автомобилях, а в России — только члены царской семьи.

Со временем и у нас стали выпускать автомобили. Внешне они выглядели почти как западные. Но, как я уже писал, купить их было невозможно. Государство изо всех сил стремилось не допускать простой народ к владению личным автотранспортом. Поскольку человек с автомобилем вроде бы пользовался некоторой свободой передвижения. То есть — хоть какой-то свободой. Чего государство пережить не могло.

Автомобили строго распределяли по месту работы между теми, кто проявлял особую лояльность государству. Но далеко не все лояльные могли позволить себе автомобиль, так как цена его была несуразно завышена и доходила в среднем до пятидесяти зарплат обыкновенного служащего или рабочего. То есть, чтоб купить автомобиль, нужно было три года не есть, не пить и вообще не тратить ни копейки. Ну и так далее. Существовало много способов, с помощью которых изобретательное государство удерживало свой народ на четвереньках.

Те же из народа, кому, несмотря на все препоны, всё-таки удавалось обзавестись автомобилем, сразу переходили в высший слой общества. То есть, независимо от происхождения и манер, попадали в разряд советской аристократии.

В общем, как видно из сказанного, обычный гражданин страны о личном автомобиле и мечтать не мог. И дядя Юра — никогда не мечтал. Даже в мыслях не было.

Но тут вдруг... Он несколько раз посидел за рулём старого трофейного джипа. Ощутил ветер скорости. А главное — ни с чем не сравнимое, не знакомое прежде чувство свободы. Чуть сильнее нажал педаль — и едешь быстрее. Другую педаль — остановился. Повернул руль — и ты уже мчишь по другой дороге. Захотел — поехал назад, захотел — вперёд. И всё по своей воле!

Вкусив относительной сей свободы, дядя Юра понял, почему государство не допускает народ к обладанию личным транспортом. Оно боится, что массы, почувствовав опасный вкус свободы, хотя бы так, через управление автотранспортом, захотят ещё какой-нибудь свободы, в более широком смысле... И тогда...

Будущее показало, что государство беспокоилось напрасно. Спустя несколько десятилетий авторанспорт, давно овладевший миром, проник, наконец, и в Россию. То было настоящее бедствие для страны, на дорогах которой, едва приспособленных для десятков автомобилей, появились их тысячи, десятки тысяч. Возникли многочасовые пробки. Передвижение по улицам больших городов стало невозможно. Так что никто не почувствовал никакой свободы. Наоборот — многие снова пересели из личных авто в государственное метро или стали ходить пешком. Очередной глоток свободы, как всегда, стал россиянам поперёк горла.

Но это случилось гораздо позже. А тогда дядя Юра, лишенный возможности выходить в открытое море, возжелал хотя бы относительной свободы, в рамках управления личным автомобилем. Оставалось решить основной вопрос — обзавестись автомобилем.

Но как? Как осуществить несбыточную мечту? Как вымолить у государства великую милость, чем заслужить священное право на приобретение автомобиля? Дядя Юра напряг всё своё воображение, включил все силы ума и сердца, собрал в кулак всю человеческую свою энергию и подключил космическую. Он, как вы уже могли убедиться, был человеком упорным, не любил отступать и часто добивался поставленной цели. Он собирал информацию, говорил с сослуживцами, советовался с тётей Миной и даже с подростком Митей. Но самый полезный совет неожиданно получил от не по годам разумной Киры.

— Папочка, — сказала восьмилетняя Кира, грассируя, с интонацией одновременно философской и деловой, — ты не должен забывать, что решение любой насущной проблемы находится в пределах ближайшего круга общения!

И с важным видом снова углубилась в учебник английского языка. Она, как

многие дочери, стремилась во всём подражать матери и уже усвоила её манеры, лексикон, жесты, гримасы. Что же касается характера... Но об этом позже.

Подполковник задумался. Перебрал людей из ближайшего круга. И понял, что до сих пор пренебрегал ключевой фигурой — своим шофером. Тот был рад услужить начальству и объяснил дяде Юре, что не стоит абсолютизировать государство, что на нём свет клином не сошелся, есть и другие способы осуществления заветной мечты (конечно, я редактирую речь шофера, он использовал более грубые обороты). Короче, есть альтернатива. А именно — гараж. В гараже нормальные люди решают все автомобильные вопросы, и плевать им на государство (он и тут употребил более грубый глагол, хотя, казалось бы, куда уж грубее).

И он ввёл дядю Юру в гаражное сообщество, которое и в самом деле жило по своим законам и представляло собой островок некоторой независимости от государства. Гаражные люди могли не всё, но многое.

Государство к тому времени освоило выпуск трёх моделей легковых автомобилей. Других в стране не существовало — завозить автомобили из-за рубежа населению запрещалось. Да и не было у него на это средств. Отечественные легковушки именовали по географическому признаку. Малолитражки производили на заводе в Москве и назывались они «Москвич». Микролитражки — в городе Запорожье, и они назывались «Запорожец».

Полнолитражные легковые автомобили делали в городе Горький. Существовал в империи такой город, названный в честь родившегося в нём писателя Максима Горького. Нужно признать, псевдоним был выбран не совсем удачно. Писатель, видимо, предполагал, что слово «Горький» должно ассоциироваться с идиомой «горькая правда», каковую правду он и собирался говорить читателям. Но в русском языке существуют и другие идиомы с тем же прилагательным, более привычные отечественному уху. Например, «горький пьяница». Чего писатель, скорее всего, не учёл. Как и того, что его псевдоним используют для названия целого города. Жизнь в городе Горьком действительно была несладкой, как и во всех других городах и сёлах империи. Но нигде это не декларировалось так открыто и, можно сказать, беззастенчиво.

В общем, автомобиль из Горького почему-то не стали называть «Горьковчанин». А назвали по имени реки, на которой стоял город: «Волга».

Во второй половине двадцатого века произошло событие, открывшее новую эру в эпохе отечественного автомобилизма: в стране изготовили четвёртую модель легкового автомобиля. Для чего с помощью итальянцев построили город и завод. Город назвали именем секретаря итальянской компартии товарища Тольятти — другого итальянца, в честь которого можно было бы назвать город в империи, не нашлось. Автомобиль, таким образом, чуть не получил непроизносимое и глуповатое имя «Тольяттинец». Одумавшись, стали искать реку поблизости. Река оказалась та же, что и в Горьком — Волга. Но не отступать же от географического принципа! И вместо реки нашли ближайшие горы, по имени каковых и нарекли автомобиль: «Жигули».

И на долгое время, чуть ли не на четверть века, «Жигули» стали предметом вожделения, властителями дум советских автолюбителей. Этот нехитрый автомобиль, отдалённо напоминавший западные модели начала семидесятых, был не просто автомобилем, но символом материального и социального благополучия, признаком состоявшейся, не зря прожитой жизни.

«Волга» была недостижимой мечтой народных масс, прерогативой начальства, милиции и таксопарков, в то время, как «Жигули» казались почти доступной, не такой уж несбыточной реальностью. За неё нужно побороться, но тем не менее... «Жигули», конечно, нельзя было купить в магазине. Их тоже распределяли по карточкам, как продукты во время войны. Карточки же, как я сказал, доставались немногим избранным. Но тут проявила себя стихийная тяга населения к рыночным отношениям. Вокруг «Жигулей» образовался так называемый чёрный рынок, каковой подчинялся законам экономики гораздо охотней, чем государству.

Автомобиль нельзя было купить у государства. Но не запрещалось покупать у частных лиц. Тут государство недосмотрело: будучи уверено, что, кроме, как у него, покупать не у кого, не позаботилось о соответствующем запрете. Благодаря чему чёрный рынок буквально расцвёл.

Те, кто не имел автомобиля и мечтал хоть о каком-нибудь транспортном средстве, например, для доставки недельного запаса провизии из города на дачу, приобретали подержанный «Москвич». Через пару лет, незадолго до того, как старенькая машина навсегда теряла способность передвигаться, ее втюхивали какому-нибудь начинающему автолюбителю и на вырученные деньги, добавив накопления, покупали «Москвича» поновее. Купив, начинали дерзко мечтать о «Жигулях». И со временем, загнав (что на сленге означало продав) свежеекрашенного ветерана кому-нибудь на ступень ниже, приобретали, наконец, неновый «Жигуль». То была настоящая победа, шаг вверх по социальной лестнице. С подобных высот можно было помечтать и о новом «Жигуле», и даже — чем чёрт не шутит — о самой тёмно-синей «Волге»! Могущественный чёрный рынок располагал и таким редким товаром. Тут надо заметить, что поскольку нет предела человеческой мечте, обладатели «Волги» на том не успокаивались и почти сразу начинали подумывать о «Мерседесе». Впрочем, я забегаю далеко вперёд.

А тогда, когда дяде Юре запала в голову мысль о собственном автомобиле, ещё и «Жигулей» не существовало. И вот шофер привёл дядю Юру в гараж. Не стану описывать это специфическое место, так как не уверен, что для этого годится мой арсенал художественных средств. Тут надобно перо гораздо более декадентского, я бы даже сказал, кафкианского толка, чем моё, вполне консервативное и в основе оптимистично-жизнеутверждающее.

Шофер о чем-то коротко переговорил со старшим лейтенантом, руководившим хозяйством, и подвёл дядю Юру к небольшой куче, накрытой промасленным брезентом. По снятии брезента куча оказалась неким остовом, скоплением непонятных частей, среди коих подполковник хоть и с трудом, но всё же различил две: мотор и выхлопную трубу.

— Ну как? — спросил шофёр, поощрительно улыбаясь.

— Что? — не понял дядя Юра.

— Нравится?

— Вы о чём? — дядя Юра всё ещё не догадывался.

— Ну, тачка, как — нравится?

Дядя Юра молчал — не знал, что ответить. На секунду вдруг почему-то представил себе выражение лица тёти Мины, находишь она рядом. И мысленно поблагодарил Бога, что пошёл в гараж без неё.

— Да не, ну ясное дело, требует доработки. Сидения там, руль, тормоза. Колёса,

естественно. Ну, кузов не проблема, у нас кузов от «оппеля» где-то валяется, чуть подварим... Но главное — смотри, какая коробка передач! Да вокруг такой коробки передач не то, что легковушку, океанский лайнер собрать можно!

Дядя Юра вежливо покивал, но очень расстроился. Не таким представлял он себе первый свой автомобиль. Конечно, он не рассчитывал на новую «Волгу», но что-то, хотя бы внешне напоминающее легковую машину!.. А тут — груда металлолома, какую при всём богатстве воображения...

Но он недооценил гаражных людей. Чьё мастерство оттачивалось и закалялось в стране, где умение соорудить нечто из ничего было не чудом, а повседневностью, не подвигом, но условием выживания. Через две недели дядя Юра сел за руль сияющего свежей краской «оппеля» — так он назвал свой первый автомобиль, по имени кузова, ибо происхождение всех остальных частей машины осталось неизвестным. Впрочем, руль, похоже, подобрали от «виллиса», сиденья... Сиденья, к сожалению, оказались слегка продавленными, в нескольких местах прожжённые папиросами, из-за чего дядя Юра сильно переживал. Но гаражные, заметив печаль в его глазах, и тут не подкачали: заменили несколько пружин, подтянули ремни. А последний лоск навела тётя Мина: достав из кладовки траченный молью старый ковёр, она вычистила его, разрежала на куски и аккуратно покрыла сиденья, да так, что даже создалось впечатление некоторой роскоши.

И счастливый дядя Юра с семейством выехал на шоссе. Автомобиль прекрасно шёл по прямой, с некоторым усилием в гору, а уж под гору — шибче всяких ожиданий. Даже приходилось сдерживать его с помощью тормозов, которые пока успешно справлялись с задачей. Что будет дальше — об этом дядя Юра не думал; он, как и всякий отечественный автолюбитель, едва приобретя автомобиль, уже начал прикидывать, как и кому его можно будет продать. То есть после первых трёх сотен километров на подержанном «оппеле» возмечтал о новом «Москвиче».

Скажу заранее: судьба устроила так, что самые дерзкие дяди Юрины мечты осуществились. Последним его автомобилем и в самом деле был «Мерседес».

Что же касается генеральских погон... Возможно, я ошибаюсь, но чем более углубляюсь в эту историю, тем отчётливее впечатление, что мой герой постепенно потерял к ним интерес. Не то, чтобы он утратил всякое честолюбие, нет. Генеральский чин есть генеральский чин, и в жизни всякого мало-мальски амбициозного военного человека даже единственная генерал-майорская звезда на погонах никогда не перестаёт быть путеводной. Но никакой воинский чин не существует отдельно от армии, а дядя Юра, чем дольше служил в родной армии, тем больше презирал её. И хоть он тщательно скрывал это брезгливое чувство от посторонних и даже от себя самого, но побороть его был не в силах.

Служба дяди Юры на западной границе продолжалась дольше, чем во всех предыдущих местах. Видимо, он нашёл, как говорят в театре, верный тон, выбрал правильную линию поведения с начальством и подчинёнными. Она базировалась на полном отключении того, что позднее стали называть «человеческий фактор». То есть дяде Юре удалось в пределах служебных отношений постепенно купировать любые, так сказать, человеческие проявления.

Ведь что, как правило, мешает отношениям между людьми? Чувства, эмоции: восхищение и зависть, любовь и злоба, сострадание и ненависть — все эти противоположные вещи в равной мере разрушают гармонию и настраивают нас друг

против друга. Если же научиться воспринимать окружающих не как одушевлённых сослуживцев, неважно, друзей или соперников (те и другие меняются местами быстрее, чем фигуры на шахматной доске), а как предметы — то тем самым ограждаешь себя от опасности, коей всегда чреват контакт с живым человеком.

Нужно сказать, что сослуживцы со временем тоже стали относиться к подполковнику, как к лицу неодушевлённому — мы всегда получаем от окружающих то, что транслируем им. В результате дядя Юра избавился от всех и всяческих недоброжелателей. Правда, доброжелателей у него тоже не имелось, но какой от них толк? Тем более, что доброжелатели превращаются в недоброжелателей быстрее, чем... См. предыдущий абзац.

Вероятно, дядя Юра и тётя Мина так и остались бы навсегда в краю постепенно вырождающихся, замусориваемых и вырубаемых буковых лесов, если бы в их жизнь снова не вмешалась судьба.

На остров, за «Волгой»!

На этот раз судьба носила гордое латиноамериканское имя. Оно принадлежало большому острову, расположенному в одном из тёплых морей Западного полушария. Когда-то остров принадлежал американцам и считался раем на Земле. Но однажды хозяева недоглядели, и на острове произошла революция. Земной рай быстро превратился в нечто противоположное. А именно, в страну победившего социализма. И, как во всех странах победившего социализма, там моментально появились наши ракеты. Нужно ли говорить, что направлены они были в сторону прозевавших остров америкосов? Которым наличие наших ракет у себя под носом не понравилось. Государству только того и нужно было. Ему давно хотелось сделать что-нибудь такое, что очень не понравилось бы «проклятым янки». И тут пожалте — целый остров, небольшая страна к его услугам. И государство не упустило свой шанс.

Обнаружив вражеские ракеты у себя под носом, янки страшно обиделись. И попросили их убрать. Но наши упёрлись. В результате чего возник международный кризис. Пару десятков амбициозных, не очень умных, болезненно самолюбивых, как подростки, вояк и политиканов чуть не довели мир до ядерной войны, то есть, до полного уничтожения.

Как ни странно, государство на этот раз проявило благоразумие. Убрали ракеты. И американцы успокоились. Кризис рассосался. Ну а к тому времени, когда судьба снова вспомнила о дяде Юре, страсти вокруг острова совсем утихли. Он из американского быстро стал советским. Что оказалось несложно, так как социалистический образ жизни импонировал ленивым островитянам больше, чем какой-либо другой.

На острове уже не имелось наших ракет, да в них и не было необходимости. Поскольку весь мир окончательно признал остров собственностью последней империи и махнул на него рукой. Но всё-таки у наших руководителей остался неприятный осадок после истории с вывозом ракет. Их ведь поставили специально, чтоб насолить америкосам. А вместо этого пришлось уступить, убрать ракеты, проявить слабость... Позор!

И государство решило не сдаваться. А всё-таки, несмотря на отсутствие ракет, сохранить на острове своё, так сказать, военное присутствие. Вместо ракет туда стали

посылать людей. Не просто людей, конечно, а военных людей, в воинской форме. Причём, в большом количестве. В основном офицеров, поскольку офицеры имперской армии, особенно высшие, носили большие форменные фуражки, хорошо заметные с воздуха. По большому скоплению этих фуражек в разных местах острова американская воздушная разведка и должна была сделать вывод о нашем массовом военном присутствии на острове.

Идея с заменой ракет на людей была удачной ещё и потому, что с людей взятки, что называется, гладки. Они ведь сами по себе, без вооружения, не представляют никакой угрозы. Да к тому же руководство и здесь проявило сообразительность, поименовав всех засланных на остров офицеров «военными советниками». Советник, он и есть советник, что с него возьмёшь. С другой стороны, его присутствие, поскольку он военный советник, есть не что иное, как военное присутствие. Государство, таким образом, действуя, как всегда, хитро и двусмысленно, добилось своей цели.

Нужно сказать, что попадание дяди Юры на остров было predetermined не только судьбой. Но также его новым увлечением — автомобилями.

Дело в том, что замена лже-«оппеля» на «Жигули» произошла как-то сама собой, почти незаметно. Хотя поначалу были трудности: местные автолюбители догадывались о происхождении «оппеля», продать его в городке никак не получалось. Тем временем государство наладило выпуск «Жигулей». И в западный округ, для поощрения особо усердных офицеров, пришла разрядка на три новых «жигулёнка». Так ласково прозвал народ чудо отечественного автомобилестроения. Дядя Юра оказался в числе первых претендентов. Тут как раз его послали в командировку в соседний округ, и там нашёлся лопух из штатских, принявший подполковничий драндулет за иномарку (слово «иномарка» оказывало магическое действие на наших людей уже в те годы). И дядя Юра, загнав ему за приличные деньги свою якобы иномарку, без всяких усилий заимел новенького «жигуля».

По-видимому, лёгкость, с которой была взята очередная автомобильная вершина, несколько разочаровала дядю Юру. Осталось чувство неудовлетворённости. С другой стороны, честолюбие его не дремало, подсказывало, что есть и другие вершины, не столь легкодостижимые. И почему бы не замахнуться...

Так в воображении подполковника возникла новая тёмно-синяя «Волга». А, возникнув, уже никогда не исчезала и со временем заслонила все прочие мечты и чаяния.

Теперь вы спросите, какая связь между военным присутствием и автомобилем марки «Волга». А вот какая. Как я уже сказал, «Волгу» делали не для людей. То есть не для частных владельцев, а для государства. Для его организаций, министерств и ведомств. Частник же мог приобрести «Волгу» только на чёрном рынке, у чёрных диллеров, заплатив в полтора-два раза больше реальной цены. У честных людей таких денег быть не могло. Однако и среди них попадались такие, кому очень хотелось иметь «Волгу». А для некоторых приобретение элитарного авто становилось чуть ли не вопросом жизни и смерти.

И провидение не выдержало, сжалилось над ними, предоставив различные возможности дополнительного заработка. Одной из таких возможностей, исключительно, правда, для военных, стала служба на мятежном острове в Западном полушарии. Служившие там офицеры получали деньги в местной валюте — их

хватало на скромную жизнь, что вполне устраивало неизбалованных наших граждан. И в то же время им продолжали выплачивать заработную плату на родине. Эта-то сэкономленная за 2-3 года зарплата и предназначалась для покупки автомобиля. Тот же, у кого автомобиль уже имелся, мог его продать и, добавив сохранившуюся зарплату, приобрести на чёрном рынке заветную темно-синюю «Волгу».

В те годы, я помню, про того, кто отправлялся служить на остров, так и говорили: поехал за «Волгой». И дядя Юра дал себе слово, что сделает всё возможное, и даже невозможное, чтоб его послали на вожделенный, он же, по выражению госпропаганды, «мятежный» остров.

Тут подполковнику снова повезло. В тот исторический момент командование решило направить туда как можно больше офицеров из пораничных войск. Оказалось, что их ярко-зелёные фуражки — не чёрные артиллерийские, не цвета хаки пехотные, даже не красные внутривойсковые, и уж, конечно, не голубые тайной полиции (они абсолютно сливались с цветом местного моря) — а именно пограничные ярко-зелёные фуражки лучше всего заметны с воздуха. И целый полк пограничных офицеров, в том числе и дядя Юра, был направлен на остров в качестве военных советников, консультантов и инструкторов. На то время как раз пришелся всплеск нашего военного присутствия, когда общее число советников почти вдвое превысило численность местной армии, и на каждого островного солдата или офицера приходилось в среднем по два советника. Не знаю, что они там насоветовали, но отечественный автопром оказался в выигрыше.

Дядя Юра прожил на острове целых два года. Он поехал туда один, и я до сих пор не могу понять, как тётя Мина его отпустила. Она, правда, приезжала однажды, по-видимому, с проверкой, прожила там несколько месяцев... Но что можно установить за такой срок? Она, безусловно, не верила в святость мужа — а кто бы поверил? — но доподлинно установить ничего не смогла. А если и смогла, то не торопилась поделиться информацией с подругами и родственниками, как то было в случаях с живой рыбой и чучелами. Так что об этой стороне службы подполковника в Западном полушарии ничего не известно.

Я мог бы, конечно, пользуясь правом автора, досочинить какой-нибудь дяди Юрин роман с островитянкой Кончитой или Хуанитой, но зачем? Читатель, надеюсь, уже понял, что никакой вымысел не в состоянии конкурировать с правдивым рассказом о дяде Юре. А я ведь рассказал ещё далеко не всё!

Хотя, в общем-то, осталось не так уж много. К моему огорчению; надеюсь, к огорчению читателей также. Не хочется расставаться с незадачливым подполковником, мы как-то сжились с ним за последние чуть ли не восемьдесят страниц. Но придётся. Как философски выразился один герой Чехова, прощаясь с очередной любовницей: «Всему на свете приходит конец!»

Под колпаком у трёх разведок.

Жизнь Пармоновых после возвращения дяди Юры с острова носила характер подведения итогов. Хотя они об этом не догадывались. Даже наоборот: как это случается со многими, Пармоновы, войдя в итоговую полосу, полагали, что жизнь только начинается.

На самом деле новая жизнь началась для них гораздо позже, с переездом на

жительство в США. А то время, конец семидесятых-начало восьмидесятых годов прошлого столетия, было временем подведения итогов их жизни на родине.

Получив назначение на остров, дядя Юра, перед тем, как отбыть по месту службы, перевёз семью в родной Город. Пограничное управление (Город считался пограничным, так как стоял на берегу моря, по середине которого проходила государственная граница) помогло ему получить неную трёхкомнатную квартиру в престижном полукурортном районе — до пляжа не слишком близко, но можно пешком — и он, устроив домашних на новом месте, уехал, вернее, улетел на остров со спокойной душой.

Но — покой нам только снится, как заметил один беспокойный поэт.

К тому времени подросли дети Митя и Кира. Пока дядя Юра служил на Кубе, всё было более или менее спокойно. Но вскоре после его возвращения... Но — по порядку.

Вернувшись, дядя Юра в первую очередь сделал два важных дела. Исполнил два заветных своих желания: купил «Волгу» и вышел в отставку.

На не слишком большую подполковничью пенсию можно скромно прожить вдвоём, к тому же тётя Мина ещё работала в какой-то методической лаборатории, где получала зарплату, впрочем, чисто символическую. Но нужно было помогать детям, что называется, выводить их в люди, плюс дорогой бензин, да и дома сидеть целыми днями нестарому энергичному мужчине как-то не пристало. И дядя Юра устроился на работу консультантом в какое-то полувоенное охранное учреждение. Чего-чего, а охранных учреждений в государстве, охранявшем от населения всё и вся, имелось множество. Должность, что называется, номинальная, платили мало, но вместе с военной пенсией получалось неплохо, притом времени свободного — завались. Оставалось и для рыбалки, куда дядя Юра ездил теперь далеко на лиман на собственной новой «Волге»; в перерывах же между поездками уделял много времени драгоценному автомобилю: мыл, подкрашивал и полировал, если случалась царапина; смазывал сверху и снизу, проверял и подкручивал всякие болты.

Конечно, во дворе их дома, как и во всех других дворах, не имелось смотровой ямы. И потому дядя Юра, подобно прочим отечественным автолюбителям, смазывал и подкручивал болты, лёжа под машиной на спине. Эта мученическая поза, на земле, в крошечном промежутке между нею и самой грязной частью автомобиля, его дном, с лицом, открытым стекающим каплям и струям машинных жидкостей, всегда вызывала у меня сострадание. Нужно очень любить своего четырёхколесного друга, чтоб ради него подвергать себя таким пыткам. А дядя Юра крепко любил. В конце концов полюбил, вероятно, и саму позу. И однажды, когда у них сломался телевизор — в то время телевизоры в делали в виде таких огромных ящиков на четырёх тонких ножках — дядя Юра чинил его почему-то тоже лёжа под ним на спине. Уверяю, здесь нет ни капли вымысла, я слышал эту историю лично от тётки Мины, которая с юмором рассказывала, как дядя Юра, лёжа под телевизором, попросил её принести подушку под голову (чего нельзя было себе позволить под машиной), и как она, не без сарказма, спросила, не принести ли ещё одеяло и ночную пижаму.

Вобщем, такой образ жизни вполне устраивал подполковника в отставке. Впрочем, почему подполковника? Кажется — могу ошибаться, но надеюсь, что нет — на острове дядя Юра всё-таки получил полковника. Полковник в отставке — такое звание гораздо больше подходило владельцу «Волги», чем отставной подполковник.

Как видим, дяде Юре совсем немного не хватило до генерала. Но он не слишком расстраивался. Тётя Мина, дабы утешить мужа, часто подшучивала, уверяя, что ему вовсе не нужна «эта оггомная генеральская фуражка», так как он, маленький и худощавый, в ней будет похож на обойный гвоздь. Муж сперва очень обижался, но в конце концов, поскольку жена часто повторяла утешительную сию остроту, согласился и утешился.

Тем не менее, характер дяди Юры, честолюбивый и гордый, нужно признать, совсем не изменился. Он по-прежнему ходил с приподнятым подбородком, смотрел прямо, несколько мимо собеседника, что в империи считалось признаком принадлежности к начальственной касте. Годы и привычка передвигаться на автомобиле превратили удобу в лёгкую упитанность. Лицо покрывал постоянный загар заграничного оттенка. Дядя Юра приобрёл его на острове. Заграничный загар, нужно сказать, невозможно спутать с отечественным, приобретённым где-нибудь на юге страны. Да и вообще, в облике нашего человека, пожившего за границей, как правило, появляется что-то особенное, потустороннее — словно некое тайное знание коснулось его и приподняло над толпой простых смертных.

Именно так выглядел дядя Юра, когда он однажды заехал к нам домой на своей новой тёмно-синей «Волге» за машинкой для закрутки домашних консервов.

Это случилось не меньше, чем лет сорок назад. Но я помню тот дяди Юрин визит в деталях. Особенно врезалась в память цель визита — машинка для закрутки. Почему я с такой точностью это запомнил? Думаю, от потрясения. Меня потрясло несоответствие. Даже целый ряд несоответствий.

Полковник, почти генерал. Хоть и не в форме, но во всём заграничном: в лёгких полотняных брюках цвета бэж, в дорогой заграничной «бобочке» (так в Городе называли рубашки с коротким рукавом) — поди достань такую на местной барахолке! Отечественными были, кажется, только босоножки, надетые, впрочем, на заграничные носки. И вот полковник во всём заграничном приезжает в наш скромный обывательский дом на тёмно-синей «Волге»! За машинкой для закрутки консервов! По поручению жены! Потрясало дикое несоответствие пустяковой цели и, так сказать, внешних атрибутов её достижения.

Вероятно, такой шик не вписывался в моё воображение сформировавшееся в нищенских отечественных условиях. Чисто подсознательно я не сомневался, что за машинкой для закрутки положено ездить в лоснящихся брюках фабрики «Дружба», несвежей рубашке «ковбойка» и непременно на общественном транспорте — трамвае или троллейбусе.

И ещё, помню, мучила меня загадка: как это возможно, что у Пармоновых, проживших столько лет в условиях западной цивилизации, не имеется собственной машинки для закрутки консервов? Откуда мне было знать, что на западе проблема питания давно решена, и что утомительной процедурой консервирования овощей и фруктов в стеклянных банках с помощью дефицитных алюминиевых крышек — их-то и «закручивали» машинкой — самозабвенно занимается население единственной страны мира? Той самой, в котрой я имел счастье родиться и жить.

Теперь, задним умом — честно говоря, мысль сия только сейчас пришла в голову — я понимаю, что, вероятно, не одна машинка для закрутки была причиной того дяди Юриного визита. Новоиспечённый полковник ведь только что вернулся из-за границы. Ему хотелось продемонстрировать достижения: «Волгу», новый чин...

Ему, может, мечталось приехать к нам в полной полковничьей форме. Но то ли из-за жары, то ли ещё почему новая форма осталась висеть в шкафу. Скорее всего, тётя Мина, побоявшись насмешек (она живо вообразила, как по родственникам пойдёт слух о её муже, который, как идиот, в самую жару припёрся за машинкой для закрутки в полковничьем мундире при погонах и фуражке), заперла форму от мужа, одела его во всё заграничное штатское и так отправила к нам.

Дядя Юра долго искал, где припарковать «Волгу». Чтоб мы могли увидеть её из окна. К несчастью, мы жили на четвёртом этаже; к тому же окна наши выходили на частные гаражи, там не было парковки. Пришлось дяде Юре, скрепя сердце, оставить машину поодаль, вне нашей и своей видимости.

Так я никогда и не увидел знаменитой тёмно-синей дяди Юриной «Волги». Не довелось.

Наконец, дядя Юра поднялся к нам на четвёртый этаж (лифта в доме не имелось). Его усадили в кресло, дали чаю. Мама села в кресло напротив. Папа, который нельзя сказать, чтоб боготворил маминых родственников, в своей обычной при них позе «я здесь на минуточку» присел на кончик круглой табуретки у пианино. Я устроился на диване. Наша небольшая семья собралась в гостиной, побросав все дела, хотя то был не официальный визит, дядя Юра пришёл не в гости, просто за машинкой для закрутки — казалось бы, взял машинку, сказал «спасибо» и ушёл... Не тут-то было! Мы хорошо знали дядю Юру. Нужно было дать ему выговориться.

Никого из нас ни в малейшей степени не интересовал мятежный остров, ещё меньше — дяди Юрины подвиги на ней. Но мы не подавали виду, сидели и якобы слушали, как миленькие. Мама боялась обидеть родственника, а через него и родственницу, двоюродную сестру, а мы с папой боялись маму.

А дядя Юра, едва выглядывая из кресла, буквально сыпал государственными секретами. Так он надеялся оправдать наши ожидания, с одной стороны, и уравновесить значительностью рассказа незначительность цели своего прихода — с другой. Хотя, скорее всего, просто хвастал, демонстрировал осведомлённость, распускал хвост. Все знали, что, ступив на этот путь, он не в состоянии остановиться.

Вероятно, мы пропустили редкий шанс обогатиться. Если б мы слушали то, что говорил дядя Юра, а потом записали и продали какой-нибудь вражеской разведке... Но мы, к сожалению, не слушали. Я изучал дяди Юрину «бобочку», папа, как всегда, торопился на пляж и искал предлог, чтоб улизнуть, а мама — у неё, как у многих женщин, слух отключается в тот момент, когда кто-то другой начинает говорить.

Дядя Юра, как все самолюбивые рассказчики, хорошо чувствовал аудиторию. И предпринял последнюю попытку завоевать внимание. Солидно отпивая чай и глядя мимо нас — что было непросто, так как мы окружали его с трёх сторон — он перешёл к теме смертельной опасности, которой подвергаются на Кубе советские военные специалисты.

— А на нас же, на советских спецов, идёт охота с трёх сторон! — заявил дядя Юра, выжимая ложечкой лимон.

И он стал перечислять, не загибая, по-нашему, а наоборот, выпрямляя пальцы из кулака, начиная с большого. Этой чисто американской манере перечисления он, конечно, научился на острове и теперь хотел сразить нас ею.

— Во-первых, Федеральное бюро расследования. Во-вторых, Центральное разведывательное управление. Ну и, военная их разведка, само собой!

Перечислив все известные ему разведывательные службы США, дядя Юра умолк. Ждал впечатления. По крайней мере, вопроса — мол, как же ему удалось выжить в таких боевых условиях?

Но вопроса не последовало. Папа, разозлённый тем, что день уходит, а он ещё не окунулся в море, смотрел на дядю Юру с тоской во взгляде, и во взгляде том ясно читалось: «ЦРУ? ФБР? Да ты посмотри на себя! Кому ты нужен, сморчок ты херов!»

Я вконец расстроился из-за того, что мне, видать, не суждено когда-либо обзавестись такой «бобочкой», как у дяди Юры. И только мама, испугавшись затянувшейся паузы, с простодушным сочувствием лягнула:

— Вобщем, не нужна та «Волга» и не нужны эти цурес!

Я едва удержал равновесие на диване. Невероятным усилием воли заставил себя сидеть неподвижно, вместо того, чтоб упасть на спину и задргать ногами в пароксизме хохота. Папа быстро вышел в туалет и почему-то сразу — мы услышали характерный звук — спустил там воду.

А дядя Юра... Идишское слово «цурес» он знал от тёти Мины. В переводе оно означает неприятности, напасти — чаще всего бытовые. И вот ему, хранителю важнейших государственных секретов, после рассказа, пусть неоконченного, о личных его человеческих и воинских подвигах, прямо в лицо заявляют, что он, якобы, поехал на полный опасностей мятежный остров не для того, чтоб с угрозой для жизни выполнить там свой патриотический долг, а в каких-то обывательских, меркантильных целях! Прямым текстом говорят, что он, якобы, поехал туда за «Волгой»! Да ещё предпринятые против лично него, боевого бэбээсовского полковника, объединённые усилия главных вражеских спецслужб называют местечковым словом «цурес»! Как на такое прикажете реагировать?

И он прореагировал единственно достойным образом. Сделал вид, что не услышал неуместное мамино замечание. Посмотрев мимо всех нас, поднялся из кресла, сдержанно попрощался. И, сжимая в руке машинку для закрутки, с достоинством направился к выходу. Он, честно говоря, давно искал повод уйти, так как беспокоился за оставленную без присмотра новую «Волгу». Просто, как я уже сказал, начав распускать хвост, не мог остановиться.

Едва он вышел, из туалета донеслись раскаты папиного хохота. Я же хохотал, катаясь по дивану. И только мама, ничего не поняв, с привычным возмущением в голосе повторяла, имея ввиду папу:

— Смеётся он... Он смеётся... Чего он смеётся?

Помню, я, по молодости лет и в силу природной доверчивости, долго ещё мучился вопросом: как могло случиться, что три самые могущественные спецслужбы два года охотились за дядей Юрой и не сумели его изловить? А если бы сумели? Я с ужасом представлял себе жуткую картину, достойную кисти Голливуда: дядю Юру в полной полковничьей форме и ярко-зелёной фуражке засовывают в какой-то мешок и в трюме грузового вертолётá доставляют в ФБР. И если он с такой лёгкостью выбалтывал государственные военные тайны, сидя в кресле нашей мирной двухкомнатной квартиры на улице Новосёлов, то что было бы в бесчеловечном вражеском разведуправлении?

Кстати, дядя Юра в конце концов попал таки в США, но гораздо позже, и не в ФБР, а совсем в другое место.

Само собой, в последней глобальной перемене в жизни Парамоновых, их

переезде в Штаты, ключевую роль сыграла дочь Кира. Это ведь только кажется, что родители определяют судьбу детей — дают образование, выводят в люди и т.п. Ничего подобного. На самом деле, в обычных семьях дети гораздо больше влияют на жизнь родителей, чем наоборот. Хотя, конечно, и те, и другие выполняют предопределённое Свыше.

Один в большом городе.

Предопределение свыше в отношении Парамоновых было таково, что едва им удалось наладить стабильный комфортный быт в Городе, более или менее благополучно решить финансовые и прочие проблемы материального характера, как начались тектонические сдвиги в семейном устройстве. В каждой семье рано или поздно наступает такая пора: дети вырастают и ищут способ покинуть семейное гнездо.

Первым окончил школу Митя. Митя все эти годы был главной гордостью семьи. Восхищению родителей его мастерством в деле поимки бабочек и накалывания их на картон, как и его успехами в деле набивки чучел, не было границ. Фактически, все разговоры о Парамоновых начинались и кончались Митей. Его беспрестанно ставили мне в пример, чем, как обычно, добились обратного результата: вместо того, чтоб, по замыслу мамы и бабушки, вдохновиться и немедленно начать брать пример с гениального троюродного брата, я начинал тихо его ненавидеть.

Но однажды я тоже подпал под всеобщий ажиотаж по поводу Митиных талантов. Меня привели в гости к родителям тётки Мины, и там я застал юного Митю, трудившегося над копированием яркой и тщательно выписанной китайской закладки для книг. На ней, помню, была изображена гроздь каких-то ягод, цветы, может быть, над ними порхала бабочка. Меня поразила точность, с которой Митя передал рисунок закладки, особенно все эти неземные китайские цвета. Он, несомненно, имел талант к живописи и потому родители решили отдать его на архитектурный факультет. Такой факультет имелся в Городе, но то ли Митя стремился вырваться из семьи, то ли семья посчитала, что местный архитектурный слишком провинциален и не соответствует недюжинным способностям сына. И Митю отправили учиться в большой город Киев, где проживал старший брат тётки Мины дядя Симон.

Это решение далось родителям нелегко. Отправить мальчика, обожаемого сына, почти ребёнка, привыкшего к жизни в семье, к постоянной заботе, к налаженному быту, в чужой город, обречь его на одинокую жизнь в условиях двух вечных проблем — питания и жилья... Нет, тётка Мина никак не могла решиться на такое. Да и дядя Юра — он тоже был категорически против. Но Митя, как все молодые люди в его возрасте, рвался из дома на волю. И нашёл неожиданного союзника в лице своего дяди Симона.

К тому времени умерли родители тётки Мины. Первым — могучий дядя Исаак, который, казалось, будет жить вечно, как какой-нибудь многолетний дуб или динозавр. Но его неожиданно сразил инсульт где-то в середине седьмого десятка, совсем в нестаром возрасте. Мама тётки Мины ненадолго пережила мужа. Так часто случается, если муж и жена прожили долгую жизнь в любви и согласии. Когда кто-то из них уходит, другой никак не может понять, что ему делать одному на этом свете.

Их старший сын дядя Симон, строитель по профессии, к тому времени занимал

высокий пост в большой строительной организации. Забыл сказать, что крупных государственных чиновников, особенно строительных, всеобщая проблема жилья не затрагивала. Их дети и даже внуки также не подозревали о наличии в стране подобной проблемы. Квартиры, дачи, вообще, любая жилплощадь как-то сама собой шла в такие семьи и становилась собственностью поколений. Так что, вполне естественно, решение вопроса об освободившейся жилплощади родителей взял на себя профессионал дядя Симон.

Сразу по смерти отца тётя Мина, как дочь, забрала мать к себе. Тут и вступил в дело брат Симон. Он сказал, что, дабы пустующая квартира родителей не пропала, её нужно срочно обменять на квартиру в том городе, где он жил. Конечно, не для него, Симона, Боже упаси! Она пригодится Мите, который, конечно, в соответствии с его талантом, должен обязательно поступить в настоящий архитектурный институт в их большом городе, а не прозябать в провинции.

Все хлопоты по обмену дядя Симон взял на себя. И вскоре, благодаря строительному опыту и связям, в обмен на родительскую двухкомнатную квартиру в нашем небольшом Городе получил однокомнатную в своём городе, большом административном центре. Где у него уже имелось две квартиры, в одной из которых он жил с семьёй. А другую предварительно заготовил для подрастающего сына, буде тот со временем надумает жениться и создать свою собственную семью. На случай же, если в семье сына со временем появятся внуки... Но я снова забегаю вперёд. Вынужден остановить себя, ещё раз обратив ваше внимание на то, что проблема жилья на родине (впрочем, так же, как и проблема питания) существовала далеко не для всех.

Дядя Симон был человек порядочный. Обменяв родительскую квартиру, он не забыл о главном аргументе в пользу обмена: квартира нужна не для него, а для Мити, который, конечно же, должен учиться в настоящем архитектурном институте в большом городе, а не прозябать в провинции. И что теперь, поскольку ему есть, где жить... Сам Бог велел ему не обречь себя на прозябание, а пытаться...

Как раз к моменту завершения истории с обменом Митя окончил школу. И несмотря на протесты тётки Мины, громогасные, но неэффективные, и протесты дяди Юры, молчаливые, но тоже малоэффективные, подал документы в настоящий архитектурный институт, где у дяди Симона, как у строителя, были настоящие рабочие (хорошо работающие) связи.

И тётя Мина прекратила сопротивление. Она никогда не могла переспорить старшего брата, который с детства брал верх во всех их спорах. Он, по-видимому, унаследовал характер отца, в то время, как сестра — характер матери. Что вовсе не означает, будто характер матери передаётся по женской линии, а отца — по мужской. Железный характер деда, как я уже сказал, унаследовала также внучка Кира, и у читателя, заверяю, будет возможность в этом убедиться.

Короче говоря, дядя Симон гарантировал Митино поступление в настоящий вуз. Успокоил тётю Мину тем, что мальчику не придётся жить в студенческом общежитии. А на отчаянный вопрос, почти вопль тётки Мины: «А питаться?! А питаться где он будет?! Где?!» отвечал, что в Архитектурном институте имеется прекрасная студенческая столовая, а по субботам и воскресеньям Митя станет приходить к ним в гости с ночёвкой и таким образом почти на два дня в неделю ему обеспечена домашняя пища, да и вообще, никто не собирается бросать его на

произвол судьбы, а, наоборот, они с женой намереваются опекать племянника с головы до ног.

Тётя Мина, скрепя сердце, доверилась обещаниям брата. А что ей оставалось делать? Но про себя решила, что не оставит сына без материнской заботы, а будет ездить к нему так часто, как только возможно. Они вдвоём с дядей Юрой перевезли Митю на новое место, прожили с ним там две недели и, убедившись, что жизнь сына в чужом городе кое-как налажена, вернулись домой. Тётя Мина, не имевшая никаких иллюзий насчёт студенческой столовой, оставила в холодильнике большую трёхлитровую кастрюлю супа, много жаренных котлет и варёной картошки, винегрет, а также колбасу и сыр для бутербродов, яйца и прочие припасы, и в поезде, пока не заснула, тихонько всхлипывая, успокаивала себя тем, что хотя бы на неделю ребёнок обеспечен и не будет голодать.

С тех пор она регулярно раз в месяц навещала сына с целью обеспечить его едой хотя бы на неделю. К счастью, большой город находился, по масштабам огромной страны, не так далеко, всего одна ночь поездом. Тётя Мина выезжала в пятницу вечером, и уже в субботу рано утром оказывалась на месте и даже успевала приготовить Мите завтрак перед уходом в институт. А в ночь на воскресенье (или в понедельник, если удавалось отпроситься на работе) совершала обратный рейс. Иногда дядя Юра сопровождал жену, но не часто. Какой в нём толк, думала про себя тётя Мина, ещё и на него готовить... Она, правда, пробовала посылать его на рынок за продуктами, но заметила, что дядя Юра, привыкший передвигаться на собственной «Волге», с большой неохотой пользовался трамваем. Каждая поездка в общественном транспорте расценивалась им теперь как унижение, чуть ли не оскорбление человеческого его достоинства. Он мучился, переживал, и тётя Мина сжалилась над мужем и стала ездить на рынок сама.

И дядя Юра перестал сопровождать жену в поездках к сыну, оставался в городе с дочерью Кирой. Она к тому времени училась в девятом классе, выросла, что называется, не по дням, а по часам, и некоторые её замечания вызывали настороженность тёти Мины. Дочь, в детстве так похожая на мать, с возрастом приобретала всё большее сходство с отцом. Причём, не только внешнее. Видимо, так устроен человек. Он рождается похожим на одного из родителей, но потом природа как бы исправляет несправедливость и даёт другому родителю возможность утешиться на старости лет.

Впрочем, тётю Мину не слишком беспокоило усугубляющееся внешнее сходство Киры с отцом. Конечно, неприятно, но не трагедия. Другое дело — сходство характеров. Тётя Мина, конечно, ничего не забыла. Простила, но помнила. И если дочь... Она гнала от себя страшные мысли, успокаиваясь тем, что если, не дай Бог, суждены им цурес с этой стороны, то ещё нескоро.

Она ошибалась. Да и что такое «нескоро» в масштабе жизни? Не говоря уж о вечности.

Кстати, раз уж мы затронули тему: нужно сказать, что тётя Мина хоть и помнила о «художествах» дяди Юры времён войны и сомнительных поездках на рыбалку времён жизни в подвале, но постепенно всё это как-то отдалилось, ушло на задний план. Сейчас, ей казалось, у неё нет особенных оснований для ревности.

Конечно, в пору пребывания дяди Юры на острове... Что тут говорить! Но и тогда тётя Мина, знавшая о категорическом запрете каких-либо контактов с

иностранными женщинами для наших мужчин, особенно носителей государственных секретов (к каковым, бесспорно, принадлежала её муж), была более или менее спокойна. Она сомневалась, чтоб дядя Юра ради минутного (именно минутного!) удовольствия стал подвергать себя риску лишиться «Волги» и вообще... Хотя, конечно, в таких вещах... Но нет, всё-таки она знала мужа и верила, что сидящий в советской его подкорке страх перед государством не позволит ему...

Ну а потом, по возвращении, навалились новые заботы, устройство на новом месте, хлопоты вокруг Мити... Короче говоря, с бедной тётёй Миной произошло то, что происходит с многими женщинами в её возрасте: ослабление бдительности.

В то время как с мужчинами именно в том возрасте, в каком находился дядя Юра, происходит... Как бы это сказать попроще? Происходит нечто, заслуживающее совершенно противоположного, то есть повышенной бдительности со стороны жён.

Ловец блондинок выходит на охоту.

И дядя Юра не оказался исключением из правила. С ним тоже стали происходить вещи или, лучше сказать случаи... Не знаю, правда, уместно ли тут множественное число. Мне известно об одном случае. Но за достоверность могу поручиться головой. Ибо узнал о нём от человека, в чьей честности уверен как в своей собственной, если не больше.

Человек этот, наша родственница, представляла из себя своего рода феномен. Феномен честности. Достаточно сказать, что она в течение тридцати (!) лет проработала начальником торгового (!!) отдела городского аптекоуправления (!). Представляете возможности? Но она никогда ими не пользовалась. Помогала всем, кому могла. Совершенно безвозмездно. Кто бы ни обратился к ней с просьбой о лекарстве или просто о помощи, она не отказывала никому. Делала всё, что в её силах. Была любимицей города. Её имя открывало многие двери. Стоило только назвать себя племянником Татьяны Львовоной, и в любой аптеке Города вы получали дефицитный йод или аспирин. И не потому, что её боялись или хотели угодить. А потому, что её любили. Татьяна Львовна, тётя Таня, однако, заслуживает отдельного рассказа, каковой я когда-нибудь напишу. В том числе, в подтверждение мысли о том, что коррупция не так уж неизбежна и есть способ ей противостоять — оставаться честным. Правда, для этого существует условие: нужно родиться ангелом.

И вот наша ангельская тётя Таня стала невольным свидетелем попытки дяди Юриной супружеской измены.

Я не могу сказать, что предопределило тот всплеск дяди Юриной мужской активности. То ли чувство свободы, вызванное наличием «Волги», выходом в отставку и отсутствием тёти Миной (она в очередной раз выехала в другой город готовить сыну обед). То ли двухлетнее наблюдение горячих зовущих кубинских женщин без права приближения дало запоздалую реакцию, и теперь, оказавшись на родине, он решил наверстать. То есть, самые дерзкие свои кубинские фантазии дядя Юра, по-видимому, намеревался осуществить не на переполненном агентессами вражеских спецслужб острове, а здесь, дома, в более спокойных условиях. Где, слава Богу, нет запрета на контакты с женщинами, и никто, кроме, конечно, Миночки... Но она сейчас далеко.

Дядя Юра почти не сомневался в успехе задуманного предприятия. Какая же

советская дама устоит перед полковником с «Волгой»? Новый чин и автомобиль стали залогом его неотразимости, несмотря на маленький рост и некрасивое лицо.

Что же касается семейного положения, то это, рассуждал полковник в отставке, его частное дело. Врать он не собирается, но и афишировать нет смысла. Главное — избежать общих знакомых. Город наш всё-таки невелик, и если каким-то образом дойдёт до жены... Дядя Юра гнал ненужные мысли и полагался на интуицию. Ну и, конечно, на везение.

Итак, однажды в субботу утром, проводив накануне тётю Мину на вокзал, дядя Юра засобирался — куда бы вы думали? Конечно же, туда, где более всего пристало приличному человеку в чине полковника осуществлять свои романтические мечты — на наш самый романтический в мире Приморский бульвар.

Дядя Юра долго обдумывал гардероб. Понятно, чтоб поразить рисующуюся ему в воображении соблазнительную блондинку, лучше всего подошла бы полковничья форма. Даже без фуражки. Все знали, что ни одна советская женщина не в силах устоять перед мужчиной в военной форме. Но дядя Юра боялся выдать себя, привлечь внимание прохожих. В конце концов, не так уж много сухопутных полковников в нашем приморском городе — что если опознают? Донесут? Сболтнут жене? Да и вообще, как это будет выглядеть: солидный человек, полковник в полной военной форме преследует соблазнительную блондинку в штатском... О брюнетках дядя Юра не помышлял — видно, страх нарваться на агентессу спецслужб навсегда отбил у него охоту к женщинам испанского типа.

Итак, полковник решил одеться нейтрально — в ту же заграничную бобочку и бежевые лёгкие брюки. Вместо легкомысленных босоножек, за неимением другой парадной обуви, пришлось надеть военные ботинки, которые накануне вечером дядя Юра начистил до зеркального блеска и предусмотрительно выставил на ночь на балкон, чтоб выветрить едкий запах отечественной ваксы.

Проводив дочь в школу, дядя Юра быстро позавтракал, по-военному молниеносно оделся и помчался на бульвар. Вы спросите, куда он спешил? Действительно, спешить было некуда, соблазнительные блондинки вряд ли торопились на бульвар с утра пораньше в субботу. Но дядя Юра руководствовался не логикой, не трезвым умом — им двигало страшное нетерпение. Ему, вероятно, представлялось, что блондинки уже выстроились в ряд на бульваре в ожидании отставного подполковника Парамонова, и как бы кто их не перехватил, буде сам Парамонов замешкается.

Приморский бульвар, однако, оказался почти пуст. Горожане отсыпались после трудовой недели. Осеннее солнце слегка пригревало, поднявшись из-за Думы, ветерок гонял по асфальту первые опавшие листья платанов. Дядя Юра немного походил перед пушкой на постаменте, поглядел на серебристое море и вернулся в машину. Включил приёмник, прослушал последние известия. Затем протёр специальной тряпочкой и без того блестящие военные ботинки, вышел из машины, тщательно заперев дверцу и подёргав её на всякий случай. И двинулся к дюку, где уже открылся киоск с газированной водой. Выпил два стакана воды: один с сиропом, один без. И отметил, что бульвар постепенно заполняется людьми.

Но среди них пока что не имелось ни одной соблазнительной блондинки. Дядя Юра дошёл до дворца губернатора, вернулся к Дюку, прошествовал к памятнику Поэту — никого. Мамаши с детьми занимали скамейки, пенсионеры со стуком

раскрывали шахматные доски. Соблазнительных блондинок не было ни одной. Наконец, трижды проделав путь от Думы до дворца и обратно, дядя Юра заметил одинокую шатенку, сидящую на скамье недалеко от памятника Поэту. К тому моменту он уже решил про себя, что не станет настаивать обязательно на блондинке. Светлая или пусть даже тёмная шатенка — тоже, в конце концов... Но пока он вспоминал заранее заготовленную первую фразу, к шатенке подошёл посторонний — для дяди Юры, конечно — мужчина и увёл её в сторону театра. Дядя Юра с досады плюхнулся на скамью и тут заметил блондинку, идущую соседней аллеей вдоль парапета над обрывом. Дядя Юра вскочил, стремительно обогнул клумбу и пристроился к блондинке в хвост. Вблизи она оказалась крашенной и старше, чем издали, но не отступать же теперь, тем более в условиях такого безрыбья, подумал рыболов-любитель со стажем. Зато лицо её, пусть и не столь молодое, мне совершенно незнакомо, и, значит, нет никакого риска... Почему дядя Юра был так уверен, что незнакомое ему лицо не может быть знакомо тёте Мине или кому-то ещё из родственников, не знаю. Скорее всего, полагался на безошибочную свою интуицию. Хотя не стоит особо доверять интуиции — она обычно подсказывает нам то, что мы хотим услышать.

По дороге дядя Юра освежил в памяти заготовленную первую фразу. Главное — как можно скорее дать понять даме, что он является владельцем припаркованной поблизости «Волги». После чего, казалось дяде Юре, всё пойдёт, как по маслу. А если к «Волге» как бы между прочим, вскользь, удастся присовокупить полковничий чин...

Но разговор с крашенной блондинкой как-то не клеился. Не то, что до «Волги» не дошло — дело не двигалось дальше первой фразы. То ли фраза оказалась неудачной, то ли отставник произнёс её без нужного задора... Так или иначе, дама шла вперёд, совершенно не реагируя на дядю Юру. А он, никак не ожидая такого поворота, не придумал заранее, что предпринять в подобном случае. Дядя Юра, надо сказать, по природе не был импровизатор, предпочитал заготовки. И теперь молча, с унылым лицом, едва поспевая за широким шагом избранницы, семенил сзади. Иногда, правда, пытался разрядить обстановку каким-то неуместным, нелепым замечанием, от чего дама лишь ускоряла шаги.

Трудно сказать, почему она вела себя столь враждебно. Может быть, не хотела мимолётных знакомств, была человеком строгих правил и образцовой нравственности. И уже имела мужа и любовника, и теперь, с трудом вырвавшись от одного, спешила к другому, а тут какой-то придурок путается под ногами. А может, едва глянув на преследователя намётанным глазом, усекла, что он ниже её ростом чуть ли не на целую голову. Лишь очень немногие женщины готовы терпеть рядом с собой мужчину ниже себя, и то лишь в экстремальных ситуациях, например, когда нет других вариантов, или когда есть общие дети.

Так, почти в полном молчании, всё ускоряя и ускоряя шаг — дяде Юре пришлось перейти на рысь — дошли до площади Герцога. Герцог стоял на всегдашнем месте, привычно указывая правой рукой на море. Но блондинка свернула в противоположную сторону, к улице Марксизма-ленинизма, бывшей Екатерининской, вероятно, надеясь, что дядя Юра отстанет и пойдёт далее по бульвару. Не тут-то было. Мы уже знаем, что дядя Юра обладал упрямым характером и всегда добивался поставленной цели. Беспокоило только, что они всё более удаляются от главного его козыря, «Волги», и что если всё-таки зайдёт о ней речь, то

придётся долго возвращаться, чтоб продемонстрировать блондинке, что он не врёт. Да и не любил он оставлять четырёхколёсного друга без присмотра.

Тем временем прошли рысью два квартала и приближались к Лассалевской. Дядя Юра начал подумывать, не прекратить ли преследование, тем более, что и сам уже не очень понимал, в чём его смысл. «Куда мы идём?» — спрашивал он себя. «А главное, зачем?» Но остановиться не мог. Было обидно, что женщина его, похоже, недооценивает, хотелось удивить её, предъявить «Волгу» и тем резко повысить свою цену в её глазах. Но как навести разговор? «Вы не устали? Вас подвезти?» Нет, теперь это выглядело бы нелепо. Где они, а где машина. Как назло, ничего другого не приходило в голову. Дядя Юра настолько сжился с идеей пленить женщину с помощью автомобиля, что уже не мог перестроиться.

Дошли до большого углового дома, чей фасад выходит на Лассалевскую, а вход во двор со стороны улицы Марксизма-ленинизма. Неожиданно дама юркнула в ворота — дядя Юра за ней. Она прошла через двор, дядя Юра за ней; дошла до дверей подъезда и тут, наконец, остановилась.

— Мне сюда, — сказала блондинка холодно, видимо, рассчитывая, что этот идиот, наконец, отцепится.

— Мне тоже, — нашёлся дядя Юра неожиданно для себя самого. Он, видно, всё ещё не терял надежды. Да и не хотелось возвращаться на бульвар с пустыми руками. И что там? Начинать всё сначала? Ну и сорвалось это необдуманное «мне тоже», после чего отступить уже нельзя. Но и дальше преследовать — а что если она здесь живёт? И не одна? С мужем? «Ещё по шее получить не хватало!» — думал боевой полковник в отставке.

В доме без лифта квартиры имели высокие потолки, поэтому на четвёртый этаж поднимались долго. Дядя Юра успел выработать план. Он решил слегка приотстать от блондинки и далее действовать по обстоятельствам. Но тут она снова остановилась и сделала последнюю попытку избавиться от назойливого недомерка.

— Здесь живёт моя подруга, — сказала дама угрожающе. — Она вас не приглашала!

У дяди Юры отлегло от сердца. Во-первых — «подруга», значит, нет риска получить по шее. Во-вторых, она с ним заговорила! Дядя Юра расценил это как аванс и даже как скрытое приглашение. Он вдруг почувствовал воодушевление, небывалый прилив мужской энергии и ответил с нагловатой ухмылкой:

— Так пригласит!

Пока блондинка нервно нажимала кнопку звонка, глупая сия ухмылка не сходила с лица дяди Юры. И держалась ещё некоторое время, как приклеенная, даже после того, как тётя Таня, наша родственница и задушевная подруга моей мамы и тётки Мины, открыла дверь.

Как-то так получилось, что дядя Юра, конечно, хорошо знавший тётю Таню, до сих пор ни разу не бывал у неё в гостях. Этот раз оказался первым.

Он сразу узнал тётю Таню. Однако не подал виду. Сказалась военная выдержка. И тётя Таня тут же опознала родственника. Её выдержка руководителя торгового отдела аптекоуправления оказалась ничуть не слабее военной. Она быстро провела гостей на кухню, поставила чайник и пошла в спальню предупредить мужа. Который, конечно, тоже знал дядю Юру; главным образом, как мужа тётки Мины.

Оставшись с блондинкой наедине, полковник совершенно потерялся. Он не

знал, как себя вести. О чём разговаривать? А главное, в каком качестве он здесь? В качестве друга блондинки? Или мужа тёти Мины? Да ко всему ещё — беспокойство о «Волге», оставленной в одиночестве на бульваре, даже без противоугонного устройства. Хорошо ещё, если угонят жулики или мальчишки, есть хоть слабая, но всё же надежда, что найдётся. А если милиция? Тогда прости-прощай, с риском для жизни заработанный на острове четырёхколёсный друг! (О риске для жизни и охоте на него вражеских спецслужб дядя Юра рассказывал всему Городу и в конце концов сам в это поверил.)

И пока тётя Таня пыталась ввести заспанного мужа в курс дела, отважный полковник в отставке сделал вид, что идёт мыть руки, вышел в переднюю и оттуда — на лестницу. То есть позорно бежал.

Блондинка — она оказалась сослуживицей тёти Тани — долго извинялась за вторжение, оправдываясь тем, что не знала, как отцепиться от этого придурка, который пристал, как банный лист и тащился за ней от самого бульвара. Дипломатичная тётя Таня, понятно, ни словом не обмолвилась, что «придурок» — её родственник. К её чести нужно заметить, что, хотя все наши родственники, включая маму и её сестру, узнали о происшествии в тот же день, тайна была сохранена. Тётя Мина до сих пор ничего не знает о том бесславном походе мужа. Хотя, кто может сказать наверняка?

Непризнанный гений и ночная бабочка.

Но тогда тётю Мине точно было не до этого. То есть, не до дяди Юры и его развлечений. Все мысли тёти Мины были заняты Митей. Промежутки жизни между визитами к сыну делились на две части: часть первая — переживание и обсуждение впечатлений от последней поездки; часть вторая — подготовка к следующей. Тётя Мина приспособилась готовить некоторые нескоропортящиеся блюда, например, блинчики и проч. выпечку загодя, дома, в привычных условиях, и, аккуратно упаковав их в коробочки и мисочки, везла с собою в большой город. И там уже варила только суп (или борщ) и второе. Правда, Митя, пользуясь обретенной свободой и будучи «предоставлен самому себе» (тётя Мина произносила эту фразу с драматическим накалом, потряхивая под подбородком сцеплёнными ладонями), суп систематически не доедал. Мать по приезду находила половину, а то и три четверти кастрюли нетронутыми, что буквально травмировало её, поражало в самое сердце. В её сознании не укладывалось, как можно жить без супа, без горячего, без жидкого!

Тут нужно заметить, что суп на родине всегда был важнейшей и неременной частью стола и главным подспорьем в решении вечной проблемы питания. Ни одно другое блюдо не обходилось так дёшево и не давало такой иллюзии сытости, как например, картофель и капуста, сваренные в большом количестве воды и с этой же водой подаваемые к столу; если же отвар удавалось разбавить бульоном из говяжьих костей — иллюзия становилась почти реальностью.

Но Митя, по-видимому, не разделял точки зрения матери на неизбежность супа в жизни людей, и она, после тихих и мягких укоров, выливая остатки и готовила новую кастрюлю варёва, в надежде, что сын всё-таки возьмётся за ум.

Другое дело — винегрет, котлеты и колбаса. Тётя Мина подозревала, что эти продукты, не требующие подогрева, Митя съедал в течение первой недели после её

отъезда, «а чем же он жил (в смысле — что ел) остальные три недели?!» — горестно вопрошала тётя Мина и не находила ответа.

Идея дяди Симона насчёт приобщения племянника к их домашней кухне оказалась несостоятельной. Во-первых потому, что жена дяди Симона тётя Варвара терпеть не могла готовить. Сам дядя Симон питался в закрытой столовой Строительного управления. Для таких столовых, как я уже сказал, не существовало проблемы питания, наоборот, там во всякое время, включая военное, бесплатно подавали красную и чёрную икру и балык из сёмги. Тётя Варвара питалась дома, но ела очень мало, берегла фигуру: круасан с кофе, два небольших крекера с красной и чёрной икрой на завтрак, салат из крабов и несколько ломтиков лосося на обед, бутерброд с осетриной и лимоном и рюмка коньяка на ужин — вот и всё, что она могла себе позволить. Для приготовления обедов для единственного сына Виктора сначала приглашали «специальную женщину» (так называла её тётя Варвара в разговорах с родственниками), но лет с одиннадцати, когда у дяди Симона появилась служебная машина, мальчика сразу после школы отвозили в особый ресторан, куда допускались только представители государства. У дяди Симона имелся бесплатный пропуск в госресторан, но он им не пользовался, вместо себя посылал сына.

Митя пару раз приходил к дяде в гости с ночёвкой; семья дяди, как и все семьи, жила своей жизнью, Митя чувствовал себя чужим в этой жизни и скоро совсем перестал бывать у них. Других родственников или знакомых в большом городе у Пармоновых не было. И Митя, баловень семьи, привыкший к домашнему кругу, к заботе и ласке, к восхищению и обожанию близких, оказался в полном одиночестве. Он не обладал общительным характером, был застенчив, и потому не заводил друзей среди сверстников обоего пола.

И с учебой на архитектурном факультете не складывалось. Митя любил живопись, имел «отлично» по рисунку, но не мог взять в толк, зачем архитектору нужны скучнейшая математика, непонятная физика, та же начертательная геометрия и ещё уйма всяких лишних предметов. Все эти бесполезные лекции он пропускал, что в советском вузе считалось грубейшим дисциплинарным нарушением; Митю дважды вызывали в деканат, отчитывали, предупреждали, выносили выговоры и вывешивали на институтскую доску Позора.

Тётя Мина, как всякий дисциплинированный советский человек, понимала, с одной стороны, справедливость требований институтского начальства. Но с другой стороны жалела своего мальчика, защищала его перед дядей Юрой — он держал сторону деканата — и, тряся под подбородком сцеплёнными ладонями, говорила, что не может видеть, как измываются над ребёнком, что у неё просто «сердце кровью обливается», в то время, как он, родной отец, ведёт себя как «твердолобый и толстокожий солдафон», и даже не в состоянии хоть на минуту... и т.д.

Дядя Юра отмалчивался, но в глубине души обижался на солдафона (он ещё не забыл абсолютно незаслуженного сексуального маньяка) и вёл с жёной внутренний диалог, про себя отвечая не без остроумия и на «обливающееся кровью сердце» (А чем ещё оно может обливаться!?), и на «родного отца», и на все прочие оскорбления. И в качестве мести мысленно готовился к следующей вылазке на бульвар.

А тётя Мина всякий раз после очередной поездки к сыну впадала в депрессию и клялась себе, что первый Митин год в большом городе будет последним, и что она сделает всё возможное, чтоб перевести сына в их хоть и «провинциальный», но

родной и близкий географически строительный институт, где имеется замечательный архитектурный факультет.

Что она и выполнила: следующий учебный год Митя начал в нашем Городском Строительном институте, куда от их дома ходил прямой троллейбусный маршрут. Впрочем, дядя Юра иногда подвозил сына на «Волге» прямо к главному входу в институт. Высадив Митю, он не сразу отъезжал; выходил из машины, якобы для того, чтоб протереть ветровое стекло; смотрел сыну вслед, картинно помахивая кистью руки — не по-нашему, вниз-вверх, а на заграничный манер, справа налево и обратно. Затем горделиво оглядывался по сторонам, и на виду у толпы стекающих на занятия студентов и студенток с достоинством садился за руль почти новой тёмно-синей «Волги», зачем-то сигналил и ехал на службу в контору по охране. Однако такое удовольствие выпадало ему нечасто, так как за время самостоятельной жизни в большом городе Митя привык пропускать утренние лекции.

Отдельная однокомнатная квартира в большом городе осталась, как и следовало ожидать, за профессиональным строителем и собирателем квартир дядей Симоном. Но счастливая, освободившаяся от постоянного стресса тётя Мина даже не думала о таких мелочах — что значит какая-то там квартира по сравнению с вновь обрётённым душевным покоем? Зато Митя теперь был всегда, во всякую минуту при ней, как говорится, сыт-одет-обут, ухожен... Тётя Мина, как и многие родители, долго не могла примириться с мыслью, что рано или поздно дети должны покинуть родительский дом и начать сами устраивать свою жизнь. Привычка заботиться о детёныше, свойственная многим млекопитающим, у человека иногда бывает либо гипертрофирована, либо атрофирована. Особенно часты две эти крайности у жителей родной страны, ортодоксов по природе, живущих в вечном страхе перед окружающей действительностью и варварским государством.

Ну и, конечно, всем народам мира свойственный страх старости и смерти играет роль: родители, стремясь задержать взросление детей, тем самым бессознательно пытаются продлить собственную молодость.

Что до самого Мити — он изменился по сравнению с тем, каким был до отъезда в большой город. Где глотнул свободы — и сей глоток оказал своё губительное действие.

Во-первых, он напрочь и навсегда отказался от супа. Но это бы ещё полбеды. Беда состояла в том, что Митя, недавно страдавший от одиночества в удалении от семьи, теперь, вернувшись в семью, страдал от её круглосуточного непрерывного присутствия.

Раздражало всё — мягкие терпеливые наставления матери, дисциплинарные высказывания отца, даже грассирующие умствования сестры Киры. В семье Парамоновых, как и во всех семьях страны, было принято рано вставать и куда-то идти: на работу, в вуз, школу или детский сад. Еще недавно за опоздание на работу можно было угодить в тюрьму — государство не так давно отменило этот закон. Даже пенсионеры, которым идти было некуда, по инерции вставали рано и тоже куда-то шли, спешили в магазин или на рынок, чтоб не опоздать, занять очередь, опередить других пенсионеров-конкурентов.

Не таков был Митя. По-видимому, сказывалась принадлежность к новому поколению: при первых лучах утреннего солнца он не торопился вскочить с постели и бежать куда-либо, подгоняемый страхом опоздать на службу и попасть в тюрьму, а

переворачивался на другой бок досматривать сновидения. Его деликатно не будили, хотя тётя Мина нервничала, подозревая, что сын опять пропускает первую лекцию, а дядя Юра, мечтавший подвезти Митю на «Волге» и покрасоваться перед студентками, ждал до последнего; не дождавшись, с досады хлопал дверью и уезжал в одиночестве.

Все эти, в сущности, мелочи изменили климат в прежде дружной парамоновской семье, из-за чего тётя Мина сильно расстраивалась. А дядя Юра тосковал по тому времени, когда жена по выходным ездила кормить Митю, и он мог беспрепятственно посещать бульвар и там знакомиться с соблазнительными блондинками. Ему очень хотелось хотя бы ещё раз попробовать, попытаться счастья, реабилитироваться в собственных глазах, но присутствие тётя Мины как-то сковывало; в конце концов именно её дядя Юра стал мысленно обвинять в своих любовных неудачах.

Митю же мучила ностальгия по прежней одинокой жизни. Конечно, у одиночества имеются некоторые недостатки, но зато по утрам, когда самый сладкий сон приковывает человека к постели, никто не заглядывает в комнату, деликатно приоткрывая скрипящую дверь и не вздыхает потихоньку, как над смертельно больным.

И только самостоятельная Кира представляла собой светлое пятно на мрачнейшем семейном небосклоне. Дочь ежедневно, включая выходные, вставала по будильнику. Отправлялась в школу, а со временем — в Университет, куда поступила на очное отделение факультета иностранных языков. Что было в империи не так уж просто для человека, не обладающего безупречными анкетными данными. Но у Парамоновой Киры Георгиевны, русской, дочери полковника в отставке, анкета почти отвечала наивысшим критериям; к тому же она хорошо училась. И главное, во всех своих действиях руководствовалась природным даром предвидения.

Одно лишь беспокоило тётю Мину: усиливающееся сходство Киры с отцом. Она боялась, что мужская энергия дяди Юры трансформируется у дочери в энергию женскую, и ещё неизвестно, что опасней. Упала на то, что Кирина деловитость и серьёзность не позволят ей... Напрасно. Я заметил, что у многих деловых женщин серьёзность прекрасно уживается с легкомыслием в известном смысле. Что вполне логично: они независимы по сути и, в отличие от всех прочих дам, относятся к мужчине не как к средству достижения благополучия, а как к радости жизни. При этом трезво отдавая себе отчёт, что всякая радость преходяща.

А живописец Митя чем дальше, тем более разочаровывался в архитектуре. Сейчас я уже не помню, удалось ли ему окончить архитектурный факультет. Но знаю наверняка, что архитектором он не проработал ни одного дня.

Очевидно, Митины природные склонности шли вразрез с представлениями его родителей о счастье. Они, всю душою желая любимому сыну лучшей участи, понимали лучшую часть в полном соответствии со стереотипами, навязанными нашим людям родным государством: человек с утра рано встаёт, идёт на службу. Там он в течении восьми часов прилежно трудится, что-то проектирует. Получает ежемесячную заработную плату. На эту зарплату покупает (достаёт) продукты, одежду, предметы быта. Оставшиеся после покупок деньги относит в сберегательную кассу. Со временем его повышают в должности. Соответственно повышается зарплата. Улучшается качество жизни: он может покупать (доставать) лучшие и в большем количестве продукты, одежду и предметы быта. И относить в сберкассу

больше денег. И так далее.

Мне могут сказать, что я упрощаю, что, мол, имелось в жизни людей и нечто более, так сказать, возвышенное. Имелось, не спору. Люди ходили в кино, в театр и на концерты, пели под гитару походные песни. Некоторые, в том числе тётя Мина, подозревали, что вышеописанной схемой не исчерпывается смысл жизни человека. Но подозрения, как правило, так и оставались подозрениями. Дальше них дело не шло. И родители упорно продолжали заталкивать детей в привычную схему и навязывать им свои представления о жизни, причём страшно обижались и огорчались, если детям, в отдельных случаях, всё-таки удавалось жить по-другому.

Мите, похоже, предстояло стать одним из таких отдельных случаев. Ежедневный восьмичасовой рабочий день вряд ли виделся ему, говоря нынешним языком, как системообразующий фактор его дальнейшей жизни. Родители же выбрали для сына архитектурный факультет, поскольку считали архитектуру единственным способом увязать талант сына к живописи с возможностью получить работу в каком-либо проектном институте, куда он будет ходить ежедневно на восемь часов за регулярную заработную плату. Они просто не могли себе представить какой-либо другой образ жизни, достойный интеллигентного талантливого человека. Тех, кто жил иначе, на родине порицали, даже презирали и называли ругательным словом «богема».

И вот родной сын (оба совершенно позабыли, что когда-то усыновили Митю), гордость и надежда семьи, вдруг оказывается буквально в одном шаге от этой пропасти и, судя по всему, готов сделать последний шаг. Дядя Юра теперь расстраивался даже сильнее, чем тётя Мина. Она, как мы помним, тоже восхищалась митиными чучелами, бабочками и закладками, но её материнское восхищение в кругу ближайших родичей не шло ни в какое сравнение с отцовской гордостью дяди Юры. Который давно поверил, что его гены каким-то чудесным образом прижились в приёмном сыне, и скоро начнут, как говорится, давать заслуженные плоды. Митя станет известным на всю страну архитектором, доктором или академиком архитектуры, и по его проекту построят... построят... что-нибудь значительное, грандиозное, что останется в веках и увековечит их фамилию. А пока, проходя мимо с кем-либо из знакомых, можно будет через плечо кивнуть на грандиозное митино сооружение и спросить небрежно:

– Видал? Возведено по проекту архитектора Парамонова Дмитрия Георгиевича. Затем подвести знакомого к доске, где всё это высечено официально на мраморе. И ответить, как бы нехотя, на ожидаемый вопрос:

– Да нет, не однофамилец... Родной сын.

И вот *на тебе*. Парень не хочет идти на работу в проектный институт! То есть не то, что планы насчёт мраморной доски рушатся, но и недавнее прошлое, когда во время праздничного обеда в кругу родственников и друзей можно было, отложив вилку, вдруг заявить, что Митяша снова потряс домашних, поймав бабочку, которой доселе не существовало в природе, и затем без конца пережёвывать новость, вместе с закуской, горячим и десертом — даже и это прошлое минуло безвозвратно.

Правда, дядя Юра не растерялся, нашёл выход. Теперь он говорил соседу по столу громко, чтоб слышали все присутствующие, и как бы возмущаясь чрезмерной милостью Бога по отношению к нему, дяде Юре:

— Мне не нужен сын - гений! Зачем мне гений? Лучше бы был обычный, не

такой гениальный ребёнок!

То есть он, под соусом возмущения и якобы недовольства, трижды во всеуслышание ещё раз напоминал, что его сын — гений (чем обязан понятно чьим генам) и что временные проблемы с его трудоустройством в проектный институт вызваны не чем иным, как Митиной бьющей через край гениальностью.

Многие, между прочим, на это клевали. Например, мой папа. Никогда бы не подумал, что разговоры о Митиных талантах, сопровождавшие всё моё детство, затрагивали папино самолюбие. Я полагал, ему по барабану.

Но нет. Папа, определённо не считавший гением своего сына, то бишь меня, оказывается тайком переживал, что у других вот сыновья — гении, а ему не повезло. И может, даже завидовал дяде Юре, когда тот, откладывая вилку, заводил свою шарманку про гениально расписанные сыном сверкающие глаза чучела кабана («все прямо шарахаются!»), до сих пор украшающего ресторан Дома офицеров Западного округа.

А теперь выясняется, что гений — не так уж хорошо, с точки зрения устройства в проектный институт. Папе было приятно; в психологические же нюансы, в двойной, так сказать, смысл дяди Юриных сентенций, он не вникал. Просто ему нравилось, что у не-гениев, оказывается, тоже есть свои преимущества, и он повторял дяди Юрину фразу много раз, не без удовольствия. Папа искренне верил, что его-то собственный сын (то есть я) уж наверняка попадёт в вожделенный проектный институт и проведёт там всю сознательную жизнь до пенсии. А то и после. Папа, в отличие от племянницы Киры, даром предвидения не обладал вовсе.

Нужно отдать должное тёте Мине: она как мать, в отличие от мужа, беспокоилась о сыне и его судьбе больше, нежели о собственных амбициях, и пыталась помочь Мите найти работу. Смирив гордыню, она в интимных разговорах с подругами и родственникам горестно жаловалась на несправедливость судьбы к ее мальчику, подхныкивала, но, поскольку всё же не могла удержаться от расхваливания митиных способностей, добивалась результата, обратного желаемому. Подруги, едва заслышав надоевшую песню о Митиных сверхспособностях, тут же замыкались, суровели лицом, а некоторые даже доходили до прямой дерзости — соорив сочувственную физиономию, якобы сокрушались:

— Как же так, Миночка? Такой талантливый — и не может найти работу... В нашей-то справедливой стране!

И тётя Мина, как опытный житель справедливой страны, мгновенно сообразив, куда клонит соседка, пугалась и немедленно переводила разговор на другую тему.

Особенно длительные и откровенные разговоры о Митиной безработице тётя Мина вела с моей мамой. Во-вторых, как с родным и отзывчивым человеком. Во-первых — как с состоявшимся архитектором, проработавшим большую часть жизни в проектном институте.

Тётя Мина не ошиблась в адресе. Мама оказалась единственным человеком в Городе, кто по-настоящему принял участие в Митиной судьбе.

Проектный институт, где служила мама, занимался проектированием так называемых коммунальных сооружений. Водопроводных, канализационных и насосных станций и подстанций, а также — употребим модное слово — гибридов. То есть станций водопроводно-канализационных, или водпрводно-насосных, или... вообще, понятно. В виде исключения случались подарки судьбы — проекты

общественных бань; одна такая баня, трёхэтажная, в самом центре нашего Города, на улице Герцога, сооружена по проекту моей мамы. Чем я горжусь с детства. Эта Главная баня Города имеет лепные потолки с плафонами и фризы в дворцовом стиле ампир, приверженность к которому мама, дочь конюха и домохозяйки, пронесла через всю жизнь и чьи отголоски ощутимы во многих водопроводно-канализационных сооружениях Города и области. Что наверняка станет неразрешимой загадкой для археологов будущего.

Сейчас вдруг вспомнил, что, к стыду своему, ни разу не был в маминой бане, а плафоны и фризы видел только на фотографиях, сделанных папой и представленных мамой для вступления в Союз архитекторов. В Союз маму приняли; однажды она даже получила путёвку в Дом созидания архитекторов в Гагре по льготной цене; отдыхать по путёвке, правда, поехал папа.

Мама долго думала, как помочь Мите, и её раздумья принесли плоды.

Однажды их институт получил ответственное задание: проект канализационно-насосной станции, обслуживающей правительственный санаторий. Как мы помним, руководители государства имели безразмерные желудки и ели гораздо больше, чем обыкновенные люди. Тем более на отдыхе в государственных санаториях, где всё, включая обильную еду высшего качества, оплачивало рабоче-крестьянское наше государство. И потому правительственному санаторию требовалась особая, сверхмощная канализационная подстанция с просто-таки гигантскими насосами. Поскольку обыкновенные не справлялись.

Грандиозность маминого архитектурного замысла вполне соответствовала размеру канализационных насосов. Она, как выражались в проектных институтах, запроектировала фасад с колоннами, портиком и фронтоном в стиле ампир, но беспокоилась, что подобное роскошество могут не утвердить для здания столь, так сказать, примитивных нужд. И вот тут она вспомнила о безработном племяннике-живописце. Чьё мастерство, решила мама, убедит комиссию в том, что никакой иной архитектурный стиль не в состоянии передать грандиозность её замысла. Да и подзаработать парню не помешает; заодно и репутация мамы среди родственников как отзывчивого и влиятельного архитектора подтвердится навсегда.

Вскоре Митя получил заказ на оформление проекта канализационно-насосной подстанции для правительственного санатория «Заря коммунизма». И вложил в него весь свой талант.

Он долго раздумывал, в каких красках живописать канализационный фасад. Маслом? Гуашью? В конце концов остановился на акварели, как наиболее нежном, способном передать всё множество оттенков выразительном средстве.

Когда мама принесла Митин планшет директору института, тот молчал несколько минут. Разглядывал картину. Похоже, то было самое сильное художественное потрясение в его жизни. Потом тихо спросил слегка севшим голосом:

— Шо ж... шо ж это такое?..

— Это наша канализационно-насосная подстанция! — ответила мама, внутренне гордясь племянником.

— Ну надо ж... надо ж... — Директор встал из-за стола, обошёл планшет вокруг, снова вперился глазами в произведение искусства. Видимо, не мог оторваться. И действительно, имелось в акварели что-то неназываемое, таящееся в глубине митиной художественной натуры. Что именно? Да кто его знает... Может быть,

извечный конфликт артиста с миром, отражённый так или иначе во всём, что он делает, придающий его творениям оттенок печали, знакомой каждому. Акварельный цвет неба над фасадом подстанции, пролетающие лёгкой дымкой облака, сиротливые графические деревья по сторонам...

Проект прошёл с блеском. Директор лично повёз его на утверждение в министерство в столицу, куда отправился один в двухместном купе мягкого вагона. На одном мягком диване спал директор. На другом — митин планшет.

По возвращении директор распорядился повесить картину на почетном месте в парадном вестибюле нового здания института. С тех пор прошло почти сорок лет. Митина работа до сих пор висит там, хотя сам институт Коммунального проектирования давно перестал существовать, и никто толком не знает, что сейчас находится в когда-то роскошном модерновом, а ныне обветшалом и облупленном двенадцатиэтажном здании.

Что ещё раз подтверждает тот факт, что настоящий талант сам прокладывает себе дорогу в вечность, без особых усилий со стороны обладателя.

Митя, несомненно, имел настоящий талант. И как все талантливые люди, не терпел несвободы и отвергал любые попытки навязать ему общепринятый образ жизни. Нельзя сказать, чтоб родители оказывали на него давление, нет, Боже упаси — при тёти Мининой-то деликатности и дяди Юриной любви к сыну. Однако Митя, мальчик чувствительный, понимал их переживания и ощущал дискомфорт от своего присутствия в родительском доме.

Но что было делать? Куда деваться? Проблему жилья никто не отменял. И она по-прежнему формировала и разрушала семьи, порождала вековые конфликты между отцами и детьми, а позднее, когда страну начал прибирать к рукам криминал, стала причиной многочисленных тяжёлых преступлений, включая убийства.

Ну а в то, пока сравнительно мирное время существовал единственный способ разъехаться с родителями: жениться на женщине с квартирой.

Но легко сказать. Где её возьмёшь, такую женщину? Где искать? Тем более, по любви. Ведь не ради квартиры же люди женятся! Особенно в юном возрасте, когда корыстные соображения ещё не настолько овладевают человеком, как в более зрелом. И влюбляются, как правило, в школьных или институтских подружек. То есть, в сверстниц.

Но сверстницы и сами живут с родителями. Что ж, менять одних родителей на других? Своих, хоть и надоевших, но привычных — на чужих? Тем не менее, многие шли на такое, обрекали себя на мучения. Одни по глупости, другие от безвыходности, третьи приносили жертву во имя любви. Некоторые счастливцы, правда, получали от обеспеченных (так в империи называли зажиточных людей, больших начальников, знаменитых артистов и писателей, крупных воров, спекулянтов и т.п.) родителей, вроде дяди Симона, молодую жену или мужа вместе с отдельной квартирой. Но обеспеченные, за редким исключением, предпочитали выдавать детей замуж в своём кругу, в пределах своего класса. Тогда осуществлялся равноправный обмен: например, если родители мужа дарили молодожёнам квартиру, то родители жены — дачу, на худой конец, новый автомобиль. Или наоборот. Главное, соблюсти равновесие, чтоб никого не обидеть.

Стало быть, Мите и ему подобным оставалось одно: жениться на женщине, старшей по возрасту. Зрелой, закалённой в борьбе за жизнь, отвоевавшей квартиру

либо у государства, либо у бывшего мужа. Естественно, приходилось мириться с различными недостатками. Подобного рода дамы, с многолетним опытом борьбы, имели железный характер и авторитарные привычки. Как правило, имели детей. И так далее. Главное же, влюбиться в такую молодому человеку, ещё не уратившему юношеские идеалы и романтические наклонности, было непросто.

Но тут помогал опыт борьбы. Опыт борьбы — это не обязательно что-то агрессивное. Борьба за что-либо можно и с кроткой улыбкой на устах. Или со слезами восторга на глазах. Что часто бывает не менее эффективно.

То есть, я хочу сказать, опытная женщина не станет ждать, пока неопытный юноша в неё влюбится по собственной воле. Она сама так организует дело, что он, не имея выбора, поверит, что влюбился без памяти и, не раздумывая, падёт к её ногам.

Но всё это общие рассуждения. Я не утверждаю, что они имеют отношение к Митиному случаю, поскольку совершенно не в курсе, что там происходило. Знаю только, что спустя недолгое время, год или два по возвращении домой из большого города, Митя женился. На женщине старше себя. С квартирой и с ребёнком. Или с двумя?

Тётя Мина, женщина неглупая, как мы уже имели возможность убедиться, не сопротивлялась, но внутренне ужасалась. Во-первых, она намного старше мальчика! С ребёнком... Пусть даже она, предположим, действительно любит Митю (дай-то Бог!), а он её — но... Но! Но что скажут окружающие?! Родственники, подруги, знакомые? О таком неравном браке! Даже подумать страшно! А они ведь непременно скажут, их ведь хлебом не корми, дай только... Что она ответит? Чем станет крыть? Какие контраргументы приведёт в поддержку Митиной репутации гения? Как после этого продолжать гордиться им?

Но все эти страхи блекли перед главным: она боялась Митино ухода. Боялась, что без её опеки он пропадёт. Что новая семья, как часто бывает, отнимет у неё её мальчика. И в то же время мечтала, чтоб жена стала Мите второй матерью. Хоть и знала, что один ребёнок (или два?) у той уже есть.

Но что поделаешь? Всё равно рано или поздно... Так пусть уж лучше сейчас... В конце концов, мальчику, в крайнем случае, есть, куда вернуться... В общем, постепенно тётя Мина примирилась с судьбой. Как примиряется человек со всякой неизбежностью.

Да и чёрт, согласно пословице, оказался не так страшен, как его малюют. Подруги отнеслись к катастрофе довольно спокойно. Тем более, это же не в их семье. Так что некоторые даже радовались. Нет, не Миночкиному несчастью, Боже упаси! А тому, что такое случилось, слава Богу, не с ними.

Итак, дядя Юра, под всхлипы тёти Мины, перевёз Митю на «Волге». За один раз. И в жизни семьи Пармоновых началась очередная новая полоса.

Тётя Мина быстро поняла, что жена Мити, как и золовка Варавара, из тех женщин, кто ненавидит готовить обед. Тётя Мина и сама не очень любила стряпать, но имела высоко развитое чувство ответственности. Если не она, то кто же? В смысле, если она не станет готовить обед, что будут есть дети? Ну и муж, конечно...

Однако чувство ответственности — вещь редкая, оно свойственно немногим, и потому те, кому оно свойственно, отдуваясь за всех стальных. И тётя Мина в той же трёхлитровой с пятнышком отбитой эмали кастрюле варила суп или борщ, а полковник, надёжно упаковав кастрюлю в полотенца и несколько полиэтиленовых

пакетов, на «Волге» отвозил суп Мите. (Тот вернулся к супу в новых условиях, за отсутствием выбора.) Дядя Юра оказывал Митиной семье и другие транспортные услуги: возил бельё в стирку, завозил продукты, купленные тётёй Миной на рынке, и т.д. Конечно, по мере сил они помогали Мите деньгами.

Впрочем, Митя, поставленный перед необходимостью кормить семью, и сам вскоре нашёл денежную работу. Бог ведь всегда помогает тем, кому действительно нужны деньги. Если Его как следует попросить. Хотя иногда ошибается, даёт тем, кто просит не из нужды, а из жадности. Но всегда исправляет ошибку, на то он и Бог. Ему только нужно время, чтоб разобраться.

В новой профессии Мити чудесным образом соединились все его жизненные навыки и пристрастия — бабочки, чучелонабивание и живопись. Он стал одним из искуснейших в городе реставраторов старинной мебели. В те времена тяга к роскоши только начинала овладевать широкими массами, ремесло реставратора было редким, тогда как старинная мебель, в том или ином состоянии, имела почти в каждом доме. Работа пришлась Мите по сердцу, и за неё, как ни странно, платили хорошие деньги.

Со временем у Мити появились свои дети: мальчик и девочка. Тётя Мина с дядей Юрой стали бабушкой и дедушкой. Привязались к внукам. И, наконец, вздохнули с облегчением, почувствовав, что жизнь сына налаживается.

К сожалению, вздох облегчения был недолгий. По всем законам драмы, новая перипетия возникла ровно в тот момент, когда старая себя исчерпала. Настала очередь дочери Киры.

Тётя Мина с ужасом стала замечать, что сбываются худшие её опасения.

Нет, время Кирино пробуждения оставалось неизменным — она по-прежнему вставала по будильнику в восемь утра. Но время отхода ко сну неумолимо сдвигалось и вскоре вплотную приблизилось к времени пробуждения. Если в начале первого семестра Кира возвращалась домой сразу после занятий, то к концу его — не раньше одиннадцати-двенадцати ночи.

Второй семестр ознаменовался тем, что Кира стала возвращаться домой из университета далеко за полночь. И если задержки первого семестра хоть и с трудом, с натяжкой оправдывались пресловутой библиотекой, то во втором семестре стало гораздо трудней придумывать причины поздних возвращений, помимо того, что сразу приходит в голову в таких случаях и является наиболее близким к истине, если не самой истиной.

Третий семестр Кирино высшего образования начался с того, что дочь пришла домой под утро. Тётя Мина и сама хотела бы верить, что существуют в природе такие библиотеки, которые, подобно дежурным аптекам, работают круглые сутки. Но даже Кира понимала, что библиотека в качестве оправдания — отработанный материал. А что взамен? Ночёвка у подруги? Ну, один-два раза сработает. А потом? В общем, дочь почувствовала, что материнский кредит доверия неминуемо подходит к концу.

И не только материнский. Нужно ли говорить, что отец, дядя Юра, почти перестал здороваться с дочерью по утрам. Существуют ли в природе более строгие блюстители девичьей нравственности, чем родные отцы? Вряд ли!

Между прочим, я заметил, что особую строгость в данном вопросе проявляют именно отцы дяди Юрино типа, те, кто в прошлом, соблазняя чью-либо дочь, меньше всего заботились о том, как к этому отнесётся её папа. Таким образом,

треволнения, выпавшие на их долю в зрелом возрасте, есть всего лишь расплата за юношеский эгоизм.

Так или иначе, тётя Мина, из последних сил сопротивляясь репрессивным мерам, всё настойчивей предлагаемым полковником в отставке, стала намекать Кире, что её партнёра по библиотеке пора предъявить родителям.

Но Кира не торопилась. Тут имелась проблема, в которую она не посвящала ни мать, ни отца. Они конечно же наивно верили, что её поздние приходы связаны с каким-то конкретным, единственным в течение всех трёх семестров ухажёром. Которого можно предъявить. Кира внутренне возмущалась родительской старомодности, но что поделаешь? И вот она мучительно искала кандидата — такого, какой рисовался воображению родителей и мог бы сойти за единственного. То есть, появиться в их доме больше одного раза.

Было непросто удовлетворить всему множеству требований, и Кира тянула, откладывая встречу под разными предлогами, а пока что, в целях ослабить напряжённую обстановку в доме, старалась возвращаться вовремя, не позже часа-двух ночи, и регулярно напоминала старикам о своих успехах в учёбе. Каковые были нешуточны: круглые пятёрки на экзаменах и зачётах у профессоров-мужчин, четвёрки у педагогов-женщин, и в результате — повышенная именная стипендия декана факультета за два последних семестра.

В конце концов, Кира нашла юношу для предъявления родителям в качестве постоянного ухажёра. Его звали Боря. Боря был одним из немногих студентов мужского пола, с кем поздние возвращения Киры домой не были связаны ни в малейшей мере. Но ему-то и предстояло отдуваться за большинство. Боря, мальчик робкий, за два года ни разу не подошёл к Кире, не заговорил. Пытался скрыть свои чувства. Наивно полагая, что такое возможно. Потому-то Кира и выбрала его — была уверена, что он не откажет, не подведёт. Кире не нравились мальчики типа Бори — интеллигентные, застенчивые. Но она не сомневалась, что Боря понравится родителям. И, главное, не сомневалась, что он, если понадобится, придёт ещё раз, и ещё — безропотно и безвозмездно.

Боря действительно понравился тёте Мине. В меньшей степени — дяде Юре. Но не по своей вине. Явись вместо него ангел с крыльями или кто угодно — результат был бы тот же. Не помню случая, чтоб какой либо отец одобрил выбор дочери в пользу какого-либо мужчины. Тётя Мина же, лишённая отцовских предрассудков, пригласила Борю чаще бывать у них, показала Киру отдельную комнату (не без намёка), а когда муж, по уходе юноши, упрекнул её в чрезмерном гостеприимстве, ответила кратко и без обиняков:

— По-твоему лучше, чтоб они шлялись по подвалам?

То есть она, по неискушенности и простоте душевной, сходу поверила, что Боря и есть тот единственный счастливчик, с которым дочь третий семестр шляется по подвалам.

Практичная же Кира не пропустила мимо ушей предложения матери, намеревалась его обдумать и, возможно, воспользоваться пару раз, особенно в зимнее время. Конечно, не в смысле Бори, ещё чего, для того имелись иные претенденты; правда, есть опасность, что родители заметят подмену, но это вопрос технический — его-то и предстояло обдумать.

Но воспользоваться предложением не пришлось. Задолго до наступления зимы

произошло неизбежное. В чём дальновидная Кира сразу призналась матери, справедливо рассчитав, что родители, оглушённые известием №1, не станут придавать большого значения деталям, когда она вместо Бори предъявит истинного виновника.

Так и произошло. Сыграли срочную свадьбу, и молодожёны поселились у родителей Киры. То есть дочь таки использовала предложение матери, но в гораздо более широком смысле. Вскоре родился внук Тарас. Появление внука почти примирило родителей и с превращением отдельной трёхкомнатной квартиры в коммунальную, и с круглосуточным присутствием в доме постороннего человека в лице мужа дочери. Они понимали, что ничто в жизни не даётся даром, за всякое приобретение нужно платить.

Платить, впрочем, пришлось недолго.

Выйдя замуж, Кира не слишком поменяла образ жизни. Но теперь её поздние возвращения из института волновали не столько родителей, сколько мужа. Начались скандалы. Они, понятно, совпадали с временем прихода жены домой, то есть происходили по ночам, ближе к утру. Тётя Мина и дядя Юра регулярно не высыпались. И постепенно пришли к мысли, что не станут противиться, буде дочь решит расстаться с мужем. Каковой финал, по-видимому, надвигался стремительно и неотвратимо.

Тётя Мина потихоньку стала подготавливать общественное мнение. В разговорах с родственниками и подругами делала озабоченное лицо и намекала, что муж дочери «употребляет». В самом деле, однажды она заметила, что он глотал что-то прямо из бутылки, сидя глубокой ночью на кухне в ожидании Киры. На кухне было темно, тётя Мина не разглядела этикетку, но ведь и так понятно — что, спрашивается, если не алкоголь, может глотать человек в ожидании загулявшей жены? И, в конце концов, так ли уж важно, что? Пусть даже пиво, даже лимонад! Да даже валерьяновые капли! Не посвящать же посторонних людей в истинную причину развода дочери...

Развод Киры, короче говоря, прошёл вполне благополучно, под девизом «Не может же девочка жить с алкоголиком!». Особенно убедительно, с неподдельным возмущением и пафосом произносил эту фразу дядя Юра. Нужно ли говорить, что он, со слов жены, поверил в алкоголизм зятя сразу и навсегда.

Освободившись от постороннего человека в доме, родители почувствовали облегчение. Кира же, казалось, почти не заметила перемены. Она слишком дорожила привычным образом жизни, чтоб менять его, неважно, в присутствии мужа либо в его отсутствие. Тётя Мина с дядей Юрой теперь гораздо меньше переживали по этому поводу. Во-первых, дочь уже не девушка, а разведёнка — таким многое прощается, больше позволяет. Разведёнка, горемыка — что с неё возьмёшь? Да и ребёнок уже имеется. Хоть и не полная, но всё же семья. Лучше, чем ничего — на случай, если все будущие браки Киры окажутся столь же неудачными. «И ни к чему они, честно говоря, эти браки» — думал дядя Юра, чисто подсознательно употребляя множественное число.

Ну и, конечно, радовал подрастающий внук Тарас. Уже в возрасте шести месяцев дед обнаружил у него способности к автомобилеводению и стал потихоньку объяснять устройство коробки передач. И предвкушал, как через пару-тройку лет они вместе поедут на «Волге» — Тарас за рулём — рыбачить на лиман.

В отличие от мужа, тётя Мина не слишком расслаблялась. Наученная горьким опытом, она чувствовала, что затишье будет недолгим. И оказалась права.

Надо было сказать!

Всё то время, пока продолжались передряги с Кирой, Митя, как ни странно, оставался утешением родителей. Его семья хоть и имела некоторые особенности, всё-таки выглядела вполне нормальной на фоне походов сестры. Никогда не устаю удивляться тому, как изменчивы наши предпочтения и как сильно зависят они от фона!

Беда, по своей привычке, пришла, откуда её ждали меньше всего.

Митя, которого, как мы помним, усыновили в младенческом возрасте, не подозревал о том, что тётя Мина и дядя Юра — не настоящие его родители. Такое никак не могло придти ему в голову. Зато об этом знали все окружающие, все знакомые и родственники; даже я, причём с детства. Но мы дружно держали язык за зубами, никто не открывал Мите семейную тайну. Дядя Юра, как более трезвомыслящий, несколько раз, ещё в митином детстве, предлагал жене сказать мальчику правду — всё равно рано или поздно она выплывет наружу. Но тогда им казалось, что Митя ещё слишком мал. А потом, когда он порос, уж и вовсе не имело смысла: родители, души не чаявшие в сыне, как бы совершенно забыли, что когда-то принесли малютку из детского дома, а не из родильного.

Но правда, тем не менее, всегда всплывает — даже в тех случаях, когда она никому не нужна. Хотя, что значит — никому? Всегда найдётся энтузиаст, умеющий распорядиться чужой тайной.

Не знаю, кто конкретно и под каким углом осветил Мите сей факт его биографии. Город наш маленький; скорее всего, новые родственники Мити пронюхали и открыли ему глаза. Вряд ли информатор был из числа родичей или друзей тётки Мины и дяди Юры.

В общем, Митя вдруг словно исчез. Неделю не отвечал на телефонные звонки родителей и не звонил сам. Тётя Мина, привыкшая беседовать с сыном ежедневно, сначала ничего не понимала, потом начала не на шутку беспокоиться, и, наконец, в субботу утром они с дядей Юрой поехали к Мите домой. У тётки Мины было дурное предчувствие. Связанное не с состоянием Митиногo здоровья — материнское чутьё подсказывало, что мальчик, слава Богу, жив-здоров, хотя никогда не знаешь наверняка...

Митя открыл дверь — он действительно выглядел совершенно здоровым — и тут же захлопнул её, перед самым носом родителей. Рассерженный отец, опомнившись, стал жать на кнопку звонка, стучать... Тётя Мина же стояла в полной апатии. Она, видно, предполагала, что произойдёт нечто в таком роде и понимала: звони не звони, стучи не стучи... И пока дядя Юра зычным командирским голосом вопил подходящие случаю «В чем дело?! Открой сейчас же!» — тётя Мина спустилась во двор, подошла к «Волге», подергала дверцу, надёжно, как всегда, запертую дядей Юрой, и села на скамеечку у подъезда. У неё не было никаких мыслей, никаких идей — что предпринять, куда бежать, с кем советоваться. Ей даже не хотелось выяснять, что случилось. Какая разница? Она находилась под сильным впечатлением перемены, произошедшей в лице сына, когда тот открыл дверь и увидел их с отцом, и не могла забыть, с каким выражением глаз он эту дверь перед ними захлопнул.

Дядя Юра, в силу сдержанности и чувства офицерского достоинства, не стал, конечно, ломиться в дверь, а вскоре тоже спустился вниз.

— Не хочет открывать! — сообщил он жене последнюю новость и сел рядом.

Помолчали. А что тут скажешь? И пошли к машине. Теперь уже дядя Юра стал дёргать запертую дверцу «Волги». Такого с ним никогда не бывало. Он, видимо, также находился под сильным впечатлением Митино афронта.

На следующий день послали к сыну парламентаря — сестру Киру. Отец высадил её за квартал до дома, где жил Митя. Почему-то решил соблюдать конспирацию. Кира вернулась довольно быстро и сказала, что Митя «узнал всю правду», что никогда не простит ни ему, ни матери, что не хочет их знать, и чтоб они не звонили и не приходили, он всё равно «не пустит их на порог». Так, мол, и сказал: на порог не пустит.

Дядя Юра всю дорогу домой повторял: «Я ж говорил маме — надо сказать! Сколько раз говорил!» И вместе с тем, не мог он поверить, что из-за такой ерунды можно отказаться от родных — да, да, родных! каких же ещё? — отца и матери.

Своё возмущение поведением сына он сполна высказал жене. А кому другому выскажешь? Она, конечно, жалела мужа, не меньше, чем себя — но нечем было его утешить. Поэтому тётя Мина молчала в ответ; только ругала себя за то, что не открыла Мите правду до его женитьбы. Она не сомневалась, что узнай он от неё, а не от посторонних, тем более до того, как рядом появилась женщина — совсем по-другому воспринял бы ужасную новость, не так болезненно, а то и вовсе не обратил бы на неё внимания.

На Киру тоже подействовало идиотское поведение Митьки, но она не сомневалась, что этот дурак одумается и приползёт домой на карачках (так она выражалась, грассируя), каковую гипотезу повторяла ежедневно, чем вселяла некоторый оптимизм и вызывала слабый проблеск надежды в горестных глазах стариков. Которых ей было безумно жалко, до того даже, что она всю неделю являлась домой не позже двенадцати часов. Затем поменяла график на прежний, но про себя поклялась, что не оставит родителей без присмотра; во всяком случае, не даст им скучать.

И сдержала данное себе слово. Скучать им не пришлось.

Одни вдвоём.

То было время тектонических сдвигов не только в семье Парамоновых, но и во всей огромной стране. Грозное, монолитное, могучее, неколебимое государство стало, наконец, сыпаться и падать, как гнилое трухлявое дерево. Рушился привычный уклад жизни. Кончились запасы всего, кроме запасов вооружений. Население нечем было кормить. По вечерам в домах отключали свет и отопление. В этих условиях не оставалось ничего другого, как разрешить эмиграцию.

И народ распадающейся империи стал разбегаться, что называется, в разные стороны. Уезжали из страны все, кто имел хоть малейшую надежду не умереть с голоду на чужбине. И даже те, кто никогда прежде не помышлял об отъезде, прекрасно чувствовал себя дома и всегда мечтал окончить жизнь в родных пенатах. Не очень понимали, зачем и куда едут, но ехали. Эмиграция буквально вошла в моду. И если ещё год назад эмигрантов называли предателями родины и презирали, то теперь стали презирать тех, кто, не имея возможности уехать, вынужден был оставаться на родине.

Среди первых эмигрантов новой волны оказался Кириин сокурсник Боря — тот

самый, кого она когда-то решила предъявить родителям в качестве партнёра по библиотеке. Он уехал в Америку, где имел близких родственников, эмигрантов предыдущей волны, бывших изменников родины, а ныне вождённых и горячо любимых заграничных родичей, о каких мечтала чуть ли не вся страна. Боря знал языки и вообще был парень неглупый, и потому быстро устроился на новом месте, о чём с гордостью написал Кире. Кира, чьи сверстницы и сверстники выезжали тогда на жительство в США толпами, тут же ответила. Завязалась переписка. В процессе которой дальновидная Кира выяснила, что Боря до сих пор не женат. Призналась, что чувствует себя одинокой. Покаялась в ошибках молодости. Наконец, Боря не выдержал и пригласил Киру с Тарасом в гости в Калифорнию с оплаченным билетом в оба конца.

Кире только того и нужно было. На радостях она чуть не написала Боре, что в обратных билетах нет необходимости. Ей хотелось уберечь его от лишних трат. Чисто подсознательно она уже начала относиться к Бориному бюджету как к их общему и проявляла бережливость. Однако она вовремя спохватилась и решила пока не посвящать Бориса в свои планы. Да и подружки подсказали, что, оказывается, билеты в один конец обойдутся дороже.

Кира стала собирать вещи. По количеству упаковываемых чемоданов было ясно, что дочь уезжает навсегда. Но и без чемоданов родители прекрасно понимали, к чему идёт дело. Она, впрочем, не скрывала. И даже утешала родителей, обещала, что сразу, как только устроится, вызовет их к себе. У неё и в мыслях не было, что она оставит стариков навсегда в этой дикой бандитской стране.

Но дядя Юра и тётя Мина смотрели в будущее без особого оптимизма. Весь опыт жизни в родном государстве говорил им, что эмиграция из него чаще всего разрушает семьи, разлучает навсегда отцов и детей, братьев и сестёр... Они не слишком верили в перемены к лучшему.

Кроме того, тётя Мина не могла себе представить, что уедет без Мити. Он по-прежнему не звонил и не отвечал на звонки, но они с дядей Юрой часто ездили к его дому и смотрели, не выходя из машины, как Митя гуляет с младшими детьми в соседнем сквере. Таким образом удостоверяться, что у него всё более или менее в порядке. А если, не дай Бог, что-нибудь случится и понадобится их помощь, то они тут, в Городе, на месте, наготове.

Дядя Юра тоже не очень надеялся, что сможет переехать в Штаты на постоянное местожительство. Он ведь когда-то раз и навсегда поверил, что его скромная персона представляет стратегический интерес для ФБР и ЦРУ и боялся, что ему не разрешат въезд в страну или арестуют прямо в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди.

Так что отъезд Киры проходил под знаком семейного траура. Родители приучили себя к мысли, что прощаются с дочерью чуть ли не навсегда. И хоть надежда ещё не умерла окончательно, помня, что она умирает последней, но была очень слаба, почти при смерти. Тётя Мина и дядя Юра чувствовали себя так, словно их жизнь подходит к концу.

И действительно, в первое время после отъезда Киры они ощущали пустоту и полное одиночество, несмотря на родной Город, присутствие многочисленных родичей и друзей — многие ещё не успели уехать, Кира оказалась в самых первых рядах. А главное, их жизнь утратила, как бы это выразиться, львиную долю смысла.

Надо заметить, что люди пожилого возраста, живущие в нашей стране, отличались от своих сверстников, живущих в других странах. В первую очередь тем, что им, как правило, не грозила беззаботная старость. Состарившись, они не имели обыкновения путешествовать по миру или отдыхать на курортах. Вовсе нет. Многие весьма пожилые люди продолжали ходить на работу. Выйдя же в отставку или на пенсию, помогали детям по мере сил. Нянчили внуков, доставали и готовили еду, и т.д., и т.п. В общем, жили, как и прежде, полнокровной жизнью, заботами и интересами теперь уже взрослых детей. Подставляли плечо. Выручали в трудную и любую другую минуту. Несли ответственность.

А тут — тётя Мина и дядя Юра вдруг оказались свободными от детей и их забот. Они с нетерпением ждали писем от Киры, внимательно следили за её жизнью в Америке, насколько возможно на таком расстоянии. Навещали Митю — тоже, так сказать, на расстоянии. Но ведь это ни в малейшей степени несравнимо с непосредственным активным участием в повседневном существовании дочери или сына, когда их радости и горести, проблемы и неприятности, победы и поражения — здесь, рядом, как говорится, на виду. Конечно, родители не должны вникать во всё и вся, вмешиваться, опекать, давать советы, Боже упаси! Но поддержать, подсказать, разделить, быть рядом, наготове — разве это не долг, не обязанность всякой матери или отца? Которым, лиши их этого долга и обязанности, просто таки нечем будет жить!

Особенно тяжело было первые месяцы после Кириногo отъезда. Несколько раз съездили на лиман, но рыбы там почти не оказалась. Видно, она, почувствовав развал страны, ушла в чужие воды. Вскоре погода испортилась, похолодало, начались дожди. В начале ноября прошли традиционные праздники; их тогда ещё не успели отменить. Побывали в гостях у родственников; кое-кого позвали в гости. После праздников дольше обычного доедали приготовленные тётей Миной деликатесы: мясной салат, студень, он же холодец. Оказывается, и деликатесы приедаются, когда ешь их неделями. Дольше всего тянулся салат — каждый раз, доставая его из холодильника, тётя Мина вспоминала, как любил салат внук Тарас, глаза её увлажнились, и она не могла заставить себя съесть хотя бы ложку. В конце концов салат прокис и, несмотря на протесты дяди Юры, его пришлось выбросить.

Ноябрь в нашем Городе — самое противное время года: солнца почти не бывает, льют дожди, сильный северо-западный ветер в два-три дня обнажает деревья. На Бульваре преобладает серо-болотный цвет неба и облетевших платанов. В такую погоду с детьми, понятно, гулять не ходят, так что поездки к дому Мити в надежде увидеть его издали тоже прекратились.

Пожалуй, то был самый тяжёлый период в жизни дяди Юры и тётя Мины. Но человек так устроен, что даже в тяжёлые периоды находит доступные развлечения и более или менее осмысленные и достижимые цели. И дядя Юра в этом смысле не отличался от большинства. Он не унывал. В силу изменившихся погодных условий перестал мечтать о вылазках на бульвар и больше стал думать о жене, тётя Мине. Он видел, как нелегко ей приходится в отсутствие обоих детей и внука и сочувствовал её переживаниям. И искал способ отвлечь жену от грустных мыслей. Наконец, в голову пришёл грандиозный план, даже целое мероприятие, как теперь сказали бы, проект, который занял все его помыслы и помог заполнить образовавшуюся в жизни пустоту. Идею подсказали наступившие холода.

В кольце недоброжелателей.

Хотя, какие холода в нашем южном Городе? Бывают, конечно, ветренные и снежные дни, но не часто, так что большинство горожан всю зиму ходят в демисезонном пальто. Некоторые женщины носят шубу, но их немного. Настоящая меховая шуба у нас стоила почти столько же, сколько автомобиль и была не по карману человеку среднего достатка. Вообще, в моё время в Городе женская шуба представляла собой не столько необходимость, сколько признак достатка, атрибут престижа. Я бы даже сказал, символ принадлежности к высшей расе. Шубы носили жёны больших начальников, либо большие начальницы, то есть начальники женского рода. Например, наша тётя Татьяна Львовна, та, что возглавляла торговый отдел аптекоуправления. Тогда как моя мама, архитектор Главной бани Города, о шубе и не помышляла. Жёны генералов и многих полковников также имели шубы.

Тётя Мина привыкла обходиться без шубы. Дядя Юра, едва получив полковника, вышел в отставку и не успел накопить на шубу из полковничьей зарплаты. А все деньги, заработанные на Кубе, ушли на «Волгу». Полковник в отставке испытывал чувство вины перед женой и страдал от несоответствия, когда она садилась в «Волгу» в старом зимнем пальто с слегка облезлым воротником из нутрии. Притом, что жена подполковника из соседнего подъезда садилась в новые «Жигули» в каракулевой шубе. Дядя Юра знал, что подполковник ведаёт гарнизонным отделом закупок продовольствия и догадывался, откуда каракуль, но это не утешало.

В общем, он стал «обрабатывать» жену, надеясь внушить ей мысль о необходимости шубы. Тётя Мина долго сопротивлялась. Копить на шубу? Да он с ума сошёл! В их то финансовой ситуации. Но упорный дядя Юра, как всегда, победил. Какая женщина, хотя бы и среднего и даже ниже среднего достатка, способна отказаться от новой шубы?

Денег на шубу у Парамоновых не было. Оба ещё понемногу работали, плюс дяди Юрина пенсия, но что эти копейки по сравнению со стоимостью шубы? Да и потратились в связи с Кириным отъездом, и бензин опять подорожал, и продукты. Пустить на шубу деньги, которые раньше ежемесячно отдавали Мите — такое и в голову придти не могло, то было святое. Митя денег не брал, однако родители завели сберкнижку на его имя и регулярно переводили на неё «Митины деньги».

Тем не менее, дядя Юра, как всегда, не сдавался, упорно и терпеливо шёл к намеченной цели. Ввёл режим строгой экономии. Немного подрабатывал извозом. Вступил в Общество Знающих.

Об Обществе Знающих нужно сказать несколько слов. По названию может показаться, что оно было чем-то вроде массонской ложи. Вовсе нет. Просто какой-то умный человек придумал такой способ подработки для интеллигенции, людей с образованием, которые могли внятно произнести или прочесть несколько страниц текста. И нужно сказать, многим удавалось свести концы с концами, а иногда избежать голодной смерти благодаря лекциям от Общества Знающих. Лектору платили не так уж много (кажется, пять рублей за лекцию), но если у вас были хорошие отношения с диспетчером, то можно было получить до десяти лекций в месяц, а то и больше. Лет за десять-двенадцать, откадывая приработок целиком, можно было накопить на шубу или автомобиль.

То был, в общем-то лёгкий хлеб. Разрешалось говорить о чём угодно: о науке и культуре, о политике, экономике, искусстве и литературе. С одним условием: о чём бы

ни говорилось в лекции, смысл должен сводиться к прославлению социалистического образа жизни, как самого передового, прогрессивного и гуманного в мире. Ну и, конечно, критика любого другого образа жизни, самая нелюбезная и жёсткая, допускалась и даже приветствовалась.

Вступить в Общество и получить лекции было непросто, в силу обилия желающих. Поскольку при нищенских зарплатах населения многие нуждались в приработке, включая даже тех, кто не считал, что наш образ жизни — лучший в мире. Но дяде Юре повезло, нашлись знакомые знакомых, они порекомендовали его в Общество, и полковник в отставке стал получать лекции на различных предприятиях Города: на заводах, в учреждениях, научных и проектных институтах.

Коньком лектора Парамонова, как объекта охоты ФБР и ЦРУ, стали лекции о международном положении. Конечно, он не раскрывал государственных секретов публично, но всё же не мог удержаться от того, чтоб хотя бы намёками, иносказательно дать понять, какому риску подвергал себя, прогуливаясь по улицам столицы острова или загорая на тамошнем пляже.

Лекции, как правило, проводились во время обеденного перерыва. Через полчаса после его начала, чтоб трудящиеся успели поесть. Но так как мало кто из лекторов укладывался в оставшиеся полчаса, то лекция обычно захватывала часть рабочего времени. Поэтому все стремились попасть на неё, особенно ближе к концу. И старались задать лектору побольше вопросов. Но были исключения. Например, мой папа. В проектно-институте, где он работал, тоже часто бывали лекции. Которые он никогда их не посещал. Сразу по окончании обеденного перерыва возвращался на рабочее место, к своему столу в большом общем зале, где во время лекции было пустынно, тихо, и можно было сосредоточиться на работе.

Но вот однажды утром в их отдел пришёл сослуживец из соседнего отдела и объявил громко, что сегодня в актовом зале состоится очень интересная лекция о международном положении. Сослуживец был старым другом дяди Юры и хотел сделать ему аншлаг. Он организовал эту лекцию через профком и теперь обходил все отделы, на случай, если кто ещё не видел объявления.

Утром, проходя по коридору, папа мельком видел какое-то объявление, но по привычке не обратил внимания. Но теперь, направляясь на лестницу для перекура, он нашёл объявление на доске и прочёл:

«В КОЛЬЦЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ»
ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Лектор: член Общества Знающих полк. Г.А. Парамонов

Как я уже говорил, мой папа никогда не испытывал особого пиетета по отношению к родственникам, тем более маминим. Ему однажды, как мы помним, представился случай прослушать дяди Юрину лекцию о международном положении у нас дома, когда он, папа, опаздывал на пляж.

Но одно дело у нас дома. Да ещё в самое пляжное время дня. Совсем другое — в большом актовом зале их проектно-института. Где дядя Юра будет стоять на сцене, под светом софита, на него устремятся сотни, даже тысячи глаз папиных сотрудников и сотрудниц; все они будут слушать его, ловить каждое слово! И дядя Юра мгновенно из нудного родственника с машинкой для закрутки превратился в

Человека с Афиши, Лектора по Международному Положению. Того, Кто на Сцене.

Я давно размышляю над тайной Великой Магии Сцены, над её способностью приподнять артиста над публикой. Причём приподнять не физически, не на какие-нибудь полтора метра над полом зала. Нет! Приподнять в каком-то высшем смысле, перевести в иное измерение, в категорию недостижимости, всеобщей любви и преклонения. Для чего вовсе не обязательно быть великим или даже просто хорошим мастером. Сцена и огни рампы сами по себе часто делают артисту имя и славу, даже без особых усилий с его стороны.

К Человеку Сцены, особенно, если он хоть сколько-нибудь известен (что, впрочем, не обязательно), хочется подойти, поговорить, даже постоять рядом. Хочется быть причастным, хотя бы на мгновение присоединиться к его приподнятому над повседневностью положению, тем более к славе, почувствовать на себе её отблеск, хотя бы лёгкое касание её лучей.

Я и сам, при своём весьма скромном опыте, испытал на себе магию сцены, с обеих, так сказать, сторон. После какого-нибудь моего выступления на публике, даже самого пустяшного, иногда подходили незнакомые люди, что-то спрашивали или рассказывали какую-то чушь; их не интересовал мой ответ, просто хотелось заговорить. И я тоже, увидев поблизости известного человека, часто ловил себя на неудержимом желании сказать ему что-либо, хотя сказать было абсолютно нечего.

Видимо, и на папу Феномен Сцены произвёл действие.

Он не усомнился ни на минуту, что лектор — тот самый Парамонов, наш родственник. Выйдя на курительную площадку лестницы, где курило несколько завсегдатаев, папа почувствовал непреодолимую потребность поделиться с ними новостью насчёт лекции, при этом упомянув, что лектор — его родственник, причём довольно близкий, муж сестры жены. То есть шурин. Папа произносил на южный манер: «шурин».

Строго говоря, тётя Мина маме не сестра — кузина. Папу это несколько коробило, он любил во всём правдивость и точность. Но так и быть... никто не станет разбираться, в конце концов, проверять... Но с чего начать? Не может же он прямо так, с бухты барахты, ляпнуть про близкое родство с лектором. И он решил зайти издалека.

— Шё там за лекция какая-то сегодня? — проронил папа как бы равнодушно.

Он до поры до времени не хотел показывать свою причастность.

Никто не поддержал тему. Пришлось продолжить:

— Наверное, надо пойти послушать.

Опять молчание.

— Нет, я просто должен пойти. — Папа слегка надавил на слово «должен».

Рассчитывал удивить сослуживцев тем, что он, никогда не посещавший лекций, теперь вдруг должен пойти. Ожидал их вопросов: почему, мол, должен? Тогда естественно прозвучал бы ответ — поскольку лектор мой родственник.

Но курильщики молчали, не удивлялись; скорей всего, не заметили папиного систематического отсутствия на лекциях. А он-то думал, что об этом говорит весь их проектный институт!

— Называется «В кольце врагов», — папа сделал ещё одну попытку. — То есть, нет, «В кольце недругов». То есть, нет... — Папа пытался вспомнить правильное слово и не мог. Даже занервничал, настолько сильна была его инженерская привычка к точности.

— «В кольце недоброжелателей» — прогундосил один из завсегдатаев курилки, который не пропустил ни одной лекции.

— Во, правильно, недоброжелателей! — обрадовался папа. — «В кольце недоброжелателей» — с удовольствием повторил он слегка смягчённое дядей Юрой пропагандистское клише. — А знаете, кто лектор? — спросил он, не сомневаясь, что каждый из курильщиков сегодня проснулся с единственной мыслью: узнать имя лектора и степень его родства с папой.

— Та какой-то там Филимонов, — ответил завсегдатай курилки и лекций.

— Что значит, какой-то? — обиделся папа. — Что значит, какой-то? Во-первых, не Филимонов, а Парамонов. Юра Парамонов, муж сестры моей жены. Мой шюрин, — с гордостью сказал папа, и опять испытал лёгкий дискомфорт оттого, что дядя Юра, строго говоря, не был его шурином, так как тётя Мина маме не сестра, а кузина.

Папа ещё немного постоял на площадке, размышляя, стоит ли показать посвящённость и близость к лектору рассказом о том, как за ним охотились ЦРУ и ФБР, но побоялся, что выдаст государственную тайну, и сдержался.

Поделившись наболевшим с курильщиками, папа вернулся на рабочее место. Минут через пять почувствовал лёгкое беспокойство. Он нагнулся к соседке за столом справа от себя и спросил, как ему казалось, шёпотом:

— Вы пойдёте сегодня на лекцию?

Папа был глуховат, и потому его шёпот прозвучал на весь зал. Сослуживцы невольно прислушались.

— Что за лекция? — спросила соседка, поигрывая глазами.

— О международном положении. «В кольце недругов». То есть, этих... ну, неважно. Читает Юра Парамонов, мой шюрин. Муж сестры жены. Потрясающий лектор. Два года служил на острове, и там за ним охотились...

Соседка справа папе нравилась, несмотря на лёгкую полноту, и он очень хотел показать ей, насколько близок самому Лектору и посвящён в его тайны, но заметил, что многие прислушиваются, и умолк.

Дверь в актовЫй зал открывали ровно в час тридцать; папа пропустил всегдашний свой обед в соседнем стоячем кафетерии, пришёл заранее, стал у дверей актового зала. Постепенно собирался народ. Всем вновь прибывшим папа объявлял, что лекция будет очень интересная и как бы между прочим сообщал, что лектор его родственник. Нужно ли говорить, что он сидел в первом ряду, слушал внимательно и после лекции задал дяде Юре несколько вопросов. Из четырёх вопросов лектору три были заданы папой. Дядя Юра, конечно, папу узнал, но оба вели себя совершенно официально, ничем не выдавая своего родства.

Но я отвлёкся. Вернёмся к шубе. Денег, заработанных извозом и в Обществе, конечно, не хватило. За два года жёсткой экономии и лекций о недоброжелателях удалось собрать примерно треть нужной суммы. Пришлось взять займы у родственников и друзей.

Теперь оставалось найти шубу. Ясно, что в магазине, обыкновенном каком-нибудь городском универмаге, шубы не продавались. Навели справки. И выяснили, что сравнительно недорогую шубу можно купить в соседней республике. Так называли кусок территории, отхваченный у ещё одной граничащей, на своё несчастье, с империей европейской страны. Крестьяне республики с давних времён занимались овцеводством, выделывали каракуль и отправляли в город; в городе ушедшие при

новой власти в подполье меховщики шили из каракуля изумительные шубы. Которые продавали через комиссионные магазины.

Стали собираться в путь. Дорога до главного города овцеводческой республики занимала чуть больше четырёх часов поездом, значит, на машине около трёх. Но дядя Юра не захотел ехать на машине. Мотивировал так: что, если ночью посреди дороги случится поломка? Или лопнет шина? Придётся менять колесо, и он может выронить бумажник с деньгами для шубы — как его потом найдёшь в темноте?

Тётя Мина, которая не любила поезда, возражала: почему в темноте? Если выехать рано утром, на месте окажемся к полудню. И в крайнем случае, она может подержать бумажник, пока дядя Юра будет менять колесо. В случае, если шина лопнет.

Но дядя Юра не сдавался; похоже, сцена с заменой колеса и поисками бумажника во тьме крепко засела в его воображении, он не мог с ней расстаться и стоял на своём. Вероятно, не на шутку боялся потерять с таким трудом доставшиеся деньги, большая часть которых к тому же взята в долг. Я забыл сказать, что в конце XX века в империи ещё не существовало банков, чеков, кредитных карт; все расчёты велись наличными.

Дурное предчувствие не обмануло дядю Юру. Что лишний раз подтверждает старую истину: судьбу не объедешь никаким поездом.

Прямой поезд в Европу.

Из Города в столицу республики ходила электричка. Но кто же ездит за шубой в электричке? Это ж не колбаса, не дачные яблоки. Тем более, с такой сумой в кармане.

— Нет, — сказал дядя Юра, обдумавший всё заранее. — Мы поедem настоящим поездом.

Он уже знал, каким.

Незадолго до того произошло долгожданное событие: из нашего Города пустили прямой поезд в Европу. Поезд шел в столицу той самой страны, куском которой когда-то являлась насильно присоединённая к империи республика, где делали шубы. Так как поездом пользовались иностранцы, пассажиры из Европы, то и обслуживание в нём было почти европейское. Иностранцев в России всегда уважали, в отличие от своих, и старались предоставить им всё лучшее, что имелось в стране. Крахмальные белоснежные занавески похрустывали на отмытых до прозрачности окнах вагонов. На полу лежали толстые мягкие ковры, чей вид вызывал желание походить по ним босиком или хотя бы в носках. Кожанные диваны, свежие скатерти и вазочки с цветами на столиках в купе. Икра двух сортов в вагоне-ресторане.

Дядя Юра взял билеты в оба конца. Обратный поезд отправлялся вечером; полковник рассчитывал поужинать с женой в иностранном вагоне-ресторане, отметить обновку. Ну и вообще, насладиться заграничным сервисом. Он привык к нему за время службы на острове и тяжело переносил его отсутствие в последние годы. Поэтому купил дорогие билеты в двухместное купе мягкого международного вагона. В оба конца. О чём не предупредил тётю Мину, желая сделать ей сюрприз.

До вокзала пришлось добираться презируемым дядей Юрой общественным транспортом. Вышли из дому рано утром, едва рассвело. Пронизывающий ветер хозяйничал на безлюдной остановке троллейбуса. По случаю субботы ждать

пришлось долго, чуть ли не целый час. Такси тоже не было. Продрогли не на шутку; даже предвкушение европейского комфорта не согревало. Однако воспитанные государством Парамоновы знали, что всякое удовольствие нужно заслужить: если хочешь в полной мере насладиться комфортом, прежде должен хорошенько помучиться.

На вокзал прибыли вовремя, так как вышли из дому с большим запасом. Поднявшись в вагон, чуть не ахнули. Контраст между неприглядной отечественной действительностью и европейской роскошью производил сильное впечатление. В натопленном вагоне было тепло, даже жарко. В купе дядя Юра сразу снял пальто, повесил его на плечики, плечики — на массивную вешалку в промежутке между верхней полкой и стеной. На вторую вешалку водрузил пальто тётки Мины. Уселся в кожанное кресло по другую сторону столика. Но тут же вскочил и вышел. Вернулся через минут пять. Снова сел. Он всё ждал, когда жена начнёт восхищаться и восторгаться по поводу сюрприза — мягкого вагона, двухместного купе.

Но тётка Мина молчала. «Видимо, нет у неё слов, настолько потрясена всем этим...» — подумал полковник. Не выдержал и спросил:

— Ну как?

— Что «ну как», что «ну как»? — быстро заговорила тётка Мина, словно только и ждала вопроса. — Ты что хочешь, чтоб я под потолок прыгала от восторга?

— Ну почему под пото... — начал было резонёрствовать дядя Юра, но жена перебила:

— А как же? Взял билеты в спальный вагон, чтоб проехать в нём четыре часа среди бела дня, при нашей-то ситуации, и хочет, чтоб я под потолок прыгала от восторга!

«Далось ей это прыганье под потолок!» — с досадой подумал дядя Юра. Но возразил спокойно и трезво:

— Почему на четыре часа? На восемь.

— Что? — тихим, но не предвещающим ничего хорошего голосом спросила жена. — Что? Ты хочешь сказать, что ты...

Но в этот момент в купе постучали. Проводник принес заказанный дядей Юрой кофе в фаянсовом кофейнике, чашечки и две рюмки с ликёром. Кубики сахара в упаковке лежали на отдельном блюдечке. Тётка Мина даже побледнела при виде всего этого шика.

— Сколько же стоит это удовольствие? — ехидно спросила она, когда проводник удалился.

— Нисколько, — соврал дядя Юра. — Входит в стоимость билета.

Тётка Мина тяжело вздохнула, но сделала вид, что поверила. Уж больно хотелось попробовать заграничный кофе, да и ликёр в крошечной рюмочке так аппетитно играл оттенками янтаря и рубина...

После кофе и ликёра стало жарко. Дядя Юра снял пиджак, повесил его на плечики под пальто — для надежности. Во внутреннем кармане пиджака лежали собранные на шубу деньги. Обернутые в бумагу и перетянутые аптечной резинкой, вложенные в старый конверт, и затем ещё в небольшой полиэтиленовый пакет. Какой смысл был в такой подробной упаковке? Сей вопрос мучит меня до сих пор. Чтоб спрятать деньги от воров? Но ведь воры обычно крадут пакеты прямо так, в запечатанном виде, а разбираются уже дома, в спокойной обстановке. Скорее всего,

дядя Юра стремился таким образом увеличить вес пакета, чтобы, если он вдруг выпадет, немедленно, по резкому уменьшению веса пиджака, определить факт потери.

После кофе осталось ещё три с половиной часа до прибытия в пункт назначения. Нужно было чем-то их занять. Но чем? Казалось бы, сиди себе в купе, отдыхай, наслаждайся комфортом. Но человек несовершенен. Он с трудом отвыкает от комфорта, но привыкает к нему моментально. Начинает скучать. И чисто подсознательно стремится к ещё большему комфорту. Так и дядя Юра — насытившись комфортом купе, решил посетить туалет. Перед тем, как отправиться на экскурсию, снова снял с вешалки пальто, извлёк из-под него пиджак, проверил внутренний карман. Убедился, что деньги на месте. Надел пиджак — для представительства. Не в туалете, конечно — в коридоре международного вагона. Выйдя из купе, немного постоял на мягком ковре, глядя в окно, вдыхая свежий запах накрахмаленной занавески.

Европейский туалет оправдал самые смелые ожидания полковника в отставке. Те же ковры. Вместо отечественного одуряющего запаха хлорки и мочи — тонкий аромат заграницы. Чистый унитаз, сверкающий среди ковров ярче Полярной звезды на летнем небе. Рядом на стене — плотный моток недоступной для населения туалетной бумаги. Немецкий пейзажик на стене — чтоб посетитель не скучал, в случае, если придётся задержаться здесь надолго. Зеркало в раме красного дерева. Кусочек мыла на полочке под зеркалом. Вафельное полотенце на двух роликах. Вешалка, на ней плечики для пиджака, буде посетителю вздумается снять пиджак. Ну как тут не снять, даже если в том нет необходимости? И дядя Юра снял. Подумав, решил умыться лицо и руки. Смешал струю горячей воды с холодной, намылил руки, сполоснул лицо. Вытер его накрахмаленным полотенцем. И, решив, что львиная доля суммы, потраченной на билет в один конец окуплена, стал, глядя в зеркало, надевать пиджак. Он был доволен собой. Наконец-то, как выражались в нашей антирасистской стране, почувствовал себя белым человеком. Как бы там ни ворчала Миночка, он, Георгий Александрович Парамонов, всё сделал правильно... Из зеркала смотрел сидящий джентельмен благородной наружности с суховатым лицом английского лорда — так думалось дяде Юре. Он откровенно залюбовался собой. Доходившие до него слухи о собственной некрасивости явно не подтверждались. Сильная мужская шея (чтоб разглядеть её целиком, пришлось приподняться на цыпочки). Волевые морщины подчёркивают рельефность верхней губы. Высокий лоб мыслителя с залысынами, делающими лоб ещё выше. Проницательный умный взгляд. Вот что значит попасть в достойные условия — в них человек по-настоящему раскрывается, обретает, так сказать, истинное своё лицо...

Кто-то подергал дверную ручку. Дядя Юра заторопился, одёрнул пиджак, в последний раз пригладил волосы. Проверил, не забыл ли спустить воду в унитазе. За дверь оказалась симпатичная смуглая дама европейского вида. Увидев дядю Юру, она заулыбалась. «Должно быть, от удовольствия, — мелькнула мысль. — Что ж, европейские женщины умеют ценить мужскую красоту!» Дама с коротким смешком скрылась в туалете. Под впечатлением от мимолётной встречи полковник расправил плечи, медленно прошествовал к своему купе.

Тётя Мина спала, прикорнув на мягком диване. Невольно дядя Юра сравнил её со смуглой незнакомкой... «Да-а...» — вздохнул он про себя. И подумал, что вполне мог бы... До него вдруг дошло: этот короткий смешок свободной европейской дамы...

Он же определённо звучал как поощрительный! Как же он, дурак, так... растерялся! Полковник приоткрыл дверь, выглянул в коридор, втайне надеясь, что незнакомка как раз сейчас... Коридор был пуст. Дядя Юра ещё раз вздохнул, вспомнив инструктаж о связях с иностранками, и стал снимать пиджак. Перед тем, как водрузить его на место, на вешалку под пальто, чисто автоматически проверил карман.

Холодный пот прошиб дядю Юру от высокого лба до пальцев ног. Сердце провалилось куда-то в пах и грохотало там, как набат. Карман был пуст. Он засунул ладонь внутрь кармана — карман был пуст! Он лихорадочно стал ощупывать остальной пиджак — второй внутренний карман, оба боковых. Зачем-то проверил карманы брюк, карманы пальто. Пакета не было. Обшарил глазами пол. Безрезультатно. Страшная догадка пронзила мозг: он выронил свёрток, когда снимал или надевал пиджак в туалете!

Осторожно, чтоб не разбудить жену, дядя Юра вышел из купе и бегом помчался к туалету. Он торопился, так как хорошо знал, что в его стране деньги на полу не залеживаются. Даже если это пол туалета, даже самого грязного, общественного — что же говорить о ковровом международном?

В туалете полковник, запершись, осмотрел ковёр, поискал за унитазом и в шкафчике под раковиной, где хранились пустое ведро и веник. Поиски результата не дали. И на полу в коридоре, и в своём купе, которое теперь он обследовал гораздо тщательней — нигде пакета с деньгами дядя Юра не нашёл. Пошатываясь, он вышел в холодный тамбур. Автоматически осмотрел пол. Стал у дверей, приложив лоб к стеклу. Если он выронил свёрток в туалете, то, скорей всего, его нашла смуглая незнакомка. Можно, конечно, пройти по всем купе, распросить, но ведь неудобно же, позору не оберёшься! А если это не она? Мало ли кто ещё мог посетить туалет с тех пор? Да и свёрток мог выпасть не в туалете, а где-нибудь по дороге, в коридоре. А главное, если кто нашёл чужой кошелёк с такими деньгами, разве станет он признаваться? Вот он сам, дядя Юра, стал бы? Конечно, стал бы! А впрочем... нет, не имеется у него однозначного ответа на такой трудный вопрос.

И поразмыслив у холодного стекла, успокоившись под монотонный стук колёс, дядя Юра сказал себе, что ничего страшного в общем-то не произошло. Деньги — это всего лишь деньги. Ну, потерял, бывает. Никто, слава Богу, не умер, не заболел. И вообще, всё к лучшему в этом... ну и т.д. Любое несчастье происходит для чего-то, только мы пока не знаем для чего. «Ничего, скоро узнаем...» — утешил себя полковник в отставке.

Что же до денег, так половина их всё равно не наша. Всё равно пришлось бы отдавать. А что касается шубы — тут дяде Юре пришла в голову одна идея, настолько простая и очевидная, что он просто поразился, как она раньше не пришла ему в голову. «Какой я мудака! — казнил дядя Юра. — Допри я до этого раньше, не пришлось бы горбатиться, одалживать, тащиться в... Стоп!»

И тут дядя Юра понял, почему идея не пришла ему в голову раньше. Ведь тогда они не поехали бы в соседнюю республику. И не было бы ни заграничного вагона с роскошным туалетом, ни кофе с ликёром. И дядя Юра больше ни разу до конца жизни не почувствовал бы себя белым человеком. И он ещё раз подумал о том, что всё, происходящее с нами, происходит не просто так, а для чего-то. Только мы не всегда понимаем, для чего.

Он решил не посвящать пока тётю Мину в подробности. Да и в общих чертах

— не стоит. Зачем расстраивать её, заранее сообщать о потере? Всему своё время.

В столице республики на улицах лежал снег. Тётя Мина предвкушала, как через каких-нибудь полчаса снова пойдёт по красивым этим зимним улицам в новой шубе.

Разыскали комиссионный магазин. Вежливый продавец провёл их к вешалке с совершенно новыми шубами. Счастливая тётя Мина, смущаясь, примерила несколько — решили, что серый каракуль ей не к лицу, выбрали чёрную, отливавшую на свету муаром и перламутром, лёгкую, тёплую, на шёлковой стёганной подкладке. Такой шубы, похоже, не было ни у кого в Городе, разве что у нашей тёти Тани, той самой, у кого дядя Юра однажды так неудачно побывал в гостях.

Пока выбирали шубу, дядя Юра почти забыл об отсутствии денег для её покупки. Тем легче было ему изобразить шок и сыграть классический учебный этюд «пропажа денег». Он снова подробно, как первый раз в купе, проделал всю процедуру с ощупыванием карманов, грамотно «обнаружил» пропажу, даже немного покраснел.

— Чёрт, вот чёрт! — закричал он в гневе. — Украли! Вытащили деньги! Вырезали! Выбили из кармана! Подонки! Найду — шкуру спущу! Надо срочно заявить в милицию!

Для правдоподобия он рванулся к дверям магазина и выглянул на улицу. Нужно ли говорить, что текст он придумал заранее, а всю сцену прорепетировал в воображении, по методу Михаила Чехова. Хотя, вряд ли он слышал о Михаиле Чехове и на метод его набрёл, скорее, интуитивно.

Вежливый продавец вежливо улыбался. Тётя Мина тоже улыбалась через силу в присутствии продавца, показывая всем видом, что, мол, ничего страшного, пустяки, бывают же такие интересные приключения. Расплакалась уже на улице. Дядя Юра тоже чуть не плакал, до того ему было жалко жену.

— Ничего, ничего, Миночка, не расстраивайся, найдём мы эти деньги (он, разумеется, имел в виду не те самые деньги, что выронил в туалете — они, скорей всего, были уже далеко), и шубу тебе справим, в сто раз лучше этих, клянусь тебе! — приговаривал полковник в отставке, обнимая жену и кутая её лицо в облезший нутриевый воротник.

То ли старый, давно вышедший из употребления купеческий глагол «справим», невесть откуда залетевший в дяди Юрин лексикон, оказал действие, то ли искреннее сочувствие мужа — но тётя Мина успокоилась. Сказала, что не стоит заявлять в милицию, так как они всё равно ничего не найдут. С чем дядя Юра согласился, сразу и легко.

— Деньги — это же всего лишь деньги! — залихватски воскликнул он, подхватывая жену и заталкивая её в закрывающуюся дверь автобуса, идущего до вокзала.

«Какой я всё-таки молодец — хвалил себя полковник по дороге, — что деньги на ресторан отложил в бумажник!» Бумажник находился в жениной сумке, так что дядя Юра был за него совершенно спокоен.

Деньги из бумажника оказались очень кстати — на вокзал пришли задолго до отправления поезда и прекрасно провели время в вокзальном ресторане, обставленном с довоенным шиком. Там тоже подавали икру, на второе — изумительные, как выразилась тётя Мина, пожарские котлеты. Полковник заказал сладкое вино для жены и коньяк для себя. На обратном пути оба тут же уснули на мягких диванах под стук колёс, и спали крепко, как дети, или как взрослые, честно и

до конца выполнившие свой долг.

Чтоб закончить историю с шубой, нужно рассказать об идее, пришедшей в голову дяде Юре в тамбуре международного вагона и воплощённой им в жизнь, как и большинство его идей. Тогда в поезде полковник вдруг вспомнил о бурке, подаренной ему лентараканскими пастухами и теперь хранящейся где-то в самой глубине антресоли в старом фанерном женином чемодане. По приезде он разыскал чемодан, для чего пришлось снять с антреселей многочисленные банки с компотами и консервированными помидорами, ящики с гвоздями и инструментами, старые грамофонные пластинки и ещё много всякого хлама, который люди хранят чаще всего не столько из практических, сколько из ностальгических соображений, в тщетной попытке удержать уходящее время.

На поиски чемодана дядя Юра потратил почти целый день, но в конце концов нашёл его и с радостью констатировал, что бурка цела и невредима, только насквозь пропахла нафталином. Благодаря чему и сохранилась. Дядя Юра развесил бурку на балконе и держал там несколько дней; запах ослаб, хотя и не выветрился окончательно. Нашли знакомого меховщика, тоже подпольного, своего человека, мужа маминой подруги. И за не слишком большую плату он сшил тёте Мине из бурки прекрасную длинную шубу, не хуже той, что примеряли в комиссионном.

К сожалению, тётя Мина проходила в ней недолго, всего одну зиму. Через год они уехали в Калифорнию, где, как известно, тепло круглый год и шуб не носят. Она отдала шубу Кире. Практичная Кира тогда как раз обставляла свой новый дом; она отнесла шубу меховщику, вполне легальному, тот распорол её, сшил куски вместе; получился великолепный меховой ковёр, который Кира постелила у камина. Но камин в тёплой Калифорнии не топили, и шкура пылилась на полу, вызывая нарекания прислуги, очень не любившей пылесосить её. Так что теперь бывшая бурка, она же бывшая шуба хранится где-нибудь на чердаке Кирино дома. Если, конечно, практичная Кира, не слишком подверженная сантиментам, не выбросила её или не продала за бесценок во время гаражной распродажи при очередном своём переселении.

Прощай, страна огромная!

Итак, пришла пора рассказать о последней значительной перемене в жизни Парамоновых — переезде на жительство в Америку. Наше повествование о них близится к концу. Это печально, не хочется расставаться с хорошими людьми после более чем ста страниц тесного общения, но утешим себя тем, что всякий конец предполагает начало чего-то нового.

На следующий день после возвращения Парамоновых из неудачной поездки за шубой они получили письмо от Киры из города Санта Джессика.

Кира, нужно сказать, к тому времени была в полном порядке. Благодаря помощи Бори и благоприятной международной обстановке, почти сразу нашла работу. Она устроилась преподавателем русского языка и литературы на военной базе, там готовили журналистов, дипломатов и других профессионалов для засылки на работу в империю. Где начались тогда кардинальные перемены под всемирно знаменитым названием «Перестановка». США хотели помочь заокеанским друзьям ускорить процесс.

Выйдя замуж за новоиспечённого американца Борю и получив необходимый статус, Кира тут же послала прошение в министерство Виз. И вот теперь пришёл ответ — список документов, которые нужно предоставить, дабы её родители, Георгий и Мина Парамоновы, смогли поселиться в свободной стране.

Сразу скажу, что письмо вызвало неоднозначное отношение со стороны будущих новых поселенцев. Смешанное чувство радости и замешательства, удовлетворения и лёгкой горечи — вот что испытали тогда дядя Юра и тётя Мина. То же, что испытывали в те времена тысячи их сверстников, вынужденные менять уклад и отправляться Бог весть куда из родного дома, вслед за менее консервативными детьми.

Дяди Юра боялся, что переезд в чужую страну переведёт его в разряд окончательных отставников-пенсионеров. Ведь там, за океаном, не будет ни Бюро по охране, ни Общества знающих, ничего, что привязывало дядю Юру к активной жизни. Там он превратится в жалкого старичка-беженца без перспектив, живущего на подачку чужого государства. «Живущие на подачку» — это тоже было старое пропагандистское клише, которое дядя Юра изредка употреблял в своих лекциях.

Конечно, оба, он и тётя Мина, понимали, что рано или поздно придётся ехать к Кире в незнакомую чужую страну. Но старались не думать об отъезде, казалось, до него ещё далеко, когда ещё... Однако время, как известно, бежит гораздо быстрее, чем нам хотелось бы.

Впрочем, теперь, после поездки за шубой, дядя Юра несколько поменял точку зрения. Он всё-таки в глубине души очень переживал из-за потерянных денег и считал, что в любой нормальной стране, не такой бандитско-воровской, как наша, свёрток остался бы лежать на полу таулета гораздо дольше, дожидаясь возвращения хозяина, или, в крайнем случае, нашедший отдал бы его проводнику (он, кстати, казнил, что не догадался тогда спросить у проводника, но утешал себя тем, что проводник европейского экспресса был типичный отечественный проводник).

Между прочим, в своём предположении, сколь диким оно не кажется нашим людям, дядя Юра не так уж отделился от истины. Жители цивилизованных стран уважают чужую собственность, и потому им редко приходит в голову присвоить её просто так, без борьбы. И кто знает, как бы оно обернулось, найди свёрток не смешливая брюнетка, а кто-то другой из иностранных пассажиров международного вагона.

Так или иначе, дядя Юра очень разозлился на свою воровскую страну и решил, что, скорее всего, уезжать из неё нужно немедленно, пока не украли всё. И оказался прав.

Другое дело — тётя Мина. Она не могла себе представить, что уедет, оставив Митю с детьми в другом полушарии. Боялась, что никогда больше его не увидит. Эта мысль не давала ей покоя. Хотя они не общались с сыном, но всё же были рядом и всегда в курсе, через знакомых, того, что происходит в его семье. И когда узнали, что заболела жена Мити, долго думали, как помочь. Не придумали ничего, кроме как послать Мите по почте заведенную на его имя сберкнижку, на ней к тому моменту набралась приличная сумма.

Но представить себе, что окончит жизнь вдали от дочери, тётя Мина тоже не могла. И страдала, не зная, как совместить несовместимое. Такого рода трагедии происходили тогда во многих семьях.

В Кирином письме имелась фотография подросткового Тараса за рулём открытого автомобиля марки «Крайслер». Фотография демонстрировала Кирино процветание в Штатах и вызывала двойственное отношение тётки Мины, тогда как дядю Юру только раззадоривала.

В общем, они стали собирать необходимые документы и справки, чтоб послать их Кире. А что было делать? Конечно, куда приятнее родиться в нормальной стране, где можно весь век прожить в родном городе или деревне, среди многочисленных родичей и старинных школьных друзей, состариться в своём доме и оставить его детям в наследство, вместе с мебелью и дорогим сердцу ящиком старых грампластинок на антресоли... Но ведь человеку не дано выбирать страну рождения. Вот и приходится делать выбор гораздо позже, иногда ближе к концу жизни.

Собрав документы и выслав их дочери, Парамоновы почувствовали некоторое опустошение и усталось. Зима была тяжёлая. К счастью, она закончилась, наступал май, самый красивый и обнадёживающий месяц в Городе. Цвели платаны, каштаны и акация. Кто не видел наш Город в мае, не знает, что такое настоящая весна. Потихоньку начинался пляжный сезон. И, конечно, рыболовный. Дядя Юра совершил первую вылазку на лиман. Рыбы было немного, но зато знакомый рыбак из прилиманского села предложил ему сдать курень, маленькую рыбацкую избушку на лето. Дядя Юра сказал, что посоветуется с женой, и в самом начале июня они с чемоданом, удочками, кастрюлями и ещё кое-каким скарбом переехали в курень. Он стоял у самого моря. Засыпали под шум волн, что дядя Юра считал лучшей нервной терапией, а тётка Мина жаловалась, что не может уснуть.

Впрочем, разногласия их на эту тему длились недолго, всего одну ночь. На следующий день после поселения в курене пришла телеграмма от сестры Митиной жены. В телеграмме говорилось, что жена Мити скончалась утром в городской больнице и что лучше бы дядя Юра с тёткой Миной вернулись в город. Через два часа родители были в квартире сына. Дядя Юра с Митиной золовкой занялись похоронами, а тётка Мина — детьми и Митей, которых тут же увезла к себе. Всё лето сын и внуки прожили у родителей. Тётка Мина воспряла духом. С упоением готовила на шестерых. Дядя Юра возил на «Волге» продукты. Иногда ездил на рыбалку с Митей и старшим из двух мальчиков. Так продолжалось до сентября; затем начался учебный год; школа, куда ходили мальчики, находилась по месту жительства, и они вернулись с отцом в свою квартиру, где у Мити в одной из комнат имелась маленькая реставрационная мастерская. Тётка Мина приезжала к ним два-три раза в неделю, чтоб сварить обед. Младшую же девочку, которой едва исполнилось полтора года, пока забрала к себе бездетная Митина золовка, души не чаявшая в осиротевшей племяннице.

Тем временем неспешно работающее Министерство Виз всё-таки работало. И прислало Кире для родителей вызов на интервью в посольство, расположенное в столице империи.

За лето Парамоновы почти забыли обо всей этой затее с эмиграцией. Теперь, после воссоединения с Митей, они ещё меньше рвались в Америку. За Киру же были совершенно спокойны. Она неудержимо процветала на новой родине и собиралась покупать там дом. Узнав о намерении дочери, старики сперва не поверили: как это так? Неужели такое возможно?! Какихнибудь три-четыре года назад приехала в чужую, враждебную капиталистическую страну (так называл США дядя Юра в своих лекциях до недавнего времени) с несколькими чемоданами и парой сотен долларов, и

вот на тебе — покупает дом!

Парамоновы тогда ещё не знали, что покупка и продажа домов в США есть даже не то что хобби, а, скорее, особая национальная болезнь, вирус, который вместе с местным воздухом вдыхает каждый, поселившийся в благословенной стране, независимо от его социального статуса и материального положения. От вируса же, как известно, нет лекарства, им надо переболеть, поменяв три-четыре дома и дав прилично заработать маклерам по перепродаже недвижимости. И вот Кира ездила с Борей и с маклершей по графству Санта Джессика и смотрела дома. Но при этом не забывала о дочерних своих обязанностях. И переслала родителям вызов на интервью в американское посольство с ограниченным сроком явки.

Что повергло тётю Мину в панику.

— Куда мы поедём? — вопрошала она мужа. — Зачем?! Тем более сейчас, когда Митяша в таком положении!

Дядя Юра молчал, понимая, что вопросы её чисто риторические. Он смотрел на вещи трезво и отдавал себе отчёт: рано или поздно придётся решиться. Кроме того, на него сильное впечатление произвела фотография внука Тараса за рулём «Крайслера». Даже не столько сам внук, сколько... Ах, да что тут говорить!

Осень прошла быстро. В январе поехали в столицу на интервью в посольство. Перед интервью немного дрейфили, как все бэбээсовские граждане, привыкшие трепетать не только перед своим, но и перед любым другим государством, привыкшие к вечному страху: а не провинился ли я в чём-нибудь перед Всесильным, не нагрешил ли, не обидел ли Его? Хотя, какие у них грехи перед страной, где они никогда не были и вообще никак не соприкасались? Правда, дядя Юра считал, что у него есть веские основания для беспокойства, так как всё ещё верил в выдуманную им же самим историю про охоту на него американских спецслужб.

Интервью прошло гладко, как по маслу. Бывший военный советник вздохнул с облегчением. А тётя Мина, которая до интервью всё-таки тоже волновалась (мало ли что? а вдруг не пустят?), чувствовала теперь некоторую досаду: в глубине души она, оказывается, надеялась, что, может, их притормозят хоть чуть-чуть, пусть ненадолго. Вечером того же дня уехали домой, в Город. Родичей и знакомых в столице не осталось, да Парамоновы и не жаждали задерживаться в городе их молодости, будить воспоминания, бередить сердце.

Нужно было начинать собираться в дорогу. Но как, Боже ты мой, не хотелось начинать! Сборы растянули надолго, тётя Мина не торопилась, тянула до последнего; дядя Юра её не подгонял. Подгоняла Кира, постоянно напоминая, что скоро кончается срок виз и обещая, что как только они окажутся в Америке, она сразу же займётся разрешением на жительство для Митьки, который как родной брат имеет полное право. Обещание Кира, надо сказать, выполнила, как и все обещания, которые она когда-либо кому-либо давала.

Постепенно продали квартиру, мебель. Разобрали антресоль. Кое-какие вещи и книги отправили Кире медленной почтой. Часть вырученных за квартиру и «Волгу» денег вернули кредиторам, часть оставили Мите. Кое-что взяли с собой в Америку на первое время, чтоб не сидеть на шее у дочери, пока не начнут получать пособие. С Мити взяли клятву, что он вышлет все необходимые документы (некоторые тётя Мина взяла с собой — копии, конечно) по первому требованию и приедет к ним с детьми, как только получит разрешение. Но не очень-то верила сыновним клятвам

многострадальная и многоопытная мать.

К тому времени относится моя последняя встреча с Парамоновыми. Не помню точно, но кажется это случилось в декабре, незадолго до их отъезда. По какой-то причине я оказался в родном Городе. Ждал автобуса на конечной остановке, напротив Круглого дома, где находились билетные кассы, и вдруг увидел заметно постаревших тётю Мину и дядю Юру. Они вышли из касс и, держась друг за друга, осторожно, маленькими шажками продвигались по обледеленному тротуару. Тётя Мина двумя руками обхватила мужнину правую руку, каковую он крепко прижимал к боку, для надёжности засунув ладонь за обшлаг поношенной серой куртки. Подбородок бывшего полковника был горделиво приподнят, он умудрялся даже поглядывать по сторонам, и если отсечь тётю Мину и неуверенную поступь, то вполне мог бы сойти за генерала-героя или его бюст, установленный на родине. Я хотел подойти, попрощаться, но не стал, постеснялся. Мы ведь уже много лет не виделись.

Долго ли, коротко ли, но сборы закончились. Съездили на оба кладбища, где покоились родители — на христианское, к Александру Константинычу и тёте Басе, и на еврейское, к дяде Исааку. Тётя Манюся, мама тёти Мины, жившая в последние свои годы с дочерью, умерла в Западном округе, где и была похоронена. Туда ехать было далеко, да и не впустили бы без специального разрешения.

Поехали попрощаться с Бульваром. Дядя Юра в последний раз помыл верного друга «Волгу», подкрасил старую царяпину на крыле.

Самолёты в Америку летали только из столицы; до неё добирались, как всегда, поездом. Митя с детьми провожал их на вокзале. На том самом пероне, откуда тёти Минины и дяди Юрины родители когда-то провожали их с маленьким Митей после его первого лета в Городе, и затем каждый год после отпуска, сперва в Москву, потом в Лентаракань, потом в Западный округ. Тётя Мина не всхлипывала, как обычно, а плакала навзрыд. И Митя, хоть пытался улыбаться, не мог остановить дрожащую нижнюю губу. Дяде Юре же не изменила военная выдержка; он только, как заведённый, повторял одну и ту же фразу:

— Не тяни с документами, Митяша. Как только получишь извещение, сразу высылай. И опять, минуты через две, с той же интонацией:

— Смотри же, Митяша, не затягивай с документами. Как только...

Ниагарский водопад и Эйфелева башня.

В Америке пособие Парамоновым стали выплачивать сразу по прибытии, с первого дня. Что очень воодушевило дядю Юру. Который, как мы помним, имел тайную мечту отечественного автомобилиста. Пособие, конечно, оказалось весьма небольшое — по американским меркам, но ведь дядя Юра и тётя Мина привыкли мыслить совсем другими мерками. И поначалу они почувствовали себя просто нуворишами. Но только поначалу.

Чуть ли не с первой же, как говорится, получки стали понемногу откладывать. Во-первых, конечно, для Мити — на дорогу в Америку ему с детьми, и вообще. Во-вторых... С дяди Юриным-то опытом откладывания... Он было спросил у дочери, нельзя ли прочесть лекцию о международном положении на их военной базе, и Кира пообещала разузнать. Но полковник вскоре отказался от этой идеи, так как понял, что вряд ли сможет идеологически перестроиться на сто восемьдесят градусов за такой

короткий срок.

Но и без лекций, меньше, чем через год, прибавив к отложенным деньгам привезённые с собой, дядя Юра с тётей Миной, Кирой, Тарасом и Борей на «Крайслере» поехали однажды в воскресенье на распродажу подержанных «экипажей». Дядя Юра почти сразу заметил среди десятков автомобилей с намалёванными на стёклах аршинными цифрами, означавшими год изготовления, небольшой «Мерседес». Он чем-то напоминал родную «Волгу». Сердце старого автомобилиста как-то сразу прикипело к будущему другу. И как Кира и Боря ни уговаривали, что нужно ещё поездить посмотреть, что в Америке никто не берёт вещь сразу, пренебрегая всем спектром возможностей — дядя Юра не отступал. Весь опыт предыдущей жизни учил его не перебирать, не капризничать, а хватать то, что есть, пока оно есть. Да и перед продавцом неудобно — пожилой человек, такой вежливый, старается для них, показывает, помогает... Дядя Юра не привык к такому на родине и всё ещё не мог привыкнуть здесь. Что ж, оставить его ни с чем?

Пузырь вздувшейся краски на заднем левом крыле «Мерседеса», несколько царапин на бампере — всё это не смущало тёртого автомобилиста. Он ходил вокруг машины как зачарованный и бормотал:

— Ничего, ничего, подмажем, подкрасим, ремонт ей дадим...

И действительно, постепенно он привёл свой «Мерс» в полный порядок. Сперва сам отскрёб пузырь на крыле — уж больно он раздражал полковника — и зачистил наждачной бумагой края. Кое-как замазал пятно и царапины на бампере. Через несколько дней внёс коррективы, ещё подмазал. Потом ещё раз. Но чувствовал — нет, не то. Самодеятельность, приемлемая на родине, здесь, в стране передовых технологий, выглядела жалко. И дядя Юра нашёл где-то на окраине, среди бараков и хибар, мастера из наших эмигрантов, который за небольшие деньги покрасил автомобиль целиком из пульверизатора. После чего «Мерседес» стал выглядеть как новенький, совсем как четырнадцать лет назад, когда сошёл с конвейера в родном Франкфурте.

Дядя Юра не разлучался с «Мерсом» до последнего своего дня, холил и лелеял его, как когда-то «Волгу», красил чуть ли не каждый год. Ездил на нем на рыбалку куда-то далеко на океан. Очень любил возить на «Мерседесе» приезжавших из других городов Америки родственников-эмигрантов, и, нежно поглаживая крыло любимца, говорил всегда одну и ту же фразу:

— На днях Его покрасил, и вот теперь смотрите, совсем как новенький!

Родственники кивали и легко соглашались: «Действительно, как новый!» Этого только и нужно было дяде Юре. Он самолично отворял и захлопывал двери за пассажирами, никому не доверяя ответственной операции; затем, ни на кого не глядя, с гордо поднятой головой — казалось, на ней сияет кокардой генеральская фуражка — обходил «Мерседес» спереди, с достоинством садился в водительское кресло. Через некоторое время, после небольших усилий со своей и дяди Юриной стороны мотор заводился. Экипаж отправлялся в путешествие по живописным окрестностям Калифорнии. И то было не что иное, как воплощённая в жизнь дяди Юрина американская мечта.

В общем, дядя Юра и тётя Мина несколько не жалели, что решились на эмиграцию. Теперь они видели, что такое жизнь в свободной стране. Вопреки ожиданиям и к лёгкой досаде бывшего военного советника, а ныне эмигранта на

пособии, ни местные ЦРУ и ФБР, ни армейская разведка не проявляли к нему ни малейшего интереса, несмотря на полную его доступность, как географическую, так и в смысле отсутствия охраны. Советник начинал понимать, что такое лживая госпропаганда и как она способна изуродовать человеческое сознание. Он уже почти готов был к тому, чтоб прочесть об этом лекцию на Кириной военной базе, если, конечно, Кира возьмётся переводить. Ни он, ни тётя Мина так и не выучили английский, поскольку все вокруг говорили на родном — Парамоновы жили в муниципальном доме вместе с другими пенсионерами из империи и посещали эмигрантские магазины, которых было множество в их районе. Впрочем, тётя Мина вскоре приспособилась покупать и в местных супермаркетах, запомнив иностранные названия основных продуктов; цифры же читала на дисплее электронной кассы.

Свои впечатления о жизни в Америке тётя Мина описывала в письмах к моей маме и её сестре. Обладая литературным даром, живописала в духе рыболовной прозы Хэмингуэя дяди Юрины поездки на океан. Рассказала, как они ездили на знаменитый Ниагарский водопад. Тётя Мина очень гордилась, что повидала одно из чудес света, и часто в письмах упоминала о том, под разными предлогами. Например, так: «Недалеко от нашего дома проходит хайвей, который круглые сутки шумит совсем как виденный нами Ниагарский водопад, но нам это ничуть не мешает.»

Спустя несколько лет мои мама с папой и её сестра с семьёй тоже покинули распавшуюся империю, разъехались в разные стороны света — мама и папа в государство Израиль, её сестра — к тёте Мине в Калифорнию. Вскоре после переезда в Израиль мама и папа исполнили вечную и недостижимую мечту советского интеллигента: съездили в Париж. Мама тут же по возвращении написала подробный отчёт о поездке тёте Мине. Которая в Париже не была никогда и вряд ли будет, в силу его чрезмерной удалённости от Калифорнии. В письмо мама вложила своё с папой фото на фоне Эйфелевой башни. Тётя Мина долго не отвечала на удар, но в конце концов нашлась. Ответила так: «Ах, Эммочка, как удивительно сложилась наша жизнь! Разве могли мы когда-нибудь подумать, что ты своими глазами увидишь Эйфелеву башню, а я — грандиознейший Ниагарский водопад!»

Прислала также фото, снятое Борей три года назад: она, дядя Юра, Кира и Тарас на фоне водопада.

Кстати сказать, Кира и Боря купили таки дом, вскоре по приезде родителей в США. Но прожили в нём недолго. Не помню точно, что произошло между ними; кажется, тётя Мина что-то писала маме о внезапно открывшемся Борином пристрастии к алкогольным напиткам. Так или иначе, Кира и Боря развелись, поделив по справедливым американским законам всё имущество пополам. Дом, который пополам никак не разделишь, пришлось продать и поделить вырученные за него деньги.

Кира недолго оставалась одна. Вскоре вышла замуж за своего студента в чине шеф-майора (подполковника) местной армии. Похоже, тот решил всерьёз изучить Кириной родной язык, ещё до её развода с Борей. Шеф-майору, несмотря на знание языка, удалось избежать засылки в СССР. Вместо этого он женился на Кире.

У шеф-майора тоже имелся дом; и ему тоже пришлось продать его при разводе с женой и деньги разделить пополам. В результате, соединив Кириной половину с шеф-майорской, удалось купить большой, но не слишком ухоженный дом в престижном районе. И все те несколько лет, что Кира прожила с новым мужем, она ремонтировала

этот дом или, выражаясь по-американски, занималась его реновацией: что-то перестраивала внутри, достраивала и отсекала снаружи.

Когда реновация была завершена, выяснилось, что Кира больше не в состоянии выносить беспробудное пьянство забулдыги-подполковника. Дом продали, деньги привычно разделили пополам, и Кира приобрела свой третий дом в Америке, возможно, последний, хотя не стоит загадывать. Дом тоже не маленький, во дворе имеется бассейн и флигель. Мама, которая дважды побывала в Калифорнии, утверждает, что во флигеле поселился архитектор, руководивший реновацией Кириногo предыдущего дома. Он тоже развёлся с женой сразу после реновации, тоже продал дом и поделил выручку пополам, но новый дом покупать не стал, а снял флигель у Киры. Не знаю, живет он во флигеле до сих пор или уже переселился в дом, а его место во флигеле занял другой разведённый архитектор или военнослужащий.

Выходит, тётя Мина не зря беспокоилась насчёт женской энергии дочери. Хотя, как посмотреть. Вполне вероятно, что все эти перемены в жизни Киры, не слишком одобряемые консервативной тётей Миной, самой Кире казались совершенно естественными и жизненно необходимыми.

Что касается мужской энергии самого дяди Юры, то хочу рассказать один случай, за достоверность которого опять таки ручаюсь, так как и он, как многие ключевые моменты истории семьи Парамоновых, произошёл на глазах у моей мамы.

Однажды, в первый приезд мамы и папы в Калифорнию, дядя Юра повёз их и мамину сестру на прогулку по окрестностям. Тётя Мина осталась дома, так как дядя Юра не хотел перегружать «Мерседес». Щадил любимый автомобиль и никогда не сажал в него больше четырёх человек, включая себя. Бескрайний пейзаж — живописные холмы и долины, освещённые закатом, синяя полоса океана на горизонте — настроил пассажиров на романтический лад. И тётя, человек практический, решила этим воспользоваться. Она задала дяде Юре вопрос, который, по-видимому, мучил её всю жизнь.

— Скажи, Юра, — спросила в лоб моя любопытная и не слишком церемонная тётя-гинеколог — скажи правду, у тебя было много женщин?

Дядя Юра ответил не сразу. Он не ожидал, по-видимому, такого недвусмысленного вопроса, и соображал, стоит ли на него отвечать. Да ещё в присутствии трёх пар ушей. (Он забыл, что мой папа глуховат, и его уши можно не считать.) Однако промолчать, уйти от ответа полковник не мог. И теперь думал, как ответить. Сказать, что да, много — вдруг дойдёт до Миночки, зачем её травмировать? Сказать, что нет, опозорить себя — ещё хуже. И он нашёл, на мой взгляд, единственно верную, достойную формулировку:

— Женщины сами преследовали меня всю жизнь — сказал дядя Юра серьёзно, — что называется, вешались на шею. А я... — тут он, кажется, вздохнул — Я был не в силах сопротивляться...

И умолк. Обе кузины тёти Мины тоже молчали, не знали, как реагировать на откровенное признание. Молчание нарушил мой папа, о присутствии которого почти забыли.

— Что-что? — громко спросил он. Папа, как всегда, услышал только два-три последних слова и теперь хотел знать всю историю. — Что-что? — переспросил он маму.

— Отстань! — цыкнула мама, махнув рукой; сделала страшное лицо и

приложила палец к губам.

И деликатный папа, смирив любопытство, заставил себя замолчать. Только пожал плечами и саркастически хмыкнул.

Услышав эту новеллу, я прозрел. Словно бы пелена спала с моих глаз. Я понял, что случай с преследованием блондинки на Бульваре был чуть ли не единственным в жизни бывшего полковника. Что слухи о его романтических приключениях — не что иное, как, говоря языком психологов, компенсация комплекса некрасивости. Что тётки Минина постоянная ревность была беспочвенна. Основывалась лишь на том, что ей-то Юрочка казался самым красивым и привлекательным; она не сомневалась, что женщины буквально не дают ему прохода, особенно когда он в форме и при погонах, а он — что ж, он всего лишь слабый мужчина...

В Америку и обратно.

Тут я вынужден сказать, что, как ни оттягивал этот момент, но история о дяде Юре подошла к концу. Осталось немного — два-три абзаца о Мите, обожаемом сыне дяди Юры и тётки Мины, которого в детстве неустанно ставили мне в пример мама и бабушка и чьей гениальности скрыто завидовал мой простодушный папа.

Кира, как я уже сказал, выполнила своё обещание, подала прошение, уплатив немалую пошлину и все прочие госпоборы, и Митя получил вызов на интервью в посольство. Нельзя сказать, чтоб он особенно стремился в эмиграцию; скорее поддался поветрию, охватившему родную страну. Он приехал в Америку с детьми через год или два после родителей и повёл себя совершенно как инфант. Не захотел учить местный язык, поэтому Кира должна была сопровождать его повсюду, вплоть до магазина. Ей, конечно, вскоре это надоело. Родители же языка не знали; всё, что они могли, это обеспечивать Митю продуктами и готовить обед, благо, поселили его с детьми в одном с ними доме. Но этого оказалось недостаточно, чтоб устроить жизнь сына в новой стране.

К сожалению, в их эмигрантском районе никто не интересовался реставрацией старинной мебели, а за пределы района Митя выходить не желал. Вообще, проявлял удивительную пассивность. Даже какое-то, что ли, равнодушие в смысле своего трудоустройства и всего прочего. Я думаю, ему просто не понравилась Америка, как страна, мало пригодная для людей творческих, свободных, не способных подчинить своё существование одному единственному стремлению — заработать как можно больше денег.

И Митя снова проявил характерные независимость и свободолюбие: собрал немногочисленные вещи, схватил детей в охапку и вернулся на родину. Старики ему не препятствовали, Кира тем более. А как тут воспрепятствуешь? В конце концов, взрослый человек. И если ему не подходит страна... Что поделаешь, свобода выбора и всё такое... Так рассуждали опечаленные дядя Юра и тётка Мина. На старости лет они таки причастились к демократическим ценностям. Что характеризует демократические ценности с хорошей стороны — ими можно проникнуться в любом возрасте, включая преклонный.

О дальнейшей судьбе сына и внуков они узнавали окольными путями, от одного-двух друзей, случайно задержавшихся в Городе. Самый старший из детей, сын покойной Митиной жены, к тому времени стал совсем взрослым. Настолько

взрослым, что даже отсудил у отчима материнскую квартиру. Младшую девочку забрала к себе, теперь уже насовсем, тётка. Митин же сын окончил школу и постригся в монахи. Теперь живёт, по слухам, в монастыре, расположенном напротив Городского вокзала. Я хорошо помню этот монастырь и его большой собор, пять куполов со срубленными крестами. При мне там был планетарий. Теперь снова собор. Кресты, конечно же, вернули на место.

Сам же Митя, опять таки по слухам, поселился где-то в восточной Европе, кажется, в Польше. Надеюсь, сводолубивая Польша оказалась ему ближе, чем прагматичная Америка, и он там не один и хорошо устроен. Польша, в принципе, неплохая страна; там, правда, не любят евреев, но Парамонов Дмитрий Георгиевич, по счастью, не имеет к этой нации никакого оношения.

После отъезда из Америки он, похоже, совсем перестал интересоваться стариками и Кирой. Выбросил их, что называется, из сердца насовсем. Почему? Не простил им, что они когда-то скрыли от него, что он не родной их сын? Не испытывал к ним никаких родственных чувств? Оказался чёрствым человеком, забыл всё, что отец и мать сделали для него, как заботились о нём всю жизнь, как боготворили своего мальчика в юности, да и потом, когда он стал взрослым?

Трудно ответить на этот вопрос. Никогда ведь не знаешь, что на самом деле происходит между людьми. Вся правда известна только самим участникам событий, и потому судить и рядить со стороны — особенно судить, то есть осуждать — занятие бессмысленное и даже неприличное.

Ну и вообще, я часто сталкивался с таким феноменом. Любящие и заботливые родители в старости вдруг остаются в одиночестве, в то время, как родители, в молодости не слишком обременявшие себя заботой о детях, на старости лет получают от них всё причитающееся. Казалось бы, где тут справедливость? Где логика? Как насчёт справедливости, не знаю, а логика есть. Так устроен свет: себялюбцы и эгоисты, в отличие от альтруистов, всегда получают всё, что им нужно, а то и больше. Как-то они это умеют.

Что касается Мити — возможно, я просто не в курсе, и какое-то сообщение, хотя бы между ним и Кирой, существует. Хотел бы в это верить. Во всяком случае, почти не сомневаюсь, что Кира нашла способ сообщить брату о смерти отца.

Дядя Юра умер несколько лет назад, в возрасте девяноста с лишним лет. Умер как-то сразу, не болел; наоборот, оставался бодр, активен, ездил, как всегда, рыбачить на океан и не покидал руля верного «Мерседеса». Известие о его смерти было неожиданностью для нас всех. Наверное, нам казалось, что уж кто-кто, а дядя-то Юра будет жить вечно. К чувству печали, обычном при утрате кого-либо из родичей, примешивалось что-то ещё.

Может быть, ностальгия по ушедшему времени, поре детства и юности, молодости наших родителей? Плюс ностальгия по родному Городу тех лет, и даже, как ни странно, по несчастной, ныне исчезнувшей стране, в которой все мы, так или иначе, но всё таки жили... Вероятно, наш дядя Юра, скромный, мало кому известный полковник (или подполковник?) в отставке, был из тех людей, чей уход означает уход эпохи.

Больше всех, конечно, печалилась тётя Мина. Хоть она и подсмеивалась над мужем частенько, иронизировала, называла солдафоном, а один раз даже окрестила сексуальным маньяком. После смерти дяди Юры она собрала все хранившиеся в

семейном архиве его фотографии, включая маленькие, от пропусков и удостоверений, и попросила Киру отнести их к фотографу для увеличения. И увешала этими фотографиями все стены их маленькой пенсионерской квартиры в Санта Джессике.

Может, это и был самый звёздный час в жизни несостоявшегося генерала дяди Юры. Если правда, что жизнь человека не кончается в момент смерти его физической оболочки.

Здесь я собирался поставить эффектную точку. Эффектную, на мой взгляд, и в смысловом, и в композиционном отношении. Но жизнь, как известно, лучший композитор.

Как-то я прочитал маме, главному эксперту и неисчерпаемому источнику деталей для этой истории, несколько страниц о жизни Парамоновых в Городе и в столице. Вероятно, это оживило её память; неожиданно для себя она вспомнила эпизод, который уместно было бы привести в начале повествования. Но потом я подумал, что лучше сохранить его для финала.

— Ты знаешь — сказала мама, — я вдруг вспомнила, как Юра с Миной познакомились!

Привожу её короткий рассказ полностью:

«Был какой-то школьный бал, или вечер, я уже не помню, что — в общем, какой-то маскарад. И все пришли в маскарадных костюмах. И Юра... Юра...»

Тут мама стала хохотать и не могла остановиться — вероятно, дядя Юра, как живой, в своём маскарадном костюме предстал перед её глазами.

«Юра пришёл в каком-то балахоне, кажется, в мамином платье. И в женских туфлях на высоких каблуках, он их взял тоже у матери... И этот балахон висел на нём, как на огородном пугале, и вообще, он сам был как огородное пугало, стра-а-шный! И эти туфли на каблуках... Ой, я не могу! И потом мы пошли гулять, гуляли чуть ли не всю ночь, валяли дурака, смеялись. И проводили Юру до самого дома. А они же жили на первом этаже, то есть в бель-этаже. И Юра полез в окно; я помню, как торчали из окна его ноги в маминых туфлях с каблуками, и балахон болтался во все стороны. Этот болтающийся балахон и Юрины ноги в каблуках, торчащие из окна, они у меня до сих пор перед глазами. Как будто это было вчера!»

Мама снова стала смеяться, а я записал её рассказ.